

ЗМЕЙ РАЯ

Мигель Серрано



МИГЕЛЬ СЕРРАНО

ЗМЕЙ РАЯ

РАССКАЗ О ПАЛОМНИЧЕСТВЕ В ИНДИЮ

*Тем, кто однажды снова обратится
К поиску тайных следов, ведущих
От Анд к Гималаям.*



Тамбов • 2012

**Все права на книгу находятся под охраной издателей.
Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена
каким-либо способом без согласования с издателями.**

Серрано М.

Змей Рая. — Тамбов, 2012. — 224 с.

Автор делится своим опытом переживания духа Индии: «единственной настоящей теократии» — пестрого и разнородного края, неизъяснимо объединяемого потоками дыхания богов. Отдаленный уголок на отшибе истории, где течение времени будто иссякает — и потому Индия продолжает хранить мечты и видения о том, что было Прежде: до человека, до истории, до начала времен. На недоступных горных престолах здесь по-прежнему живы боги, принесшие истину Извне.

Эта книга — рассказ о паломничестве за обретением себя самого, история всей жизни как поиска и приключения. Мудрый монолог о том, как далеко приходится зайти, чтобы найти и увидеть то, что всегда было с тобой, исполненный языком возвышенной поэзии, сплетающей символы в многогранные бриллианты, нанизываемые на струну мечты об Абсолютном — все тончайшие пряди мира обретают единое направление.

© Издательство «Ex Nord Lux»,
перевод с английского,
издание книги на русском языке, 2012

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ОТ АНД К ГИМАЛАЯМ	7
I. Змей	7
II. Средиземноморье	9
III. Пустыня	15
IV. Солнце Индии	20
V. Бомбей	21
VI. Змей двупол	23
VII. Змей и я	25
VIII. Погребенный заживо	30
IX. Наставник придет, когда послушник будет готов	32
X. Гора	36
XI. Есть ли избавление от смерти?	37
XII. Дели	38
XIII. Трубка — тоже Змей	41
XIV. Потерянный в храме	43
XV. Корова	46
XVI. Дедов перстень	50
XVII. Мать и любовница	64
XVIII. Гималайские снега	69
XIX. Великое эго	70
XX. Ликующие уродцы	80
XXI. Рыбка попадает в аквариум	81
XXII. Священные места	87
XXIII. Утренняя звезда	92
XXIV. Птица, поющая в руинах	95
XXV. Усталость	97
XXVI. Гробница Иисуса	101
XXVII. Свами Ашахабала	107
XXVIII. Пещера	110
XXIX. Атлантический Христос	117
XXX. Взгляд снаружи	124
XXXI. Город вечной свадьбы	128
XXXII. Свадьба	135
XXXIII. Лик взшедшего на трон	137
XXXIV. Лунный камень	138
XXXV. Таинства	138

XXXVI. Песня суфия.....	140
XXXVII. Великая Кумбха–Мела в Аллахабаде	140
XXXVIII. Святой город Бенарес.....	143
XXXIX. Долина богов	153
XL. Поиски в Гималаях	157
XLI. Врата Тибета.....	160
XLII. Глаза пантеры.....	161
XLIII. Свами Джанардана	164
XLIV. Дорога сверхчеловека	169
XLV. Рамана Махарши.....	173
XLVI. Лица без значения	176
XLVII. Свами Кришна Менон	177
XLVIII. Мыс Коморин.....	178
XLIX. Река	181
L. Кришнамурти.....	182
LI. Истерия?.....	187
LII. Брат безмолвия.....	191
LIII. Паломничество в Бадринатх.....	192
LIV. Мир в кристалле	209
ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ИЗ ГИМАЛАЕВ В АНДЫ.....	212
I. Лезвие Анд	212
II. Наставник сражается со Змеем	216
III. Моя сестра и Змей.....	218
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: ВНОВЬ ГИМАЛАИ	219
I. Алмора.....	219
II. Три вечера льда	220
III. Вечер первый: Снежный человек	221
IV. Вечер второй: Последний цветок.....	222
V. Вечер третий: Мистическая смерть.....	223
VI. Пустота	223

ПРЕДИСЛОВИЕ

*Если ветви дерева достают до небес,
Его корни должны достигать ада.*

Ницше

«Змей Рая» завершает трилогию, в которую входят также «Ни сушей, ни морем» (1950 год) и «Приглашение в ледяные пустоши» (1957 год). Эта книга, как и две предыдущие, выглядит несвязным рассказом, воспоминанием о былых приключениях. Такая форма была необходима: единственная нить, скрепляющая между собой страницы этих книг — рисунок жизни, еще не оконченной.

Мы, народы Центральной и Южной Америки, часто ошибочно именуемые латиноамериканцами или испаноамериканцами, на самом деле не принадлежим Западу, хотя и часто заявляем о своей приверженности его миру. Ландшафт нашего континента и наши природные качества заметно отличаются от европейских или североамериканских. С другой стороны, мы не принадлежим и культуре Азии. После девяти лет пребывания в Индии и тысяч миль путешествий по другим азиатским краям у меня не осталось в этом сомнений. Мы расположены между двумя мирами. И всё же, теперь нам следует обратиться к Востоку, и в особенности к Индии, поскольку до сих пор мы уделяли Европе избыточное внимание.

Тогда мы обретем давно искомое равновесие. Для нас, чилийцев, это равновесие особенно важно: наша страна почти пять тысяч километров тянется вдоль Тихого океана, и *наш* океан — в то же время океан Японии, Китая и Индии.

Как кажется, коренные народы Южной Америки были гораздо ближе к Азии, чем теперешние жители, и примечательное сходство между этими двумя древними цивилизациями действительно существует. Благодаря этой первобытной связи становится возможным особое *взаимопонимание* между чилийцами, другими южноамериканцами и современной Азией. Если европеец станет одеваться и жить как индус, он вместе с тем отвергнет собственную сущностную природу и ее наследие. Чилиец же может сделать это без малейшего насилия над собственным характером, поскольку Востоку он близок в той же мере, что и Западу.

И всё же, в самых глубинах наших душ мы чужды и тому и другому: наше участие в каждом из этих миров лишь относительно.

А значит, в действительности мы отчаянно нуждаемся в открытии своей подлинной принадлежности. Обретение нашей истинной природы может оказаться и достижением земной цельности: включив в себя и Восток, и Запад, человек Южной Америки может стать новым и совершенно уникальным — цельным человеком.

На последующих страницах читателю предстоит встреча с рядом упоминаний о потерянном континенте Атлантиды, которые могут смутить современный рассудок. Я настаиваю на том, что эти упоминания несут только символический смысл и проясняют духовные материи; они не имеют отношения к существующим физическим и географическим объектам. Атлантида, о которой я говорю, должна происходить из видения коллективной души о далеком прошлом, о потерянной цельности, и о том Рае, который мог никогда не существовать — хотя эхо его образа в коридорах времени улавливают все поколения. Скажем так: моя Атлантида взывает к внутренней реальности, столь же реальной, как и мир вокруг нас.

Алмора, Индия
Мигель Серрано

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ОТ АНД К ГИМАЛАЯМ

I Змей

Прежде чем змей обвился вокруг ствола Райского древа, он обитал в водных безднах под его корнями. А после, как хребет человека поднимается из темных и чувствительных областей пояса к свободному в движениях торсу, так и Змей поднялся к высоким ветвям, где его бледную холодную кожу смогло обогреть солнце. В тех тайных глубинах, откуда он выплыл, он наслаждался простейшей стихией, а встретившись с силой солнца, отпрянул и одновременно вытянулся ему навстречу. Итогом стал конфликт света и тьмы, поскольку сила Змея текучая и вместе с тем мёрзлая; она отравляет и обожествляет. Кто-то назовет яд Змея Богом, кто-то — Бессмертием.

Древо Рая также поднимается из темных водных глубин, наделяющих сочностью созревшие плоды. После солнце высушит плод, растворив его горечь и сделал сладким. На вершине этого Древа можно найти просторный дворец. И здесь, в его главном зале, встречаются двое, сливаясь в объятиях. Они искали друг друга так долго, и теперь, наконец, встретились. Их радость так велика, что они плачут от счастья, и каждая слеза становится плодом на Древе. А кто тот, что вкушает вызревшие плоды — неизвестно никому, поскольку наполненные бессмертным ядом Змея, они существуют вечно.

Когда Змей скользит под поверхностью фосфоресцирующего моря, он один из многих: змеев столько, сколько мужчин на земле. И всё же, в определенном смысле Змей — единая сила, хотя и принимает множество форм, подобных Гидре или Морскому чудищу, которых в древние времена, закрыв глаза, в восторге созерцали моряки. Ведь его можно увидеть только плотно сомкнув веки, чтобы раскрылось третье око — только оно способно воспринять Змея.

Как говорит легенда, многие столетия назад Змей вышел из моря и вырастил крылья. Как спинной хребет человека развивается из клеток эмбриона, так в невинной радости рос Крылатый змей. Отправившись в путешествие к звездам, к Утренней звезде, он вдруг оказался низвергнут валами великого По-

топа, воды которого захлестнули землю. Крылатый змей не утонул тогда, но крылья утратил.

Не будь разрушены крылья, Змей наверняка достиг бы Утренней звезды, и там, в просторном дворце, состоялась бы встреча. Радость этого свидания можно выразить лишь слезами, что сливаются в плоде вечности.

Но отчего разразился Потоп? Это великая загадка.

Эта книга — история народа и Змея. Отдаленный народ, столь же многочисленный, сколь и гады морские, веками погружался в пучины невероятного приключения. Эти люди дали Змею ужалить себя, и их приключение, исполненное сложных тайн и божественной простоты — это поиск вечности через отравление. А потому они имеют мало общего с другими народами мира. Это — порода старых моряков, они продолжают традицию тех, чей парус бороздил моря до Потопа. В то же время это и народ горцев, сохраняющих секреты вершин. В общем, это народ, отмеченный касанием богов.

И теперь я вместе с ними. С ними прошел я по пыльным тропам, защищаясь посохом от змей, что пересекали дорогу. Я пускался в паломничества в компании нищих и прокаженных. Змеи и гады крались в пыльных обочинах троп, но не вредили нам, пока мы не наступали на них. Только тогда они отравляли нас, сковывая ритмичный пламень дыхания, и фатально стущая жидкое солнце в нашей крови. Но так случилось лишь когда мы ступали на них: если мы беседовали с ними, пели для них, или играли им на флейте Кришны, змеи становились нашими друзьями, и танцевали с нами.

Тому, кто выучился играть на флейте Кришны, или флейте Шивы (которая есть лингам, или фаллос, и, стало быть — Змей) нет нужды испытывать страх перед Змеем, ведь даже если он будет ужален, яд не повредит ему. Его кровь уже содержит семя духовного фаллоса Шивы, и он нечувствителен к смертельному яду Змея. Поскольку он уже оплодотворен вечным ядом, он не подвержен влиянию ядов временных. А потому он подготовлен к вечности: Крылатый Змей уже живет в его крови, и его человеческая кровь преобразована в жидкое солнце — благодаря жертвенной крови, однажды пролитой, и до сих пор истекающей из раны в боку Спасителя.

Змей рая вздымается из водных глубин, в которых укоренено и само Древо, и мужчина также рождает телесных сыновей из этих темных мрачных областей. Эти сыновья плоти обречены

на смерть, но сыновья духа, рождаемые зрелым мужчиной, способны достичь вечности, превратясь в сыновей смерти. Когда Змей добирается до моря вечности, он делается крылатым.

В венах мужчины, укушенного змеем Шивы, и умеющего играть на флейте Кришны, обитает рыбка. И это — бог, что живет лишь в крови вечных сновидцев.

Прожив половину жизни, мужчина должен подготовиться родить сына духа, то есть сына смерти. Этот сын может быть рожден только в браке со Змеем или в игре на фаллосе Шивы, флейте Кришны. Сын духа — единственный, кто способен пронести нас над морем смерти. Он проведет нас на фосфоресцентной барке или позволит отдохнуть на крыльях Пернатого Змея.

Дивно обличие мужчины, сочетавшегося браком со Змеем — оно будто принадлежит иному миру. В его лице и безмятежная радость отравленного, и спокойствие смерти. Он кажется погруженным в воды снов; здесь плавает он с рыбкой Бога. Даже через опущенные веки его глаза сияют невыразимой радостью, а на губах блуждает тень улыбки; ведь это стало его исключительным правом — спуститься к темным корням удовольствия и суметь возвратиться к духовному единству. В том дворце, что покоится на вершине Древа рая, он встретился с кем-то, кого ждал очень долго, и радость встречи заставила слезы струиться по его щекам. Превратившись в плоды, одновременно текучие и льдистые, они падают, звеня, будто бубенцы.

И всё же, лик такого мужчины заставит содрогнуться: глубоко исчерченный морщинами, суровый как горный утес. Такие лица я видел в Андах.

Эта книга о далеком народе и Змее, расскажет и о моей собственной, очень особой связи с ним, делящейся с моего самого раннего детства в Чили.

II

Средиземноморье

Мы уже минули Геркулесовы столбы, и всё больше отдалялись от Англии. На время первого этапа путешествия (когда мы пересекали Атлантику) моим попутчиком стал англичанин, редактор индийской газеты. Хотя он поднялся на борт в Нассау, все пятьдесят лет до того он провел в Индии. От типичного, никогда не покидавшего страну англичанина его не отличало ничто, он столь же твердо держался обычая: виски он всегда пил перед

полдником и в обед, а на палубе появлялся в неизменном пальто. Я решил разузнать у него хоть что-то о той стране, в которую направлялся, он же сообщил мне только вот что: быть богатым для индийца — чудной жребий, и в определенный момент жизни он бросает всё свое состояние и возвращается в лесную глушь. Впрочем, и этот факт не казался слишком любопытным моему собеседнику. Он уже вышел на пенсию, и казалось, был исполнен решимости провести остаток дней в соответствии с английским укладом, к которому так прикипел душой. Все прожитые в Индии пятьдесят лет он хранил безоговорочную преданность обычаям своей страны. Такая непроницаемость питала силу его характера, и, разумеется, делала его достойным британцем.

Тем временем образы Англии истаяли позади, хотя ее присутствие в этих южных регионах всё еще ощущалось благодаря Гибралтару. Однако, по сути, контроль Англии над Средиземноморьем и Геркулесовыми воротами лишен смысла: здесь просто нет дела для нее, а точнее, Средиземноморье не имеет с ней ничего общего. Это море принадлежит Золотому веку Вергилия и аргонавтов. Англия же, напротив, принадлежит Железному веку, эпохе Кали-юги.

Железный век требует железных людей, чьи души отмечены сединой, а умы привычны к туману. Только люди такого сорта могут заручиться поддержкой мощи железа. В нынешнюю эпоху такие страны как Испания, которой Геркулесовы столбы принадлежали ранее, растеряли остатки влияния. В серых тонах, диктуемых Кали-югой, Испания способна только на поражения, и она следует своему жребию, став страной-неудачницей.

Кажется верным, что именно судьба управляет народами, ведя их ко злу или благу. Филипп II должен был осознать это, когда против него восстали стихии, и его Непобедимая армада была разгромлена штормами и бурями. Не случись этого — и история могла бы стать совсем другой, и мы избежали бы объятий Железного века. Чтобы эпоха Кали-юги нашла достойное выражение, судьба избрала Англию — ее туманы и угольные шахты, механизацию и тоскливые пабы, но главным образом — ее организационный ум.

Людям, способным управлять Железным веком просто придется быть выцветшими, умеющими легко переносить печаль. И на самом деле, едва ли какие-то народы принимают несчастья так же равнодушно и легко, как англичане. Несчастье стало для них почти что общественным институтом. Может быть, нынешние русские придут к похожему состоянию, хотя об

этом еще рано судить; впрочем, отличия наверняка будут, поскольку дело касается английской души. Душа Англии сумела выжить до сих пор потому, что в триумфе Железного века достигла лишь первой стадии. Впоследствии всё будет намного хуже, потому что мир станет совершенно бездушным. Под именем свертехнологии воцарится Век атома, а эра Кали-юги достигнет зенита. И всё, что останется сделать тогда — совершенно дезинфицировать мир, уничтожив всех микробов; само собой, будет искоренено и человечество, сохраняющее микроб жизни. И Англия тоже будет удалена, ведь, в конце концов, покамест она не мертва. Микробы живут здесь в городах и деревнях, а улицы остаются грязными. На самом деле, некоторые дороги Лондона не чище улочек священного Бенареса. Итак, Англия всё еще живет, и сохраняет некий дух, а дух выражается посредством света и тени; ему нужны и яркие лучи солнца, и липнущая к человечеству грязь. Жизнь, в конце концов, и состоит из них, а тот, кто постарается очистить себя совершенно — умрет. Стремящиеся к абсолютной чистоте народы захлебываются в своих купальнях, как древние римляне или арабы Испании.

Но к чему продолжать эти размышления? Лучше уж насладиться ясной синевой весеннего денька над Средиземноморьем. Отрешившись от других пассажиров, как только мог, я постарался сродниться с этим необычным морем, повидавшим столь многое. Ярче всех прочих вод мира Средиземноморье воплощает одновременно и кладезь золотых воспоминаний и живую транспортную магистраль.

Железный век видит родство с серой Атлантикой, и стальные пароходы ей к лицу. Средиземноморье наоборот остается за триремами и парусными судами — оно уподобилось вечному отроку, не признавшему реальность современности, предпочтя ей блеск наследия прошлого.

Я сознавал, что на этой палубе вдыхаю воздух двух различных миров; ведь Средиземноморье — древнее связующее звено между Востоком и Западом. Мне казалось, я чувствую доносящийся из садов иной вселенной тонкий аромат, дыхание цветов истории, проросших на гробницах этрусков и египтян. Они вызвали к жизни подобное свидению таинство, вспышку воспоминаний о дюжинах легенд и мифов, странствовавших по этому узкому морскому региону.

Со стороны египетского берега вдруг показалась стая черных птиц, несших головы на тонких и длинных шеях. Сделав

круг, они улетели прочь. Должно быть, сотни поколений таких птиц смотрели из-под небес на королей и жрецов, каменщиков, рабов и астрологов. Этих птиц видел и фараон Эхнатон; наверное, и его королева Нефертити, чья шея тоже была птичьей, наблюдала за ними, когда пела на балконе Города горизонтов. Мне вспомнилось стихотворное обращение Людвиг Милоша к египетской королеве, должно быть, похожей на Нефертити:

*Мои мысли — твои, Каромама, царица Египта.
Неловки твои руки и длинные ноги слабы, ты страдаешь...
Странную терпишь диету пустынного дальнего края;
Дворец твой диковинных полон фигур,
Ставших древними прежде, чем ты родилась.
Ты, Каромама, иссякший твой взор и локон
терзаемый ветром...
Ты, рожденная мертвой из колыбели веков...*

По другой борт корабля едва угадывались очертания острова Крит — другого края тайн, и золотые тени древних греков всё еще трепетали над ним. Я помню как в детстве, у себя на родине, мы с друзьями часто мечтали о Греции. Вопреки расстоянию, отделявшему нас тогда от Средиземноморья, эти мечты были очень живыми; странно так глубоко переживать драму цивилизации, чужой и совсем не близкой нам. Теперь я смотрел в сторону Крита, один, за всех друзей моего детства, многие из которых были уже так же мертвы, как и древние греки. Понимая, что они могли бы желать увидеть Грецию моими глазами, я сосредоточенно всматривался в горизонт. Я сознаю, что смерть тяжела, возможно, за ней не остается ничего кроме снов и теней. Но я верю также, что есть нечто, переходящее к нам от мертвых, что-то, что продолжает жить в нас. И именно эта сила или энергия сейчас заставляла мои глаза смотреть пристально, так чтобы призраки моих друзей могли бы увидеть через меня то, что не смогли увидеть при жизни сами. Я стремлюсь быть верным этой ноше и не упускать ничего, зная, что друзья сделали бы для меня то же самое, случись нам поменяться местами. Облокотившись о борт палубы, я вполголоса произносил морю их имена, зная, что с этого момента буду оказываться в их компании всякий раз, как мне доведется увидеть волны. Стая птиц над головой вновь развернулась к Египту.

Шла пасхальная неделя, и я вообразил, что налетающий на судно легкий бриз, должно быть, родился в Синайской пус-

тыне. Но после понял, что такое дуновение не может родиться в реальной местности — это ветер Мессии, нисходящий с креста, одушевляемый личностью Христа. Бриз мягко овевал корабль, а я обернулся лицом к земле моего детства. Мое детство выражено именем юного Иисуса. Ныне я приближался к Его земле, краям Его истории. Если бы я пролил слезы, то ради того, чтобы оплакать свою мать и всех матерей. Я почти не знал ее, но понимаю, что она была благословенна Иисусом, ведь матери и дети проникаются духом Христа вместе.

Годы назад один индеец по имени Вивекананда проплывал у здешних берегов. И вблизи Крита ему привиделся странный сон, в котором некто сообщил ему, что Иисус не существовал никогда.

Теперь, когда мы приблизились к восточному краю Средиземноморья, Иисус пришел попрощаться. Суэцкий канал отделял Его мир от другого мира, и, несмотря на тесную связь, они чужды друг другу. Корни христианства — на востоке, но именно в Европе оно проявилось с наибольшей силой. Святозвучим звоном стало, разумеется, Средиземноморье. Вера Христа, несомненно, была откровением пустыни — тяжким и фантастичным, а исток его в Индии. Та вера не была нынешним христианством, и вовсе не имела желания становиться им. Но на пути через моря вышло так, что истинное христианство будто утонуло в Средиземноморье, а волна, ударившая в германский варварский берег и взорвавшаяся над Европой разительно отличалась от ряби, зародившейся когда-то на краю пустыни.

Ибо силу, рожденную Европой, можно назвать мечтой о Вечной любви, и эта сияющая идея цвела более двух тысяч лет, не развиваясь и не превзойдя своей изначальной славы. Конечно, она спасла многие жизни, но плата была ужасна. Известное нам христианство обрело форму в европейском Средневековье; будучи нацеленным на преодоление примитивных инстинктов варварских народов, оно не осознавало, что эти инстинкты и были биением самой жизни. Христианство сложилось из готических соборов, стихов Данте и кантат Баха, и из мечты о Вечной любви. Был выстроен собственный изолированный мир и создан культ смерти. Всё то, что подавлялось и преследовалось в мире здешнем, устремлялось в мечты или воображаемый мир «потустороннего». Так развивался культ вечной женственности, и любовь стала внутренней, душевной.

Если есть принципиальная разница между Востоком и Западом, то состоит она именно в культе Вечной любви. Сущест-

вует ли она объективно или всего лишь является следствием подавления инстинктов, я знать не могу; знаю только, что на Востоке нет ничего, ей подобного; любовь здесь не считается таинством и не индивидуализируется за порог безумия. Вечная любовь, как кажется — чистый плод христианского Запада, родившийся, вероятно, из древних закутков германской или кельтской души, в которой женщины когда-то наделялись волшебными свойствами. На Востоке такой надежды (или иллюзии, как сказали бы здесь) нет. Культ Вечной любви — дорога на Запад.

Все мы восприняли это представление и участвуем в нём, оно было благословлено Христом. Несомненно, продвигаясь на Восток, и я нес его с собой — я покинул лишь атмосферу, в которой оно могло бы расцвести. Поэтому Иисус и пришел попрощаться, ведь Он знает, что всё умирает в тех краях, куда направлялся я. Там умирает даже Он.

Эта громоздкая мистическая конструкция представлений о будущей жизни, на небесах или в аду, и мечта о Вечной любви рождает беспокойство человека, будто бесконечно вглядывающегося за горизонт в надежде найти что-то, и отсюда же произрастает современная технология. Несмотря на то, что многие христиане ее порицают, технология остается неотрывной частью их цивилизации, и Атомная бомба — творение христианства. Происходящая с Востока христианская вера, отлично подходящая народу, подавляющему свои инстинкты, возложена на варваров Европы еврейями, которые сами были не меньшими варварами. В результате примитивные инстинкты не успели приспособиться: они вытеснились во внешние действия, а индивидуальность и рациональный ум обрели высшую значимость. Итогом этого процесса и явилась сегодняшняя технология — бегство от самости и стремление дезинфицировать жизнь. Технология это конечное детище рационального ума, отражение того, как далеко может зайти эго.

Восток называет этот процесс Кали-югой, и к несчастью, христианство и Кали-юга — одно и то же.

Всё же, сам Христос никак не повинен в том, что случилось после него. Нужно ясно понимать, что Его образ принадлежал пустыне, Азии, где индивидуальное сознание теряется.

Так что же остается? Одной из великих реликвий западного мира, как кажется, является индивидуальное понимание красоты, принимающей разнообразные формы. Это может быть красота драмы или красота жеста. Порой вся жизнь человека

становится жестом: он знает, что жизнь у него одна, и, пылая страстью, сжигает ее от начала до конца одним движением. На Востоке такой жест невозможен, потому что у Востока пять тысяч жизней. У Запада лишь одна.

Получается, что красота и есть главный плод христианской жизни: красота открывается только тому, кто живет единственной жизнью, не желая упустить ничего. Но при этом, излучаемая такой жизнью красота, в конце концов — всего лишь жест. Было бы глупо верить, что в ней есть нечто большее.

III Пустыня

Сойдя на берег в Порт-Саиде, я обнаружил на его улицах дюжины собак, устилавших собой мостовые. Разумеется, сами они не придавали никакого значения тому, что живут именно здесь. В следующее мгновение я оказался окружен дюжинами людей, каждый из которых пытался всучить мне свой товар. Они были назойливы и бестактны, но подкупали детской наивностью: для них будто бы сама попытка одурочить меня была способом ощутить пульс жизни. А после на перекрестке я увидел мальчонку, тащившего тяжелую телегу. Он не сумел вовремя заметить полицейского, велевшего ему остановиться, и теперь этот постовой подскочил к нему, схватил за шею и принялся колотить. Случайный прохожий поспешил помочь полицейскому.

Это были те самые люди, что распяли Христа.

У причала двое мужчин были поглощены взаимными оскорблениями. Они, должно быть, говорили друг другу ужасные вещи, если судить по свирепости тона. У одного из них глаза прямо горели яростью. Раньше я только в книгах читал, будто глаза могут сиять зловецю, а тут впервые увидел подтверждение этому.

Конечно, было что-то странное здесь, в Порт-Саиде; казалось, будто некая новая сила под толщей горячих песков вновь приходит в движение. О да, специй для нового блюда на столе истории тут имелось в достатке. Ведь здешние жители — это и те самые люди, что последовали за Христом.

Вернувшись на корабль, я обнаружил всех пассажиров собравшимися на палубе. Они наблюдали выступление уличного мага, одетого в длинную полосатую мантию и феску. Бормоча: «гали-гали-гали», он вдруг вытаскивал пригоршню цыплят из ворота какого-нибудь пассажира; другой пассажир обнаруживал

цыплят в карманах. Было понятно, что теперь мы оказались в мире, где в умы впадают мотивы сказок о Синдбаде-мореходе.

Пустыня простиралась вдаль по обе стороны Суэцкого канала. Временами вдоль берега проходил британский патруль, там и сям я замечал египтян, примостившихся на камнях, будто птицы. В целом же, вид был пустынный: только жар и духота, сочетание обжигающих песков и влажного воздуха. Египетская жара совершенно отличается от жары Панамы или Эквадора. Там горячие ветры ласкаются будто шелковые пальцы, если тебе станет дурно от жары — ведь чувственные тропики Центральной и Южной Америки совершенно не затронуты влиянием истории. Но на Суэцком канале нависшее куполом глубокое небо над библейской пустыней было небом древних эфиопов; это же самое небо взирало на халдейских магов, на Моисея и Мухаммеда.

По одну сторону канала лежал Египет, по другую Аравия. С приходом ночи тысячи звезд стали сыпаться вниз над Синаем и Красным морем. Их число казалось почти невозможным, невероятным. В относительной прохладе вечера казалось, будто небеса завлекают горячие ветры пустыни повыше к звездам. Наверняка, именно здесь скрывалась причина того, что древних пророков в присутствии Бога охватывало бешенство: ужасный Иегова в невообразимой дали небес, нависших над пустыней, не мог воплощать ничего кроме непостижимой тайны. А отлученный человек не мог думать ни о чём, кроме своей горестной доли. Здесь скрывается и источник страданий человека после грехопадения, и здесь таится зерно, родившее Христа. Потому что в голой пустыне кажется, что Бог присутствует только в запахе корней, растущих вдоль берегов Нила или цветущих в зеленых оазисах. Здесь единобожие делалось очевидным. Но звезды принуждали человека к дуализму, и в нём рождалось космическое отчаяние, неприязнь к жизни и меланхолия.

Этот край еще не подлинная Азия, и индивидуализм здесь очень живуч. На самом же деле, если сравнить землю с человеческим телом (подобно тому, как Сведенборг сравнил с ним небо), то пустыня будет той частью, что рождает образы переживаний сердца. И потому древние египтяне никак не могли верить в перевоплощение. Напротив, они считали мир заброшенным и враждебным местом, будто останками некоего исчезнувшего сада. Для них вечность была чем-то, что нужно преодолеть или хотя бы вытерпеть в меру сил. Поэтому нет в мире края более отличного от Индии, чем древний Египет. В

мумии воплощена ужасная озабоченность египтянина сохранением собственной телесной формы. Лишенный всякой уверенности в том, что сумеет вернуться в потерянный сад, египтянин желал обеспечить себя всей возможной роскошью в бесконечном вояже под темными сводами гробницы.

И всё же, изогнувшееся над пустыней небо — круглое, а стало быть, предвосхищает господствующую в Азии фигуру. Поистине, египетское небо — микрокосм двух различных миров.

На Западе всё существует в формах прямой линии, всё направлено к высотам либо глубинам, к небесам или к аду. Прямая линия также устремляется к горизонту, к бесконечной обеспокоенности и бесконечной славе. Восток же, напротив, рожден изогнутой линией, которая всегда обращается назад и приходит к своему началу. Символы Запада — это фуги Баха, кафедральные соборы, пушки, торпеды и жизнь «за порогом» — Вечная любовь. Всё это — прямые или параллельные линии, никогда не сходящиеся, сколько их не продлевай. Вечная любовь, таким образом — в лучшем случае иллюзорное представление, поскольку своей кульминации она может достичь лишь среди далеких звезд. Акведуки и мощеные дороги Рима, как и большинство технологических достижений современной эры, опираются на представление о прямой линии. Даже крест образуется пересечением с вертикалью.

И напротив, Восток символизирует изогнутая линия, и полнейшего выражения он достигает в округлых куполах и сводах мечетей. Музыка Востока также округла: она возникает, вздымается и вновь возвращается к началу. Серп луны, ятаган — даже у обуви на Востоке загнуты носы! И перевоплощение — также движение по кругу.

Там, где Запад стремится наружу, Восток уходит в себя. Потому Азия не так уж заинтересована физическими завоеваниями, зная, что все они вернутся к своим истокам, следуя логике дуги. Триумфы ислама следовали этой схеме, так же как победы Аттилы и других ханов. Такой образец может осознаваться даже Россией, и купола Кремля свидетельствуют о том, что Восток может преобладать и здесь. Потому и невелика угроза физического вторжения с Востока. Восток покоряет в совсем иной манере, полагаясь на средства субъективные, внутренние и религиозные. Поэтому русский коммунизм станет опасным, только превратившись в религию. Он может быть навязан только ненасильственными методами, и только после

того, как обретет вечные духовные ценности. Красная Армия сравнительно не так опасна, несмотря на громадную численность. Ведь случись этим ордам захлестнуть мир подобно пескам пустыни в порывах яростного самума, они всегда вернутся назад, следуя предписанному изгибу.

С другой стороны, поистине опасен Запад и его военная машина, что топорщится вдоль прямых линий, по определению исключающих возможность возврата к истоку. Запад под знаком креста — это агрессивная, жестокая мощь; крест стал эфесом меча, ведущего сражение за огоньки свечей, слова проповеди и звон колоколов иного мира. Фундаменталистский по своей сути, он догматизирует, навсегда разделяя грех и искупление. Все его символы основываются на непреклонной прямоте линии: мир разделен меж светом и тенью, белым и черным, добром и злом.

Гитлер ошибся, избрав своим знаком свастику, ведь свастика — это крест во вращении, и его концы загнуты. Сама форма свастики принуждает к самосозерцанию. Чтобы исполнить предназначение своей направленной наружу судьбы, Гитлеру нужно было избрать крест.

Возможно, у самого края, когда ночь истории вот-вот наступит, Восток и Запад смогут, наконец, обменяться рукопожатием, ведь к этому моменту мир снова вернется к началу. Как и в изначальные времена, когда крест был свастикой, а квадрат — кругом, как это изображено на тибетских танках, мир противоположностей исчезнет.

Вместе с тем, подлинный Восток за пределами всякой поляризации. Здесь любое течение растворяется в недвижных водах.

Чуть ранее в тот вечер я наблюдал, как солнце погружается в Красное море. Это действие было последовательно ярчайших красок, будто золото и пурпур Востока накаляли себя до последних пределов. Безмятежное море отвечало синевой и зелению. Даже воздух, казалось, нашептывает что-то вкрадчиво-легендарное, как пролог к историям «Тысячи и одной ночи». Вдоль палубы выстроились индийские моряки: облокотившись о борт, они вглядывались в горизонт, а их цветные турбаны отражали свет заходящего солнца.

Среди вышедших на палубу пассажиров была ирландская монахиня; она также направлялась в Индию. Ее прекрасное и чистое лицо в этот час сияло будто трупной белизной. С наступлением сумерек фигуры мужчин на палубе делались темнее, а ее лицо, казалось, только светлеет.

На борту была и компания норвежцев, морских капитанов — они отправлялись в Австралию, чтобы принять командование флотом китобойных судов, уходящих к Антарктике. Мы говорили об острове Десепшен и всём его мертвом населении, погребенном на кладбище изо льдов и туманов. Потом я сходил к себе в каюту, чтобы принести и показать им изображение бога Кон-тики. Именем этого южноамериканского бога был назван плот, на котором группа бесстрашных норвежцев пересекла Тихий океан от Перу до Полинезии. Лицо бога выкрашено пылающими цветами... и всё же, изваяние было вырезано руками столь же белыми, что и кисти ирландской монахини.

Я возил с собой цветастый лик бога Кон-тики по многим морям и океанам, и когда я поднял его к страстному свету восточного солнца, краски затрепетали и начали пульсировать.

Аден — вулканическая земля. Говорят, что ковчег Ноя пустился в плавание отсюда. Наверное, поэтому люди Адена продолжают строить дома так же, как делали это всегда — будучи ожидают нового потопа. В Адене ощущаешь почти физически мучения Атлантиды и возможность ее возвращения.

За городом, недалеко от кратера огромного вулкана, до сих пор еще можно отыскать рудники Царя Соломона. Царица Савская должна была проходить по этим местам, и вдоль древних дорог, веками вырубавшихся в растрескавшейся скале, всё так же шагают неспешные черные расы Адена. Древний верблужий туннель по-прежнему действует, а в одиннадцати милях от города расположен оазис шейха Отмана.

Чрезвычайно предусмотрительные верблюды Адена шагают, держа равновесие. Высоко поднимая шею, они оборачивают нос во все стороны света. Несомненно, эти звери однажды были древними змеями морей, жившими, как говорят, еще до того, как устоялись очертания континентов. Змеи спали, когда море отступило, и потому не сразу осознали, что оказались на суше. Пробудившись, они быстро поняли, что им следует стать верблюдами ради того, чтобы выжить. По-крайней мере, это объясняет, почему они вздымают длинные шеи, тревожно высматривая отступившее море. Хотя верблюд и создание пустыни, но он помнит о море всегда, и мечтает о нём.

На базаре в Адене нас обступили дюжины детей, просящих милостыню. Одна девчушка потянула меня за руку. К несчастью, при мне не оказалось монет, но поскольку она была очень настойчива и не терпела возражений, я подарил ей ма-

ленький поцелуй. Тогда она опустила ручки, и замерла так, глядя на меня очень серьезно. Теперь она уже и не думала о милостыне. С тех пор она осталась со мной, как образ маленькой девочки с печальным лицом.

IV Солнце Индии

Цвет вод, кажется, изменился ко времени, когда корабль вошел в Аравийское море. На закате я вновь наблюдал солнце, но теперь и оно выглядело иначе: устало и меланхолично. Старое и утомленное солнце, будто века, потраченные на освещение троп прокаженных и других несчастливцев, подорвали его силы. Серые туманы раннего вечера, вздымающиеся над морем Аравии как античная вуаль, держали кроваво-красную суть заката в объятиях одновременно утешительных и удушающих.

Узнав, что мы прибудем в Бомбей ранним утром, я решил подняться пораньше, чтобы не пропустить это событие. На палубе было всё еще темно, а Утренняя звезда едва виднелась. Но очертания берега постепенно вырисовались, и по мере приближения к порту вода под нами делалась всё грязнее. Вскоре навстречу стали попадаться рыбацкие лодки с высокими изогнутыми бортами.

Общий вид казался совсем неприветливым, и я уже вообразил, что и сама Индия будет столь же безжизненной, каким в минувший вечер было солнце. Даже источаемый берегом бриз казался болезненным. Такой драматический момент часто приходится пережить паломнику из чуждальных земель: уже само только вхождение в древние воды совершенно иной и чуждой вселенной вызвало во мне недоумение. Воды напомнили лишь о давлении пространств и эпох, пережитых миром. И в итоге то, что должно было стать волнующим моментом, оказалось всего только созерцанием невыразительной толщи вод. Придя в замешательство, я стал размышлять о том дне, что начнется, когда мы причалим в Бомбее. Пытаясь заселить пустынный пейзаж, я представлял, как увижу шагающих вдоль причала нищих и кающихся грешников. Над центральной Индией солнце уже взошло, и в воображении я рисовал мужчин и женщин, проснувшихся и совершающих омовения во внутренних водах континента, а ближе к востоку уже едущих вдоль пыльных дорог на запряженных волами телегах. Не видя ничего, кроме окружающей корабль пустой действительности, я

отчаянно пытался сделать прибытие интимным и символическим. Вглядываясь в неясные очертания приближающегося континента, я старался вообразить сидящую фигуру полуобнаженного старца, застывшего в молитве — так я представлял себе Махатму Ганди.

Я уже начинал понимать, как в нём проявляется вся душа Индии. Он был ее Христом современности, но христианство и любовь к ближнему в своих проповедях он причудливо приспособлял к родившей его земле; казалось, он принадлежал еще не пострадавшему от Потопа миру.

V Бомбей

Летняя духота и влажность были нестерпимы, и казалось, всё вокруг потеет. Но нет, не совсем так: на самом деле жара тяготила лишь меня одного. Индусы, часто облаченные в длинные халаты, собиравшиеся между ногами в складки, казалось, вовсе не замечали ее. Они усаживались на лавки так, будто совершенно не понимали их назначения — скрестив босые ноги; общались и сплетничали, не обращая на ужасающую жару ровным счетом никакого внимания. Принимаемые ими позы казались для человеческого тела невозможными, но тут и там, повсюду на улицах они присаживались на корточки, не подавая ни малейшего признака неудобств. Заметив среди прочих группу бородатых мужчин в синих тюрбанах, собравшихся под деревом в парке Камалы Неру, я гадал, что означают их тканые накидки и почему они носят большие мечи.

Так же как и в Порт-Саиде, вокруг было много собак. Но бомбейские собаки были не столь многочисленны, и кажется, их главной заботой был поиск тенистого закутка, где они могли бы прилечь. По-видимому, они не сознавали значимости того, что живут в Индии.

Запахи Бомбея совсем не похожи на запахи любого другого города, в котором мне приходилось бывать. Я всегда различал места по запахам, и знал ароматы таких запоминающихся городов, как Лондон, Париж или Буэнос-Айрес. Но воздух Индии был мне в диковинку. От него делалось почти дурно, и всё вокруг казалось сном. Ведь где еще можно ощутить такие древние запахи? Подобные испарениям от замшелого ствола векового дерева, они казались смесью сандала, мускуса, бетеля, манго, пота, и еще чего-то неуловимо неопределенного, что

исходило из самой сущности индуса, как будто источалось его глазами, ладонями и ногами. Были и другие запахи: аромат дхоти и сари, атмосфера разрозненных мест и мгновений, и, прежде всего — всевозможных мыслей и снов.

В то лето 1953 года Бомбей был подобен кипящему котлу, и эти запахи обволокли весь город, особенно сгустившись в торговом квартале. Здесь, как и везде, сидели в причудливых позах люди, по сторонам улиц мостились сотни лавок — простых деревянных навесов, опиравшихся на более прочные стены жилых домов. Сами улицы были запружены людьми, и в каждой крошечной лавке умещались окруженные своими товарами мужчины и женщины. У одних рулоны шелка и парчи, у других зерно или бетель. Казалось, эти полураздетые торговцы с одинаковой ловкостью орудуют и руками, и ногами. Тут и там помещались лавки, в которых на больших железных противнях обжаривалась какая-то желтая паста, истекающая жиром и растаявшим сахаром. Время от времени из какого-нибудь уголка среди палаток прорезался обрывок песни — шумный, визгливый женский вскрик, будто девчачий галдеж в школьном классе. Таков голос Востока, повсеместный на просторах от Египта до Китая, приобретающий гортанную, почти молитвенную интонацию. Шагая по кварталу, я вдруг услышал песню паразитную: она то вздымалась, то опадала; становилась всё громче, а потом вновь делалась мягкой и мурлыкающей. Такого мне никогда раньше не приходилось слышать: в чём-то близкая арабской музыке или фламенко, эта песня была в то же время совершенно иной. Чрезвычайно замысловатая, она обрела собственную форму — разливаясь над улицами, развиваясь в повторах и вариациях, она всё же неизменно возвращалась к началу. Голос сопровождался пульсом инструмента — простейшего барабана, следовавшего элементарному ритмическому рисунку. Будучи экзотической на базаре Бомбея, в деревнях глубины континента такая песня должна была оказывать поистине гипнотическое воздействие.

С другой стороны, обобщать и делать выводы было, разумеется, еще рано. Все увиденные мною люди показались существами других веков или иных планет. Возможно, что-то роднило их с инками или майя.

В целом, эти призрачные фигуры, стекавшиеся в кружки на улицах, где жилища состязались в прочности с корнями деревьев, а балконы были заселены поровну людьми и обезьянами, заставляли меня полагать, что я окружен сновидением — ведь какому еще миру могли принадлежать эти тени, высящие-

ся крыши, улицы наводненные коровами, людьми, птицами? Впадая в дремотную безотчетность, я чувствовал, будто всё это хорошо знакомо мне и когда-то давно уже пережито.

Башни безмолвия — бомбейская достопримечательность. Парсы возвели эти высокие сооружения, поскольку, как последователи Зороастра, должны были оставлять своих мертвецов на возвышенностях, чтобы их тела пожрали грифы. Суть этой ритуальной практики в том, чтобы позволить человеческим веществам легчайшим способом возвратиться к изначальным формам: воздуху, земле и воде. Этот обычай, давно исчезнувший в самой Персии, в Индии сохраняется до сих пор — еще одно свидетельство тому, что Индия — своеобразный «чулан истории». Ветхий Адам здесь живет и поныне.

Башни безмолвия вздымаются подобно тому, как журавли вытягивают шеи, хватая добычу. Но никакая пища не нисходит по каменным горлам башен, так что в действительности они скорее подобны простертым ввысь рукам, предлагающим небесам подношение.

Вечером я сел на ночной поезд до Дели. На первой же станции я оставил хорошо проветриваемое купе и отправился в вагон-ресторан. Мне указали на столик, за которым уже сидел полный индус, по наставлению Ганди одетый в хадар. Безо всяких предисловий он засыпал меня вопросами. Откуда я? Что делаю в Индии? Нравится ли мне здесь? Все эти вопросы, кроме последнего, я сопроводил подходящими ответами, но что я мог сказать об Индии, которая едва начала открываться моим глазам? Впрочем, мое молчание ничуть не смутило собеседника: он был из тех людей, что спрашивают просто ради самих вопросов — на самом деле, ответы были ему неинтересны.

Он ел руками, совершенно пренебрегая ножами и вилками, разложенными в предписанном порядке. Закончив трапезу, он вытер пальцы салфеткой и попросил счет за оба наших ужина. Я хотел было заплатить за свой, но он просто сообщил, что рад исключительно праву быть гостем на моем первом ужине в Индии.

— Добро пожаловать в Бхарат! — сказал он.

VI Змей двупол

По другую сторону бомбейской гавани лежит остров Элефанта и его знаменитая пещера, которую в шестом веке высекли брахманы.

Некоторые свойства этой пещеры дают повод предположить, что ваял ее сверхъестественный архитектор. Добраться до нее можно только вскарабкавшись по склону через плотные заросли, она имеет четыре входа, главный из которых ведет прямо к самой великолепной из всех статуй мира. Тримурти — гигантское изваяние трехглавого Шивы, высеченное в плоскости задней стены. Представляющее согласно замыслу Шиву в трех проявлениях: жены Шакти, сына Картикейи и самого Шивы в мужском воплощении — оно также неизбежно выявляет и символ Троицы: творца, охранителя и разрушителя. Здесь в одном теле сочетаются Отец, Сын и Святой Дух; тезис, антитезис и синтез. Это также и образ солнц: рассветного, полуденного и закатного.

Каждая из трех голов смотрит в собственном направлении, как будто божество одного из трех измерений. Но где же четвертое? Возможно ли, что в стене пещеры сокрыта четвертая голова, о которой до сих пор не было сказано и слова? Будь она там, эта безымянная голова и должна быть только подразумеваемой. Любая определенность делает ее суть совершенно недостижимой.

Но давайте присмотримся к трем видимым головам. Они глядят в определенном направлении, но не на определенный объект, ведь глаза их закрыты, и божество, кажется, дремлет или обдумывает нечто, происходящее у него внутри. Будто созерцает экстаз Творения. Эти три силы: рождения, сохранения и разрушения — сознательны; должно быть, они воплощают интеллект за пределами призрачной материальности мира; ведь мир, в лучшем случае — только отражение глубочайших снов Бога.

В таком соотношении четвертая голова должна представлять рассудок. Как невидимому оку, все поверхностные аспекты мира доступны ее обозрению, но она также зрит и общее строение в полной величине. Незрячими глазами Тримурти видит всё; отрешенные от внешнего мира, эти очи созерцают только суть. А на его лицах покоится глубочайшее наслаждение тем, что они видят.

Подле Тримурти расположена еще одна статуя — Шива в полный рост. В индуистском толковании тройственности Шива олицетворяет разрушение; Брахма — творец, Вишну — охранитель. Однако эти определения не могут считаться однозначными и застывшими, поскольку каждый из богов воплощает всю троицу. Один во Всём, и Всё в Одном. Таким образом, Шива также творит и сохраняет. В ипостаси Натараджа он пляшет в центре сжигающего миры костра, но делает это лишь затем, чтобы расчистить пространство для нового цикла творения.

В этой статуе Шива предстает завершенным. Не божественной формой частностей, но цельным божеством. На самом деле он и бог, и богиня: статуя изображает полумужчину и полуженщину. Вырезанная в камне женская грудь отмечает границу между светом и тьмой в божестве.

И поскольку Шива — андрогин, то и бог в целом двупол. Единичный пол невозможен, поскольку закрытые глаза Тримурти обращены вовнутрь к тому дворцу, в котором некто находится кого-то после вечности ожидания. И радость этой встречи расцветает на лицах Тримурти скромными улыбками невыразимого счастья. То, что они видят и переживают — дивный оргазм божества, наконец воссоединившегося с собой; обретя себя снова, оно творит в радости. Сотворенный сын — это мир, а мир — туманный сон Гермафродита. Живой сын этого родителя — мир трехмерной реальности, переданный в фигуре Тримурти. А четвертая голова — это сын смерти: образ четвертого измерения и провозвестник вечности.

Но чтобы достичь этой последней ступени, и, преодолев грудь Гермафродита, достичь дворца на вершине Древа, придется вначале сойти к истокам корней, обвитых дремлющим Змеем.

Эта тропа нелегка. Путь долог и тяжел, а проводник на нём — Шива: наставник наставников и господин Йоги. Разгадать таинство возможно только в жизни — когда Змей освобожден у подножия Древа и сумел взобраться по хребту, расправляя пылающие крылья. И лишь признав свою двуполоую природу, мужчина может созерцать вечность в спокойствии и радости.

Таков секрет Элефанты.

VII Змей и я

Наверное, прежде чем продолжить, мне нужно рассказать что-то и о себе самом.

Эта книга — история моих странствий, рассказ о том, что мне выпало увидеть и пережить. Две другие мои книги, изданные ранее, связаны с тем же поиском, это «Ни сушией, ни морем» и «Приглашение в ледяные пустоши». В них я хотел рассказать что-то о том долгом путешествии, которое начал, но едва ли сумею завершить. В других концах света кто-то может отправиться в тот же путь и пройти его до конца. Я убежден, что обрести спасение на истерзанной земле человек может

только в этом странствии. И если мне порой не удастся выразиться со всей ясностью, значит, это просто невозможно сделать. На самом деле, даже писать о паломничестве — значит нарушать его правила; пусть безмолвные странники древности простят мне. Я создал эти книги, хотя и не знаю, зачем: может быть они помогли мне, а может, были сделаны только из тщеславия. Тщеславие вообще свойственно человеку, и тем более художнику: тревожась о том, что не сумеет достичь подлинного бессмертия, художник старается обрести хотя бы эфемерную славу — известность среди своего народа.

Чтобы быть правдивым, я должен говорить только о том, что видел и испытал сам. Но порой я сомневаюсь — а может ли мой опыт быть полезен кому-то другому? Вот уже несколько лет, как я живу в Индии. Книга расскажет, почему я здесь и что делал всё это время. Но вначале, я должен вернуться к самым ранним годам моего детства, обнаружив ту боль и ту гордость, которые несусь с собой.

Разумеется, я не смогу дать объяснение всему. Я надеюсь постичь хотя какую-то часть таинства. Никто не в состоянии обрести подлинное понимание своей крови, и уж во всяком случае, никто еще не спускался к истинным безднам своей личности.

Детьми мы жили на лоне природы, в предгорье Анд. За нами присматривала старая нянька, знавшая множество легенд нашего края; когда родился мой отец, она уже была рядом. С ней моя мать говорила об орлах и кондорах — в особенности о тех, у которых белые шеи и отметины на крыльях, будто пятна снега. Еще я вспоминаю мамины песни и ее тонкий чистый голос. И это всё, что я помню о ней, потому что умерла она совсем молодой. Я почти не знал ее, но уверен, что она была моей первой любовью. Однажды, уже после ее смерти, отец взял меня за руку, и мы отправились в долину. Там, в прогалине тополиных крон, он указал в послеполуденное небо и сказал:

— Теперь твоя мать живет там.

Многие годы спустя, переживания того дня остаются для меня отчетливо живыми. А тогда, в те времена, я нередко выходил на крышу нашего дома, опускался на колени, скрестив руки, и молился. Я вглядывался в небо и воображал, что узнаю мать в причудливых узорах облаков.

Я не плакал, когда она умерла. Не плакал и позже, когда умер отец. Но еще и сейчас бывает, что, проснувшись, я чувствую на щеках высохшие слезы.

Спустя несколько лет после смерти матери, мои братья решили перезахоронить ее в новой могиле. Открыв гроб, они увидели ее нетронутой, и даже волосы, так же как в молодости, сияли золотом. Меня не было с ними тогда, но мне хочется думать, что все те годы, что мама лежала в гробу, она пела — совсем как в дни моего детства.

Я помню и наш восхитительный сад. Я часами разглядывал тамошние цветы и голубей, которых мы держали в особых домиках. Бродя среди клумб, я обычно представлял, как разговариваю с цветами и растениями. Бог был нематериален, но присутствовал в цветах и через цветы я чувствовал связь с Ним. Мне было не больше пяти лет тогда. Позже мои ощущения сменились: я стал осознавать свою личность, ощутил отчужденность от прочих обитателей дома. Я наблюдал за прислугой или гостями, приходившими навестить нас, а после спрашивал у матери и старой няньки — не было ли у них того же чувства отчужденности, и могли ли они ощущать мою личность так же, как и я.

В том остром одиночестве детства я нашел обоснование для идеи о перевоплощении: в прошлом кто-то должен был чувствовать ту же личность, что и я теперь, и в будущем кто-нибудь снова почувствует ее — и тогда я буду жить снова.

Я помню те вечера, когда родители уходили, а я оставался один в большом пустом доме, и повсюду гуляло эхо от стон старых деревьев снаружи. Тогда я оказывался окутан туманным страхом. Не простой страх одиночества — это был ужас перед лицом ночи и всего того, что не было мной. Это был космический, примордиальный кошмар, и в некоторые ночи он вновь приходит ко мне, как отголосок из детства.

Я помню, как мы с сестрой играли в широких коридорах. Мы были поистине счастливы в наших играх; связанные кровью, мы по сей день разделяем те чувства. Возможно, эти воспоминания означают, что однажды, в каком-нибудь далеком мире мы сумеем оживить ту любовь, что связывала нас в самом начале.

Очень часто за нашими играми присматривала наша старая няня. Сегодня мало кто представляет, что вообще означает это слово: няня — как ангел, оставивший собственные чувства и дарящий свою любовь детям других. Наша нянька и вправду была ангелом. Я и сейчас, ровно как в детстве вижу, как она спускалась по коридору, держа букет фиалок или серебряный поднос конфет на мой день рождения. Ее звали Ама Пола, что значит «цветок мака». Умерла она одинокой, и только тогда я

осознал глубину ее безмерного самопожертвования. Мы похоронили ее в семейной усыпальнице, рядом с нашими родителями, укрыв шалью и одним из ее плащей. Мне всё еще нужно украсить ее могилу букетом фиалок, таких же, как и те, что носила она — но теперешние фиалки пахнут иначе.

Подобно предкам своего отца, прибывшим в Чили столетия назад, я всегда жаждал путешествий и приключений, оставаясь при этом накрепко привязанным к стране, в которой родился. Кажется, однажды я уже рассказывал историю о Пепите Паране, моей прапрапрабабушке, которая на склонах Вальпараисо вышивала пеленки для своего прапраправнука. Никто не вспомнил о них, когда родился я, но после рождения моего первенца бабушка отыскала их в старом сундуке и дала мне — они пахли сухими яблоками. А бабушкина сестра, взяв на руки моего сына, пропела ему так:

— Дитя, ты вернулось к нам спустя сотню и сорок лет; дитя, твои миндальные глаза похожи на луну.

Сестра моей бабушки была женщиной совсем необычной: большую часть жизни она потратила на то, чтобы объездить весь свет. Я получал от нее открытки из Африки, с верблюдами, львами и Пирамидами. Именно она заразила меня духом приключений, подарила идею кругосветных путешествий, от нее я услышал первые рассказы об Индии, и впервые был посвящен в учение о переселении душ. Ее мир состоял из посещенных ею краев. Она рассказала мне о том, что некоторые новые места представляли ей настолько знакомыми, будто она знала их давно, в какой-то иной жизни. И описывая эти далекие края, она будто сама превращалась в существо из других веков, а мне казалось, что голос, которому я внимал, принадлежит не сестре моей бабушки, а воительнице или знатной госпоже прошедших времен. Иногда это ощущение так пугало меня, что я бросался прочь из ее комнаты. Всё же, она была для меня настоящим *другом*. Она не любила цветы и не верила в них. «Цветы для мертвых», так она говорила и была уверена, что не умрет никогда. Поэтому возле ее могилы мы посадили апельсиновое дерево, надеясь, что в будущем какой-нибудь прохожий порадуетса плоду этого дерева так же, как в прошлом люди находили удовольствие в обществе моей двоюродной тетки.

Но это дерево так никогда и не родило плодов. Сложно сказать, что это значит. Может быть, цветы и плоды этого мира недоступны из тех далей, куда отправилась она.

Те истории о матери, которые рассказывал отец, и мое стремление отыскать ее образ в облаках, наполнили мое детство скорее не религиозностью, но мистицизмом. Я всё еще помню запах свечей, огни в часовне, Святое сердце Иисуса и звезды, катящиеся по ночному небу. Этот мистический пантеизм был отцовским наследием, столь же важным, как молодость на родной земле среди рек и гор, как страсть к приключениям, пришедшая от отцовских предков. Наследие матери было совсем иным, ведь я едва знал ее... оно представляется мне только толщами тенистых облаков, в которых тут и там рассыпаны яркие проблески света. Ее ранняя смерть, как кажется, стала непреодолимой пропастью между моей душой и Богом: они видят друг друга по другую сторону бездны, и могут встретиться лишь милостью Господнего откровения да в тот единственный момент радости, что мгновенно поглощается вечной тяжестью перво-родного греха. Древние дома всё еще стоят, в их каменных стенах и мощеных двориках та же ветхая мебель, лампы, подсвечники и пыль. В подвалах томятся призраки и кости в ржавом железе цепей. Но никто и никогда не сходит туда.

Противоречивость смешанного наследия леденит душу и лишает опоры. Эхо мучений прадедов и прапрадедов становится его главным мотивом: раздор между самоотречением и страстью. Они отвергали земную любовь, чтобы после захлебываться мраком раскаяния. А изначальное вождение всё так же жило в них, неизменное, как стигматы в ладонях Христа. И в старости, отпрянув от памяти молодых желаний, они гадали — не получилось ли так, будто они вовсе не жили?

Никак невозможно рассказать полную историю тех жизней. Но кровь прародителей всё так же течет в жилах нынешнего поколения: старые кузены взывают друг к другу, племянники и племянницы отыскивают путь к теткам и дядьям. И будучи самим собой, я становлюсь и своими предками; я понимаю, как сложно узнать, кому же принадлежат мои поступки — мне или моим предшественникам.

Но еще более важным, чем узы крови или влияние предков, остается глубокое воздействие на мой дух диких просторов Чили. Пейзаж моей родины трагичен и волшебно загадочен. В нём, кажется, воплотились те древние поколения, навсегда разделенные с европейскими предками и обретшие себя в уголке далеком и враждебном, терзаемые страхом и восхищением. Ведь корни Южной Америки не только в старинных традициях

Европы, но и в гораздо более древних таинствах Атлантиды. А через связь с погрузившимся в пучины континентом примордальный Змей воплощается и здесь.

VIII Погребенный заживо

Не успев даже достичь отрочества, я столкнулся с необъяснимыми переживаниями. Временами ко мне приходило ощущение странного холода, который взбирался вдоль позвоночника к мозгу. Обычно такое бывало по ночам, перед тем, как я засыпал. В этом полумире между сознанием и его отсутствием, вдруг будто сдвигался рычаг, и я лишался всякого контроля над собой. Обстановка комнаты и все предметы вокруг будто выходили из равновесия, и исчезало всякое будничное представление о них. Я мог видеть себя, свои движения и действия — ужасающе быстрые, а внутри головы тысячи слов обрушивались каскадом, разгоняясь всё более. Мне делалось дурно, и я оказывался беспомощен; вырваться из этого состояния я мог, только провалившись в глубокий сон. В конце концов, я мирно просыпался, влюбленный в жизнь и радостно осознающий утреннюю свежесть.

Вскоре после серии подобных переживаний меня одолел серьезный недуг. Я был охвачен лихорадочным бредом, и мне виделось, как я встаю с постели и подхожу к балкону, что озирает улицу с высоты третьего этажа. Обернувшись, я мог видеть кровать и себя на ней, лежащего пластом на спине. Тогда я прыгал с балкона вниз и падал на катафалк, неспешно продвигавшийся вдоль улицы. Мало-помалу я оправился от болезни, но после, в одну из ночей, прежде чем уснуть, я увидел перед собой лицо — и темный бородатый силуэт, закутанный в меха; он приветствовал меня знакомой, ироничной улыбкой. Я тотчас проснулся, меня колотила крупная дрожь.

С тех пор ощущение холода в спине становилось всё более настойчивым. Но я никому не мог рассказать о нём — обычным языком мне просто не выразить то, что происходило. Я не мог пойти к доктору и жаловаться ему на невидимых существ, что карабкаются по моему хребту, или о том, что в моем мозгу звучат на огромной скорости тысячи слов.

И вот, на рассвете одного дня, дверь в мою комнату отворилась, и скрытая покровом фигура вошла и села в изножье моей постели. Я ощущал, как прогнулась под ее весом кровать. Когда я

поднял взгляд, покров будто спал с ее головы, а сама она источала вибрации. Комната вымерзла, а сам я лежал, скованный ужасом. Я закрыл глаза, чтобы не видеть фигуры, но вновь открыв их, обнаружил ее на том же месте; она отвернула голову, чтобы спрятать лицо. Мне захотелось сбегать прочь, но я не сумел даже пошевелиться. Этой фигуры я не видел больше никогда, но впоследствии меня часто настигало то же чувство обездвиженности. Обычно это случалось на рассвете: я чувствовал обжигающую ледяную дрожь в ступнях, она поднималась по хребту и разливалась в другие части тела, которые принимались гудеть как потусторонние колокола, а я всё так же лежал на постели, обездвиженный, не способный ни заснуть, ни пробудиться. Иногда, пока я был так скован параличом, служанка приносила в комнату завтрак и оставляла его на столике. Тогда я всеми силами старался проснуться или хотя бы пошевелиться, но что-то изнутри гнело меня к глубинам неисчислимых теней, к устрашающему ничто, и я чувствовал, как скольжу на пороге смерти.

Когда же я наконец приходил в себя, оказывалось, что я лежу пластом на спине, скрестив руки. Обычно, бросив взгляд в окно, я тут же видел Утреннюю звезду. В предрассветных сумерках небо казалось бледно-голубым бархатом, а Звезда — крупницей золота. С тех пор Утренняя звезда в моем представлении связана со всеми необъяснимыми происшествиями, она выступает как проводник между миром насущным и миром безвременья. Возможно, эта Звезда — последняя гавань для мечтателей в нынешнем мире, для тех, кому нет места в его технологической логике.

Поскольку в те времена я был еще совсем юным, происходящее, разумеется, меня очень беспокоило. Мне уже доводилось слышать о каталепсии и случаях, когда люди были похоронены заживо. Я боялся, что однажды, то же может случиться и со мной: меня найдут застывшим в постели и сочтут мертвым. Я всерьез думал обратиться к доктору, но понимал, что не смогу объяснить того, что чувствую.

Все эти переживания приходили ко мне вне времени. Еще и сейчас, спустя столь долгие годы, я помню их даже острее, чем события вчерашнего дня. Они — как истории, нити которых пересекаются в разных слоях. Есть дневная, или «настоящая» жизнь, которая может складываться из мыслей, снов, или даже поэзии; и есть жизнь другого мира, где ты совершенно иная сущность в окружении других сущностей. Разумеется, такие переживания случаются очень нечасто. Но они никогда не блекнут

и не путаются со временем, как события этого мира. Они скорее накапливаются, будто серии безвременных воспоминаний, и служат маяками, что отмечают наш путь и движение наших судеб. Благодаря им мы знаем, как далеко нам придется идти, прежде чем мы преодолеем смерть и обретем вечную жизнь.

Иногда оказывается необходимым сделать выбор между жизнью во времени и безвременной жизнью. Но, поскольку ни ту, ни другую нельзя совершенно отбросить, само действие выбора может выявить точку равновесия между ними, место их взаимопроникновения. Интуитивно я чувствовал, что внутри сердца ничто не имеет возраста и всё неизменно. Продвигаясь к постижению самого себя, я вновь буду встречать друзей своего раннего детства, тех невидимых приятелей, что были со мной в саду, и их призраки сделаются реальнее самой реальности. Они не терпели изменений и сохранили вечную юность.

Чтобы преуспеть, мне, может быть, придется совершенно переместиться в сферу безвременной реальности. А это потребует от меня опустошающего усилия воли. Ведь ни жизнь, ни смерть не станут взаимодействовать: каждая старается навязать лишь свои ценности.

IX

Наставник придет, когда послушник будет готов

Понадобилось бы очень много слов, чтобы рассказать о том, как я в итоге пришел к своему Наставнику. Но есть старая поговорка, отражающая самую суть: «Наставник приходит, когда послушник готов». По крайней мере, со мной случилось именно это, хотя еще и сейчас я не могу сказать, во благо или во зло.

Глаза Наставника голубые, его манеры веют благородством и древностью. Он говорит о жизни, как о чём-то давно минувшем. Но когда он мечтает, то разрушает скорлупу времени. В такие моменты вокруг него собираются легендарные воины, держа в руках щиты и сияющие мечи. И его сердце — это сердце воина.

Впервые встретившись с ним, я был настроен скептически. Но в действительности я не мог быть слишком критичным, ведь надо мной нависла угроза быть погребенным живым, то есть, речь шла о спасении собственной жизни. Потому беседу с ним я начал не с утверждения, а с вопроса. Ответ был странным: во мне нет ни болезни, ни ненормальности, а правда в том, что я повстречался со Змеем.

Тогда Наставник стал рассказывать мне о Змее:

— Тот Змей, что был обвит вокруг Древа рая, и вокруг хребта... — сказал он. — Одни называют его Кундалини, другие — Астральным огнем...

Это послание Наставник передал мне не словами, а песней.

В течение года я оставался подле Наставника, надеясь, что буду принят. Я был одним из свиты, окружавшей воина; среди нас почти не было мыслителей, все мы были людьми действия. Согласно молве, корни нашего Ордена тянулись из Индии, а может и Тибета. Он опирался лишь на знаки, его целью было сосредоточение на космических вибрациях; он действовал согласно правилам, установленным еще в Ледниковый период и утраченным с затоплением Атлантиды. Мне сообщили, что дочеловеческая мудрость была сохранена древним гималайским орденом, который использовал ее в космической войне. Это был орден воинов, намеренных взять небеса штурмом, здесь не было святых или мистиков. Особым образом такой подход зывал и ко мне.

И вот пришел день, когда Наставник достал из ножен меч и коснулся им моего плеча, а другие воины, тоже с мечами, обступили меня кругом. И тогда мне был дан первый знак, который должен был освободить меня от оков тела и открыть путь к иному плану. Ночью я начертил знак вверх сердца, и заключил его в нарисованный пальцем круг. В тот же момент ко мне пришло уже знакомое ощущение, и с тех пор так было всякий раз — вибрации отвечали на знак, как будто некие невидимые силы принимали его.

Наставник велел не сопротивляться обморочным чарам, но отдаться их воле.

— Ты не должен бояться, — сказал он, — ты должен сражаться и сокрушить Змея знаком, который есть у тебя теперь.

И потому, в тот час, когда обморочные чары по обыкновению явились, я не стал удерживать себя. И тогда мое тело будто обратилось в свинец, и после краткого мига несуществования, крошечной тьмы и полного забвения, я стал падать — падать невероятно быстро — в колодезь, не имевший дна. Но всё же достиг самого низа, и край тот оказался адом, преисподней. Я не сумел даже вспомнить о том, чтобы начертать знак, но предался безбрежному отчаянию. А после, не знаю как, я выплывал, пока не остался парить в некой пустынной области. Там я чувствовал себя совершенно свободным и счастливым. Но, когда я проснулся и вновь обнаружил себя лежащим на

постели, момент неопишуемого умиротворения истаял дымом, и я понял, что и в самом деле оказался погребенным заживо — в собственном теле.

В окне показалась Утренняя звезда, лучась светом иного мира.

Позже я гадал, не совершил ли ошибки. Пробовал вызвать тот же опыт искусственно, но явления эти были своенравны и приходили лишь сами по себе. Учитель растолковывал мне знаки, но я никогда по-настоящему не понимал их. Я жаждал руководства, не уступающего в точности туристической карте, и мне потребовались годы, чтобы преодолеть подобную страсть к рациональности. Смесь рационального и иррационального всегда опасна — я понимал это даже ребенком, когда был один с природой. И это осознание помешало мне достичь *другой реальности*.

На рассвете, будучи охваченным обморочными чарами, я порой пытался возобладать над процессом, управлять последовательностью его этапов. Результат всегда оказывался катастрофичным: я разделялся на две части, принадлежавшие уже разным мирам, а они бросались друг на друга со всей яростью, на которую были способны. Когда сознательное эго пробуждалось посреди сна, я застревал на полпути, в нейтральном положении. Вибрации, зародившись в стопах, распространялись по телу, но их ужасающая музыка никак не могла влиться в мозг — он был занят сознанием, цеплявшимся за будничную реальность. И тогда я оказывался зажатым меж двух миров, и в обоих был неспособен получить достаточный опыт. Всё что я мог — удержаться на постели, пока не угаснут вибрации.

А после я начинал поднимать вначале одну руку, за ней другую, затем я мог сесть на краешек кровати. Наконец, с большим трудом мне удавалось пошевелить ногами и встать. Теперь я мог идти вперед, но никогда не оглядывался, потому что знал: стоит обернуться — и всё будет потеряно. Я приближался к двери и открывал ее; шагал через комнату, выходил на балкон и бросался с третьего этажа. Я мог заглянуть к тем, кто спал в соседних комнатах. Такие переживания были частыми, но всегда недостаточными. Всё казалось не совсем настоящим, и мое развитие будто застыло. Я оставался одиноким, загнанным в кольцо знаков и призраков, отзвуков и шумов. Я всегда был готов к приходу вибраций, но каждый раз застывал в мучительном состоянии раздвоенности.

Некоторое время спустя я оказался охвачен даже еще более пугающим ощущением. Наставник открыл мне новый знак,

что свидетельствовало о моем продвижении в иерархии Ордена. В ту ночь я начертил знак на груди, и на рассвете вибрации пришли вновь, но в этот раз они были столь беспощадны, что я не надеялся пережить их. Мой ум преисполнился кровавыми видениями, и я приготовился к концу. Но неожиданно, прямо в воздухе передо мной явился кувшин. Следуя инстинкту, я зачерпнул из него ладонями и расплескал содержимое по телу — и в тот же миг пламень вибраций утих.

Позже я мучился вопросом, что же на самом деле произошло. Кто принес воду? Кто пришел мне на помощь в критический момент? Было ли это субъективным переживанием? Я спрашивал у Наставника, но он никогда не отвечал.

Я пережил всё это в давно ушедшие годы, но плоды этого опыта всегда остаются со мной. Мое тело всё так же стремится к окончательному разрушению, а сам я всегда готов покинуть здешний берег и отплыть в мир иллюзии.

После свадьбы моя жена принялась мало-помалу рассеивать колдовство теней, гнать прочь шумы и привидения — они пугали ее и препятствовали нашей земной жизни. Наставник никогда не одобрил моего брака. Война, которую он вел, требовала беспощадных и одиноких бойцов, искателей приключений, всегда готовых пустить в дело меч и ни к чему не привязанных. Мой Наставник никогда не покидал мира фантазии: он был пленником гигантских мифов и видел сверхчеловеческие сны. Я высоко ценю его за то, что он был начисто лишен самодовольства, присущего слабохарактерным людям, и всегда жаждал новых разгадок. Его приключения в этом мире всегда были военными действиями, в которых не могло быть передышки. Кровь конкистадоров бурлит в его венах, так же как и в моих.

Однажды Наставник вызвал меня в личный покой. Там он сидел, держа на коленях раскрытую книгу. Пригласив меня подойти ближе, он показал иллюстрацию в книге: очень высокую гору, и рядом две скалы поменьше.

— Это гора Кайлас, — сказал он, — главы нашего Ордена живут там, где-то в недрах горы, в пещере. Сама гора — в Гималаях, недалеко от границы Тибета и Индии. Возле горы — священное озеро Манасаровар, а по другую сторону — тибетская деревня Дахрипу. Гора Кайлас священна и для индусов, и для буддистов. Индусы считают, что на вершине горы обитают Шива и Парвати, его супруга.

В то время Наставник изображал гору Кайлас повсюду на стенах своей комнаты. Он полагал, что открыл самый исток нашего Ордена, и объявил это место средоточием духа Востока, и хранилищем мудрости, забытой на Западе.

Слушая Наставника, я стал осознавать, что если действительно есть место, где хранится вся правда, то мне следует отправиться туда и увидеть своими глазами. Мое намерение посетить Индию еще более окрепло.

Х Гора

Чили — край гор, окруженный горами и усеянный ими. От самого Южного полюса, от таинственной Антарктиды, горы вздымаются по всей длине страны, являя свою силу тут и там в землетрясениях и извержениях вулканов; вся горная цепь Анд трепещет, как никакая другая. И потому получается, что и страна балансирует на пороге небытия: зажата меж океаном и горами, она длит хрупкое существование под весом трагической судьбы.

Может быть, есть связь между горами; может быть, мудрость может быть передана от одной вершины к другой. Выше андских пиков вздымаются только Гималаи.

Самый первый конкистадор заметил странное сияние, исходящее от вулканических Анд. Он описал этот чудесный жар, и отметил, как созвучна простая жизнь обитателей Чили этим горам, как не желают они перенимать цивилизованные обычаи пришельцев. Выходит, для Чили нет ничего важнее гор, они и есть истинные жители страны. И даже больше: мне они кажутся живыми наследниками тех гигантов, что предшествовали современному человечеству. Их заснеженные хребты — головы титанов, достигших бессмертия и окруживших себя тем светом, что дает пламень Змею. Анды хранят ту же мудрость, что и гора Кайлас. Порой я думаю о тех, кто вел моего Наставника как не о человеческих существах, а скорее, горных духах, живущих в скалах титанов.

Однажды утром, не проснувшись еще до конца, я взглянул через окно на темную массу Анд, перед которыми лежит Сантьяго. Мне показалось, я смог различить два гигантских образа, выделяющихся на черном полотне гор — титаны, заточенные во льду и камне. Один будто простирал руки к небу, а другой склонился, словно удерживал тяжесть веков. Их фигуры

были обрисованы темным светом, сами они походили на людей древности. В Чили эти титаны остались неизвестными, тогда как в Индии каждому было дано имя.

XI Есть ли избавление от смерти?

Мои мать и отец мертвы — это верно, но мне кажется, как части меня самого, они живы и сейчас. Они существуют как посмертные течения, как будто какая-то часть их сущностей еще живет в моей крови. И путешествуя по свету, я гляжу их глазами, давая им существовать опосредованно. Но однажды мне будет нужно умереть, и тогда всё будет кончено для них и для меня. К тому времени живые уже не станут помнить своих мертвых. В эру атомной энергии у них не будет времени, чтобы следовать этому бесполезному старому ритуалу.

И всё же воин не должен предаваться отчаянию. Ему надлежит биться до последнего, даже одному против всех, даже против себя самого и чувств в собственном сердце. Наследие и опыт говорят, что дух воина живет во мне. Одержимый жаждой приключений, я могу лишь идти, пока вижу дорогу. Видимо, я родился отмеченным: Змей укусил меня, моя кровь отравлена. С рождения я вступил в битву со смертью. И я обнаружил, что есть лишь один способ одержать верх в этом сражении: постичь, что есть Древо и Змей.

Значит, я просто ищу того, кто знает способ справиться с ужасающей ситуацией. Прочитанное мною указывало на то, что эта древняя мудрость, этот код, могут быть найдены где-то в Индии. Ведь Индия знает Змея с детства. Вот тогда я и решился на скачок через воды Потопа, чтобы увидеть — что же должно быть найдено в стране, всё еще существующей где-то у начал истории. И тогда я возжелал покинуть свою страну и народ своей крови, обратившись к Востоку. При всём этом, я следовал традиционной стезе: чтобы побороть смерть, всегда нужно вначале умереть. И чтобы вознестись над собственной кровью и своим наследием, я вначале должен был пролить ее всю. И я должен был покинуть своего Наставника: чтобы стать распятым, я должен был удалить себя из величественного символа Распятия.

ХII Дели

Имя, которое дали своей стране сами индийцы — Бхарата. Бхаратой звали сына прекрасной женщины по имени Ша-кунтала, позже воспетой в стихах Калидасы. От первого Бхараты произошли великие бхараты, о чьих легендарных победах рассказывает Махабхарата и Бхагавад-гита. Бхарата, подлинная духовная отчизна индусов — не нация, а континент. Так же, как мелкие княжества средневековой Европы объединяло общее наследие и религиозность, так отдельные штаты Индии скрепляются скрытой подземной нитью общих верований, почтения к одним богам. Если рационализм или повсеместная индустриализация разорвут узы Бхараты, едва ли найдется какой-то иной способ объединить континент. Сомнительно, что технология сама по себе отвратит Индию от пути, которым шла Европа после эпохи Просвещения. Дух национализма губит души наций и разрушает всё подлинно национальное.

Слово «Индия» персидское — его переняли вторгшиеся в Бхарату греки армий Александра, прошедших по Хайберскому проходу. Именно персы первыми использовали местное слово Хинду, чтобы обозначить всю Индию. В языке хинди это слово обозначает реку, и потому Индостан значит «страна рек».

Индийская столица Дели располагается в стратегическом узле северной части континента. В общем, отсюда удобно контролировать Хайберский проход, тропы Сафедхока и Пенджаба — которые обычно и служили вратами вторжения захватчиков. Великие Могулы также избрали Дели столицей империи, а их цивилизация произвела такое впечатление на северную часть Индии, что ныне здесь почти невозможно обнаружить хоть какие-то остатки доисламской архитектуры.

В близости Дели отчетливо обнаруживаются семь районов расположения древней столицы, соответствующих семи периодам магометанского вторжения. Возникновению первой из них, несомненно, предшествовало собственное поселение хинду, но все его строения, должно быть, были деревянными, и потому никаких останков найти не удалось. Но при этом в Индии обнаруживаются следы чрезвычайно древних цивилизаций: например, в долине Инда (на территории современного Пакистана) до сих пор можно посетить руины городов Мохенджо-Даро и Хараппа.

Вся история Индии отмечена непрекращающимися вторжениями. Так, великая Империя Гупта, родившая поэта-драматурга Калидасу, создавшая фрески Эллары и Аджанты, а также невероятные каменные головы Будды — в пятом веке была совершенно уничтожена гуннами, ведомыми Михиракулой. Позже, в седьмом и восьмом столетиях арабы вторглись через земли провинций Балухистан и Синд. После них пришел Тамерлан. Но ни один из захватчиков не пожелал задержаться в Индии: очевидно, они знали о способности Индии растворить их собственный этнос, и опасались за будущее своих потомков.

Современный Дели по-прежнему хранит викторианский дух, выставляя напоказ железнодорожный вокзал и статую старой королевы — хотя и запачканные теперь угольной сажей и птичьим пометом. Неизменными здесь остаются Мемориал и кладбища с надгробиями и крестами, университет и церкви, извечные прокаженные и невообразимая нищета.

Нью-Дели был возведен не так давно для британского генерал-губернаторства и гражданской администрации. Официальные лица поселялись в окруженных садами домах, и целые армии носильщиков, горничных, приказчиков и ночных сторожей спешили услужить им. Каким-то образом Нью-Дели воплощает апогей бюрократической посредственности, а объяснить это довольно просто: здешние поселенцы — не те, кто прибыл в Индию, чтобы жить среди ее народа, а просто те, кто стремился утопить в роскоши причиняемые климатом неудобства — здешнее небо было суровей к ним, чем туманы Британских островов. Дворец Раштрапати-Бхаван, ныне ставший резиденцией индийского президента, а когда-то бывший пристанищем последнего из английских генерал-губернаторов, лорда Маунтбэттена, в чем-то схож с Собором святого Петра в Риме — но этот Ватикан, построенный единственно на коммерческой основе, проиграл своему предшественнику в долгожительстве.

И потому, чтобы почувствовать настоящий романтический ореол Индии, нужно отправиться в Старый Дели — здесь, на улице Чандни-Чоук (что на хинди означает «площадь лунного света») попадаешь в атмосферу волшебной сказки: будто во сне, бесчисленные вереницы торговцев, коров, велосипедов, святых и прокаженных движутся вдоль улицы. Тут и там всплески экзотической музыки вырываются из домов, а в переулках кое-где высятся старые дворцы с серебряными верандами. Жизнь и смерть встречаются здесь в самом сердце сутоло-

ки, почти пропадая из виду среди орд купцов, на тротуарах, покрытых коростой экскрементов. На бордюре застыл, погружившись в медитацию, мужчина: он ищет вечности в испарениях благородных специй и навозной жижи.

Годы назад я прибыл в тот Дели, и всё это наблюдал. Я впитывал эти зрелища, чтобы открыть историю Индии — ведь ее история огромна, может быть, даже чересчур велика. Но вскоре стало ясно, что история в Индии не имеет ровно никакого смысла: здесь важна только легенда. Если сказать точнее, здесь важны не три измерения, а четвертое — невидимое. Дух всякого города отличается от его зримого проявления, и Дели — не исключение. Но постичь дух Дели сложнее. Этой книгой я попробую проложить путь к невидимой стране, которая одна только и является подлинной Индией, а также единственным значимым ее аспектом.

Всякий, кто прибудет в Индию, ведомый желанием узреть ее монументы, увидеть святыни или даже изучить повседневность жителей здешних городов — потеряется. Он не сумеет понять Индии; более того — он ее возненавидит, даже если и не сумеет в этом признаться. Потому что правда такова, что с физической Индией примириться невозможно: в ней нет ни очарования, ни самобытности. А красота невидимой Индии, напротив, необъятна. На пути к ней нужно доверять лишь интуиции и особому чутью к таинствам; нужно огибать телесное и следовать за игрой эмоций.

В мой первый приезд я обосновался в Нью-Дели. Было лето, и жара стояла невообразимая. Солнце било безжалостно — да что там, казалось, всё небо пылает огнем! И более того, удушьяющая сухость будто истребляла саму жизнь. Черные пичужки, застывшие на крышах домов с раскрытыми клювами, будто иссохли. Воздух гудел под ударами солнечных лучей. Но ничто не шевелилось: движение означало смерть. И всё трепетало, оставаясь недвижимым.

Срывалась и падала ночь, не родив освежающих дуновений, воздух оставался тяжелым, тягостные испарения повисали в нём. В садах вместо прохлады была только тяжесть, а источаемые ими ароматы дурманили и оглушали. Они растекались по улицам и смешивались с запахами тел людей и животных. У гостиницы, прямо на тротуарах, укладывались на случайных постилках водители такси, служащие и торговцы, готовясь встретить звездную ночь. Откуда-то мог донестись обрывок приглушенного разговора, но в целом ночь была безмолвна и тягостна. И вдруг из далекой пустоши доносился визг гиен, пирующих над каким-нибудь лоскутом истлевшей плоти.

XIII

Трубка — тоже Змей

Почти сразу же после прибытия в Индию я завязал знакомство с чужестранцем. Это был высокий стройный мужчина с яркосиними глазами, его голова уже начинала лысеть. Однажды вечером он пригласил меня к себе. Мы договорились встретиться у моей гостиницы, а после брели по улицам, которые к тому времени уже заполнили спящие. Когда мы добрались до его квартиры, он на короткое время оставил меня, чтобы переоблечься в мунду — свободную мантию, традиционную для юга Индии. Теперь он был босоног и гол выше пояса. Он предложил мне разуться и пройти в спальню, которая оказалась совсем небольшой комнаткой; пол здесь был застелен белым полотном, а мебелью служили разложенные подушки. Чужеземец присел и зажег лампадку. В руках у него появился набор привычных ему инструментов: длинная курительная трубка и изукрашенный резьбой красный лакированный ларчик. Открыв его, он вытащил немного опиума, скатав его над огнем в маленькие шарики. Его пальцы двигались с большим проворством, но лицо было беспокойным; он будто стал жрецом, исполняющим древний ритуал. Темный камень в кольце на его левой руке был покрыт стихами Корана. Пока человек был занят приготовлением шариков, прозрачный дымок завивался спиралями над огнем, а комнату заполнял странный запах. Чужеземец был совершенно поглощен своим делом и полностью погрузился в себя. Тогда еще раз приоткрылась дверь, и в темноту неслышно вступила молодая красавица. Она улеглась и вытянулась у ног мужчины, стройная, будто кошка, задремавшая на мягкой подушке. Ее большие глаза, распущенные длинные волосы и чрезвычайно изящные руки говорили, что родилась она на юге Индии. В улыбке она обнажала крошечные белые зубки. Чужеземец с нежностью провел ладонью по ее голове.

Теперь всё было готово: трубка направлена, а для нас взбиты две подушки. Чужеземец несколько раз глубоко затянулся дымом, а после передал трубку женщине. После паузы он сказал:

— Индийский опиум лучший в мире; его просто не с чем сравнивать. Поэтому я и живу здесь, — кивком указав на женщину, он добавил: — И, разумеется, из-за нее.

Он рассказал, как несколько лет назад пробовал вернуться в Европу, желая вновь увидеть мир Запада. И уже оказавшись там, понял, что не может его переносить.

— И тогда я порвал все сохранявшиеся до тех пор связи и вернулся сюда. Дело не в том, что я люблю Индию или индусов, вовсе нет. Объяснить это непросто. Возможно, сама здешняя атмосфера что-то вроде этого опиума. Повсюду в Индии она одинакова. Если бы я жил в Европе, думаю, мне приходилось бы чаще курить. Но здесь в этом нет необходимости, потому что опиум здесь повсюду, — он вновь указал жестом на девушку: — И она тоже мой опиум; хотя ее саму это пагубное пристрастие не затронуло — она курит, но не от необходимости. Она может бросить в любой момент.

Женщина улыбнулась и вытянула длинные ноги, укрытые сари. Чужеземец продолжал:

— Этот опиум приходит из Афганистана. Из того края, где встречаются четыре страны: Китай, Россия, Пакистан и Индия. Оттуда и бредут опиумные караваны. Они древнее самой истории, и всегда сопряжены с величайшими мечтами и опасностями.

Потом он передал трубку мне:

— Может быть, вы хотите попробовать?

Я был совершенно разбит усталостью, будто выжжен изнутри жаром минувшего дня и атмосферой комнаты, но всё же взял длинную трубку и вначале осмотрел ее. Она была изготовлена с изощренным мастерством, наверное, в Пекине, а может, Шанхае или Гонконге. При этом она была увесистой и в прочности не уступала боевому оружию. Затягиваясь дымом, я вообразил было, что вот-вот встречу лицом к лицу с сущностью жизни. Я желал влиться в историю, соединиться с тем человечеством, что предшествовало истории. Откинувшись на подушке, я ощущал, как мало-помалу отступает моя усталость. Мы продолжили беседу, передавая трубку из рук в руки. Чужеземец спросил моего мнения о том, являются ли естественные видения более ценными в сравнении с опиумными. Ключевым элементом его мироощущения было забвение, его он примерял ко всему. Наслаждение для него тоже было забвением. По его мнению, мистики и святые могут найти наслаждение только в боли, и он хотел знать, превосходит ли такое наслаждение забвение опиума.

К тому времени курение заставило меня выйти за пределы всяких ощущений. На самом деле, я совершенно ничего не испытывал. Но я находил величайшее удовольствие в простой красоте сцены предо мной, где дым окутывал двоих. Не имея опыта, я не мог знать, может ли опиум быть ценнее мистических переживаний. Я чувствовал только, что сам никогда не

смогу сделаться курильщиком — я знал, что опиум всегда будет отделять меня от непосредственного приключения.

После чужеземец обратился ко мне, осторожно попросив рассказать о моих мистических переживаниях.

— Сам я никогда не испытывал ничего подобного. Поэтому я и курю.

В его голосе скользнула нотка тоски о былом.

Я рассказал о своем прошлом то, что сохранила память. Я говорил, а женщина всё шире раскрывала глаза, в них будто замерцали озера и джунгли ее родных мест. Она больше не курила. К тому времени перестал курить и я, и теперь ощущал странное единство с ней.

Чужеземец продолжал улыбаться, но в его взгляде сквозила печаль. Его длинные пальцы перебирали китайскую трубку — она была его Змеем, его единственной связью с отвергнувшим его миром. С помощью этого Змея он мог прикоснуться к корням тайнства, скрытого в его любовнице. Но она, и я с ней, уже унеслась куда-то далеко, хотя было ясно, что из этого ничего не получится: мы были пришельцами из других миров.

А потом я возвращался в гостиницу, брел по тем же тротуарам, и они всё так же были устланы спящими — совершенно заброшенными, укрытыми только тяжелым ночным воздухом. Наверное, они видели те же страдальческие сны, которые видят все пойманные, околдованные узники, запертые в собственном существовании — нерешительно колеблющиеся на переломе мира действительности и подлинного мира вечности.

Где-то визжали невидимые гиены — так же, как это было веками.

XIV Потерянный в храме

По указанию миллионера Бирлы на севере Индии построено несколько колоссальных храмов, вид каждого из них свидетельствует о весьма дурном вкусе. В других странах мира миллионеры жертвуют деньги церкви или участвуют в благотворительных акциях, чтобы убаюкать совесть; я не уверен, существует ли такая мотивация в Индии — ведь здесь всё по-другому. Бирлы — семья влиятельных купцов, но вот — один из них ударился в религиозность, стал покровительствовать святым, йогам и паломникам всех национальностей. В его доме

в Нью-Дели часто останавливался Ганди. На самом деле, именно в том доме он был впоследствии убит.

Выстроенный Бирлой храм — подлинное архитектурное чудовище; центральные постройки выкрашены в кричащие цвета и загромождены резными фигурами, а сады полны статуями животных, декоративными башенками и беседками. По воскресеньям сюда приходят люди: послушать музыку или устроить пикник, пока другие спят или молятся. Таким образом, этот комплекс следует древнему восточному представлению о храме, как о дворце, гостиной, и просто том месте, где можно присесть и побеседовать. Снаружи полчища торговцев разносят цветы и еду, брошюры и картинки. Внутри полчища детей снуют вокруг, катаются на качелях и молятся. Бывает интересно поразмыслить о складе ума архитектора (не говоря уже об основателе), воздвигшего этот храм — слияние детской незрелости и острой пронизательности.

Здесь я видел и самого Бирлу — тот вышагивал среди садов и святилищ своего храма, наблюдая за тем, чтобы всё было в надлежащем порядке, и полы всегда были чистыми. Будто король во дворце, он был облачен в длинный ашкан поверх развевающейся ткани дхоти, вокруг головы повязан тюрбан, а лицо подобно медальону из старой слоновой кости.

Однажды, посещая храм, я остановился в главном зале, подле святилища Рамы и Ситы. Там я заметил любопытную темнолицую фигуру, подобно статуе сидевшую, скрестив ноги, на мраморном пьедестале. Тело было укрыто прозрачными тканями, а голова обернута шелковым тюрбаном, вокруг шеи обвиты цветочные гирлянды. Вокруг собирались люди, подносившие к ногам статуи сладости, кусочки хлеба и фруктов. Время от времени пожилой и растолстевший священник, смотревший за порядком в святилище Рамы, разгонял любопытных и обмахивал веером лицо изваяния. Только внимательно приглядевшись, я заметил, что это на самом деле живой человек — закрыв глаза, он сидел там настолько недвижный, что даже его дыхание стало почти незаметным. Но вот кто-то приблизился к нему, тронул за стопу и что-то произнес. Статуя раскрыла глаза. Медленно поднялись веки, огонек усталого света выглянул из-за них. Приоткрылся рот и ярко-розовый язык попытался облизать пересохшие губы. Тогда толстый брахман вставил меж его зубов горлышко кувшина с водой. Когда, отвлекшись на минутку, я снова вернулся к бывшей «статуе», та уже ожив-

ленно болтала на южном наречии с любопытными, окружившими ее. Лицо человека было широким и плоским, а глаза светились озорством. Подошел к нему и я, приветствовав его со всем почтением. Он глянул на меня удивленно, почти с неодобрением, как будто хотел сказать: «Ты не должен делать этого» — или: «Это не то, что тебе следует делать». На его широких губах появилась легкая улыбка соучастия.

Покинув святилище, я побрел по коридорам, заполненным несчастными бедняками. Стены были расписаны буддистскими свастиками и сценками из жизни всевозможных богов индийского пантеона. В одной комнате помещалась статуя Кришны в полный рост, здесь собралась группа поющих музыкантов. Сидевшие на полу слушатели расположились с двух сторон: раздельно мужчины и женщины. Отсюда я поднялся на верхние галереи храма. Сквозь проемы аркады я наблюдал, как на мощном дворике появилась новая группа паломников — головы некоторых из этих мужчин были гладко выбриты, оставался только небольшой клоч волос, свисавший на затылок. Вошедшие несли на руках еще одного мужчину. Они ступали медленно, и, наконец, с большой осторожностью опустили его на землю. Лежащий также был полуобнажен, с такой же обритой головой, но выделялся высоким ростом и мощью сложения. Неожиданно он стал корчиться в конвульсиях, жестокая дрожь охватила его. Другие укрыли его плащом, и расселись вокруг в терпеливом молчании.

Потом я спустился к широким садам за храмом, и дошел до самой последней башенки, выстроенной в подражание башням дравидов на юге. Я поднялся по ее ступеням и отсюда увидел иссушенный кустарник и уходящую вдаль безлюдную пустошь. Женский голос, транслируемый храмовыми громкоговорителями, вел меланхоличный напев. Обернувшись, я увидел мальчика — всё это время он наблюдал за мной, а я только сейчас заметил. Ему было не больше восьми лет, длинная рубаша спускалась ему до колен, а на груди сияла медаль или амулет из блестящего металла. Очень кучерявые волосы, взгляд ласковый и мягкий. Он смотрел на меня с любопытством, даже с настойчивостью. Мне показалось, что он просит денег, так же как и та девочка в Адене — так что я поискал что-нибудь в карманах. Я предложил ему пару анн, но мальчик даже не шелохнулся. Он просто продолжал глядеть на меня, прижав к бокам вытянутые руки. Я не решился тронуть его.

Я стал спускаться, озираясь время от времени. Мальчик всё так же смотрел на меня. Когда я достиг подножия лестницы, внезапная мысль пришла мне в голову, и я поспешно, почти бегом, снова взобрался наверх. Но мальчик пропал. Я перебежал на другую сторону, и осмотрел лестницу, но его не было и здесь. Тогда я вернулся в храм, продолжая высматривать его. Но он просто исчез. Тогда, медленно переставляя ноги, чувствуя странную мучительную тяжесть, я вернулся в сады и присел на скамью, не в силах оторвать глаз от башни. Меланхоличный женский голос всё так же плыл из громкоговорителей, а из головы не выходило видение мальчишеского лица и чистых глаз. Сам того не заметив, я заплакал, по щекам сбежали вниз слезы. «Кем был этот ребенок?» — спрашивал я себя. Почему его взгляд так взбудоражил меня? Может быть, в каком-то смысле он был моим сыном? А может быть, это древнее видение, встреча, случившаяся две тысячи лет назад? Потерявшийся в храме, храме Востока... и, не узнав его, потерянным оказался именно я.

XV Корова

Многие древние обычаи Индии кажутся критичному взгляду современников предосудительными суевериями. Но понимать законы, управляющие укладом хинду, можно, только если не упускать из виду того, что Индия всегда была теократической, и остается таковой поныне. Это последняя, и по всей вероятности, единственная подлинная из всех когда-либо существовавших теократий. Обнаружить хоть что-то подобное на Западе можно только в Европе раннего Средневековья. В Индии любой закон, даже самого практического толка, установлен брахманами, то есть — духовенством, религиозной властью. Ввиду этого, духовенству приходилось быть скорее практическим, чем мистическим, более политическим, нежели духовным. В таком ключе брахманы составили свод законов, которые сопровождают хинду от рождения до смерти, охватывая любую деталь повседневной жизни, включая принятие пищи, купание и половую жизнь. Таким образом, в Индии у любого предмета есть две стороны: всё имеет как духовные, так и телесные основания. При этом духовность не страдает от своих практических воплощений, совсем наоборот: между ними существует метафизическая связь. Образ коровы — ярчайший пример такого союза.

Само представление о священности коровы возникло, вероятно, из чистой необходимости защитить это полезное животное. Для хозяйственного уклада Индии корова оказалась даже полезней коня, поскольку не только справлялась с его работой, но была способна и еще на кое-что: помимо трудов с повозкой и плугом она давала молоко. В какой-то момент этот ценный зверь едва не вымер, и тогда был провозглашен священным.

Приняв новый статус, корова обрела и принадлежность к роду Авеля. Убить корову значит вновь совершить грех Каина. Корова мгновенно стала объектом почитания, и, как всегда в Индии, обожание занимало практический смысл: самое святое из животных было также и самым полезным. Но более того, кроме молока корова несла и нечто иное: она стала образом всей истории, живым символом теократии. Безо всякого преувеличения можно сказать, что не будь коровы — и Индия была совсем иной. У Ганди был повод перевозить корову. А сегодня, когда Неру говорит (осмелюсь заметить, без особой убежденности), что «суеверию о священной корове» нужно положить конец, и саму корову нужно принести в жертву голодающему народу — огромные массы хинду провозглашают сатьяграху, и восстание это даже еще более решительно, чем то, что привело к изгнанию британцев.

Думая о конном всаднике, мы представляем Атиллу и Чингисхана или европейских крестоносцев и конкистадоров Америки. Народ Будды и Ганди проехал через века на спине коровы, и так вошел в современность.

Индийская корова не похожа на всех прочих. Прежде всего, ей никогда не приходилось подставлять шею под ярмо. Вместо него используется спинная упряжь, помогающая выдерживать тяжесть и избежать унижения. Эта упряжь выглядит как странный горб и делает индийскую корову похожей на верблюда. Если есть легенда о том, как Морской змей превратился в верблюда, оказавшись в песках пустыни — может быть и эта корова окажется Змеем.

Отношения между индийским народом и коровой всегда были спутанными и неоднозначными. Это противоречивое смешение и есть то, что лучше всего отображает саму жизнь. Корова священна, и убивать ее запрещено, а смертная казнь может чаще применяться к убийцам коров, а не людей. Но в то же самое время коровы подвергаются истязаниям и пыткам: мне приходилось видеть погонщиков, колотивших своих коров в самые чувствительные места, нещадно дергавших их за хвосты и тыкавших их

острыми орудиями в задний проход или половые органы. И всё же, если корова погибает в пути, брахман читает над ней стихи Бхагавад-гиты, или отрывки Вед, так же, как над умирающим человеком. Ведь в круговороте перевоплощений нет действительной разницы между человеком и коровой. Они не превосходят друг друга, только ум рождает идею превосходства. Никогда и никем не была обоснована меньшая ценность для Верховного разума даже самого ничтожного червяка по отношению к человеку. В цепи воплощений хинду каждый на своем месте исполняет собственную судьбу и роль — на этом основана система каст. И поэтому неприкасаемый не хуже брахмана или принца, он просто другой. Каждому определено место, собственные дхарма и карма, у каждого свое назначение и сущность. Но всё подвержено изменениям, и в другом воплощении неприкасаемый может стать принцем, а брахман — коровой.

Всё оказывается смешанным, но в то же время ясным и четко очерченным. Этот мнимый парадокс применим и к образу коровы. Сама корова белого цвета, и дает чистое белое молоко, но также производит грязь и испражнения. Корова — символ Вселенной в ее целостности, и в легендах индусов ее молоко воплощает космическую энергию. Поэтому брахман и его народ пьют пенное молоко земной коровы, но этим не ограничиваются, поскольку корова не просто животное, а — символ. Брахман и его народ пьют и мочу коровы, и даже примешивают коровий навоз к своей повседневной пище. На рассвете они подносят рты к коровьему заду и пьют теплую мочу. Это действие равным образом символично, поскольку и коровья моча имеет вселенское значение: жизнь — не только молоко, но также и моча. Верить во что-то иное значит обманывать себя.

От коровы нельзя брать только мясо, поскольку это требует ее умерщвления, то есть разрушения символа. Хинду миролюбив, потому что с уважением относится к символическому значению предметов — он боится убить даже отдельную мысль.

Можно считать, родиться в Индии — это большая удача для коровы. В старом Дели мне доводилось видеть коров, шествовавших с достоинством, говорящим, что они властвуют этими улицами безраздельно. Это чудесное зрелище, подобное поэзии: на пике века атомной энергии и межпланетных путешествий, на свете всё еще есть страна, где машины, грузовики, танки, и, наверное, даже самолеты, должны остановиться, пропуская корову. Кажется, у нее нет никакого владельца, и она принадлежит лишь

сама себе. Вот корова ступает вдоль улицы, величественно и неспешно, совершенно позабыв о своем окружении. Кажется, она даже не принадлежит текущему моменту, ее мир — не мир технологии и механики. Она проходит мимо, будто Дева и Мать в царственном одеянии. Она — Непорочная Мария, она — Кали и Дурга, наша собственная мама. Она становится созданием, которому не посмеет причинить вред ни один человек — тогда она вдруг обернется и взглянет в него своими глубокими и невыразимо прекрасными глазами. Такого взгляда никогда не было у людей; он, кажется, отражает бездны души и дали Вселенной. Современный человек постепенно теряет человечность, и тогда она находит убежище в глазах коровы, преисполняя их.

Бывает, коровы шествуют разряженными как изысканные дамы. Рога выкрашены яркими красками, а тела украшены лентами и колокольчиками. Вокруг глаз нарисованы синие круги, но они всегда остаются теми же, невероятно глубокими. Я мог проводить целые дни, вглядываясь в эти глаза, пока на меня не нисходило запечатленное в них умиротворение. И потому я — один из тех, кто почитает корову и осуждает ее убийство. Убить корову значит убить Бога. А что это будет значить для души Индии?

Старый Дели — это город коров, здесь они разгуливают совершенно свободно. Им нет дороги в центр Нью-Дели, но здесь они предаются простым наслаждениям жизни на узких улочках и в парках старого города, помогая хранить его чарующую атмосферу и величайшую духовность.

Сегодня на главном проспекте старого Дели, неподалеку от Гражданских улиц, в былые времена отделявших Индию британскую от индийской, я видел женщину, спешившую за коровой. Корова шагала медленно, и, как это часто бывает, на ходу испражнялась. Женщина торопливо подбирала всё еще дымящийся навоз и складывала его в корзину, которую несла на голове. Коровьи испражнения выпадали из переполненной корзины ей на плечи, забивались в распущенные волосы, пачкали лицо и руки. Это не могло помешать ей, поскольку навоз обладает ценностью: позже женщина сможет использовать его как горючее или удобрение, а может быть, даже материал для постройки дома. Женщина и корова проходили по улицам под утренним солнцем Индии — так же, как это было веками.

XVI Дедов перстень

Наконец я решил обосноваться в Старом Дели — атмосфера там не такая искусственная, как в новом городе. Облюбованный мною дом имел три комнаты и даже небольшой садик. Гостиная, которая одновременно служила мне и спальней, сплошь состояла из окон, сквозь которые красовалась пышная растительность тропиков, включая бананы и фиговые деревья. В центре сада помешался небольшой курган: усыпальница английского майора, убитого в мятеже 1857 года. Сразу за моим садом начиналось старое Британское кладбище. Я часто гулял там, ища причастия к душе Запада, которая здесь по-прежнему жива. Это поэтический уголок резных каменных крестов, хранящий мечту о Вечной любви. Однажды, на одной из кладбищенских тропок я нашел замшелый обломок старого могильного креста. Я унес его и поместил на могилу в своем саду. Кроме усыпальницы английского майора, там были и еще две могилы. Однажды случилось так, что о стекло моих окон разбилась насмерть красивая пташка — видимо, желая впорхнуть в комнату и не заметив препятствия. Сломав шею, она упала на землю, широко раскинув крылышки. Я похоронил ее в саду, возле могилы олененка, который какое-то время был мне приятелем.

Но у меня были и другие, веселые посетители — обезьяны. Они скакали вокруг, разрушая всё, к чему притрагивались. Как-то раз, уходя из дома, я позабыл запереть дверь — а вернувшись, обнаружил чудовищный беспорядок. Шкатулку из Дамаска обезьяны истолкли в пыль, а моя любимая книга позже нашлась на крыше соседнего дома, совершенно изорванная. Несомненно, одна из обезьян (с философским складом ума) посчитала, что лучший способ воспринять замысловатую книжную мудрость — разжевать и проглотить ее. Наверное, в следующем воплощении она станет весьма начитанной особой.

Никакими уговорами мне не удалось убедить сторожа отпугивать обезьян, ведь в Индии обезьяна тоже священна: это живое воплощение Ханумана, обезьяньего короля, помогавшего Раме спасти супругу Ситу из когтей демона Раваны. Хануман проводил Раму на Цейлон и помог перебраться через пролив Маннар. С тех пор народ Индии чтит Ханумана, видя в нем символ завоевания южной империи дравидов, которых считают родственными обезьянам. И поскольку один из дравидов выру-

чил Раму, предав своего брата—демона, потомки арийских завоевателей позже вознаградил его обожествлением.

Обезьян в Индии миллионы, но никому и в голову не придет убивать их. Несколько лет назад при разработке вакцины от полиомиелита обезьян стали использовать в экспериментах, но в парламенте тут же зазвучали гневные требования прекратить такую практику. Индия могла бы выручить подобным образом большие деньги, но для ортодоксального хинду это неприемлемо. И в то время как толпы нищих и прокаженных умирают в самом центре Дели, на оказание помощи им не выделяется никаких средств — зато открывается денежный счет на постройку нового приюта для больных коров. Хинду не заинтересован в улучшении судьбы или кармы тех умирающих бедняг, ведь в отличие от обезьяны или коровы они не священны.

Неподалеку от моего дома располагался квартал, целиком заселенный неприкасаемыми. Этих людей называют хариджан, что означает «божьи дети» — их нанимают подметальщиками, чистильщиками отхожих мест и прачками. Они работают под открытым небом, и я часто слышу их песни, сопровождаемые глухим стуком влажной одежды, которую они выбивают о камень.

На другой стороне улицы, за парком, полным разрушенных мечетей, тянется река Джамна, столь же священная, сколь и Ганга. Когда муссоны приносят дожди, ее разлив угрожает прибрежным деревням, так что их обитатели собирают пожитки в караваны и отправляются в Нью-Дели, пережидая опасность в палатках на старых площадях и улицах. А бурная река несет трупы животных и змей. Воде всегда по силам усмирить огонь и утопить Змея.

На долгих гхатах Джамны сжигают мертвых, увивая их тела гирляндами цветов. Вдоль побережья расположены сотни маленьких храмов, где верующие собираются, чтобы звонкой музыкой труб и колоколов провозгласить творящую силу лингама, фаллоса Шивы. Неподалеку есть и арена, где мужчины в набедренных повязках, натеревшись блестящим маслом, сходятся в борцовских поединках. Совсем рядом примостился небольшой ашрам, или монастырь, посвященный Кришне — богу любви и музыки. В воскресный полдень он становится местом собраний самых разных людей: торговцев и паломников, нищих и святых. Сюда они приходят, чтобы воспеть бога и вновь рассказать о его волшебных приключениях. Вначале напев тянется не-

спешно, но постепенно ритм учащается, становясь совершенно неистовым — под его гипнотическим воздействием певцы погружаются в транс. Здесь мне доводилось услышать необычайные голоса, здесь я годами наблюдал за тем, как изменяются выражения лиц, когда увлеченные этой музыкой люди проникают в Коллективное бессознательное своего народа. Их глаза наполняются странным блеском, и страсть будто пьянит их.

За исключением немногочисленных завсегдатаев, приходивших каждое воскресенье, публика состояла из постоянно меняющихся скитальцев — и песни их тоже были импровизациями. Однажды я видел нищенку, вначале вскочившую, а потом распростершуюся перед образом бога, упершись в землю головой. Она стала рыдать и смеяться. Музыка продолжала звучать, а она словно совершенно отделилась от всего мира, и ее смех и плач теперь стали единым действием. Лицо преобразилось, и она будто стала мертвецом, умеющим таинственным образом поддерживать в себе жизнь.

Эти воскресные ритуалы богаты давними традициями, и, несомненно, греки времен Гомера пели истории о своих героях схожим образом. Я вспоминаю виденного мной старца, взявшего в руки небольшой музыкальный инструмент, похожий на аккордеон, и начавшего петь. Через короткое время он был уже не стариком, но превратился в самого бога, легенду которого заново переживали завороченные слушатели. Он пел о детстве Кришны, рассказывая о его забавах с гопи и о том, как он танцевал, играя на флейте. Песне старика стали вторить слушатели, и вскоре его экстаз передался всем присутствующим. Библейская борода старика колыхалась вверх-вниз в такт пению, и казалось, что сам бог Кришна пляшет перед нами.

Колоритнейшим персонажем этого ашрама был чрезвычайно старый мужчина — постоянные посетители воскресных церемоний утверждали, что ему далеко за сотню лет. Едва ли это действительно так, но всё же он был очень древним, и при этом даже в самые холодные зимние месяцы никогда не надевал ничего, кроме набедренной повязки. Он не посещал музыкальных собраний, всегда оставаясь в своем убежище и, скрестив ноги, предавался глубоким размышлениям. Лишь в совсем редких случаях он появлялся среди певцов, и лишь тогда, когда их возбуждение достигало самых пределов. А он сидел совершенно спокойно, с выражением нерушимого мира на красивом лице, с волосами, заплетенными в аккуратные косы. На пиках

экстаза, в такт музыке, поющие принимались бросать в воздух лепестки роз, опадавшие вокруг старика; казалось, певцы подносят цветы живому богу. Несколько раз я приходил в убежище старца, чтобы, присев подле него, влиться в его совершенное безмолвие, стараясь «прислушаться» к его отрешенным раздумьям в собственных размышлениях.

Старый Дели хранит множество тайных мест, подобных этому; здесь есть и совсем фантастическая улица, имя которой я уже упоминал: Чандни Чоук.

Чандни Чоук — торговая артерия Старого Дели, содрогающаяся в ударах могучего пульса. В любой час дня необозримые потоки движутся по ней в обе стороны, а по вечерам она вспыхивает разноцветными огнями. Здесь рябит в глазах от автомобилей, конных повозок, трамваев, грузовиков, велосипедов, тонг, рикшей, пешеходов, солдат, музыкантов, процессий, свадебных шествий, слонов, верблюдов, коров, нищих и умирающих на улице людей. Это целая вселенная, громадная и пестрая. Ее берега—тротуары уставлены лотками торговцев, и вся улица — сплошная череда цветочных лавок, бакалейных лавок, кондитерских лавок, антикварных лавок, банков, кинотеатров и храмов. Более состоятельные купцы обитают под крышами собственных магазинов; одетые в белое, они сидят на полу среди ярких цветастых сари, вышитых нитями серебра и золота, надеясь заинтересовать индийских красавиц.

Крупных храмов на Чандни Чоук два, один принадлежит джайнам, другой — сикхам. Религия джайнов современна буддизму и в некоторых чертах ему подобна. Шагая по улице, джайнист внимательно глядит себе под ноги, чтобы не наступить на что-нибудь живое. Он закрывает рот марлей как врач на операции, чтобы случайно не проглотить какое-нибудь крошечное, невидимое существо. Сикхизм же религия гораздо более поздняя, развившаяся за последние несколько веков. Ее последователи не признают ни богов индуизма, ни его священных книг, Вед. Им чужда даже идея каст, хотя исторически сикхизм был основан кастой воинов. У своих истоков джайнизм и буддизм также отрицали представления о кастах, хотя буддизм впоследствии вынужден был их принять. Узнать сикхов можно по множеству черт, выделяющих их среди прочих индийцев: сикх никогда не стрижет волос и не бреет бороды, повязывает на голову тюрбан, а на правом запястье неизменно носит железный браслет. Сикхов не так много, и большая их

часть живет на севере Индии, особенно в Пенджабе. Кажется, в Дели они заправляют такси, и очень сложно отыскать здесь шофера, который не оказался бы сикхом в тюрбане. По особым поводам они облачаются в традиционные костюмы и вооружаются мечами, кинжалами и алебардами. Суть религии сикхов — вера в единственность бога, почитаемого ими с великой преданностью. Основал сикхизм гуру Нанак — пророк, глубоко впечатленный бхакти, движением преданного служения, давшим миру также Рамануджу и поэта Кабира. Будучи в первую очередь религией, сикхизм стал попыткой возвысить опасный символизм Змея, и можно сказать, что, несмотря на форменную одежду и кинжалы, в сикхах воплощается смягчение и сглаживание более древних и мужественных пластов индуизма. Философия сикхов, будучи по сути экстравертной, имеет некоторое сходство с магометанством и христианством, и направлена скорее против внешних, а не внутренних демонов.

Высокорослый сикх всегда стоит на страже у дверей храма на Чандни Чоук, одетый в синий тюрбан и такой же синий плащ. В правой руке у него алебарда, а на поясе еще и меч: прежде чем войти в храм, придется снять обувь и покрыть голову. Внутри не смолкают музыка и пение. Мужчины и женщины сменяют друг друга у алтаря и святой книги, написанной гуру Нанак. Старый жрец с белой от седины бородой стоит подле книги, обмахивая ее веером; их окружает группа музыкантов с традиционными инструментами, аккомпанирующих его движениям. Верующие по очереди бросают монеты в раскрытую воронку, получая взамен сладости и фрукты. Вход в святилище всегда залит водой, поскольку приходящие сюда паломники сменяют друг друга в стремлении сохранять мраморные ступени непорочно чистыми. Здешний свет, цвета и музыка превращают интерьер в сказку «Тысячи и одной ночи».

По всей длине от Чандни Чоук отходят в стороны сотни переулков, настолько узких, что балконы стоящих друг напротив друга зданий соприкасаются. Щели лестничных проходов ведут внутрь домов, по ночам тут и там зажигаются красные огоньки, и в целом атмосфера будто опиумная, полная загадок и странного возбуждения. Тамошние деревья высажены прямо посреди улиц, их ветви и корни вырастают в дома. Повсюду бродят коровы, беспрепятственно входя в помещения, в результате многие ступени оказываются вымазаны мочой и испражнениями. Неожиданно в глаза бросится веранда с искусным серебряным узором: часть

старого, давно заброшенного дворца. За ним стоит храм джайнов, и там заметишь ребенка, усеянного рубинами и изумрудами — его привел отец, знаменитый ювелир. Изнутри стен храма не видно за жертвоприношениями верующих: живописными миниатюрами и массивными золотыми реликвиями. Воздух здесь загустел от благоуханий, запахов мирры и сандалового дерева.

На другой улице всегда столпотворение — она живет торговлей индийскими специями. Специи громоздятся здесь в открытых корзинах вдоль всей улицы, и ароматы гвоздики и перца, корицы и бетеля странным образом смешиваются с запахами людских толп, проходящих по узкой улочке.

Порой по кварталу проходят свадебные процессии. Жених, верхом на лошади, изукрашенной медными орнаментами и усыпанной цветами — будто сам Пан, переодетый в тюрбан и старинную парчовую мантию. Рядом с ним обязательно сидит мальчик, а вокруг шагают музыканты и факелоносцы. Процессию возглавляют танцоры, пляшущие с мечами или изображающие драку на длинных шестах. Кorteж часто останавливается, и музыканты выдувают те кисло-сладкие мелодии Востока, в которых словно выражается вся суть индийской музыкальности. Временами кажется, что жениху понадобятся годы, чтобы достичь порога невесты, но это никого не волнует и вовсе не имеет никакого отношения к происходящему. Ведь такое шествие — символ души, путешествующей сквозь многочисленные воплощения ко встрече с другой душой. Позже (намного позже!) свадьба будет освящена ведическим огнем, как предписывает арийский ритуал. Жених и невеста будут виться вокруг этого огня, как веками вращались вокруг него звезды и Земля. Случайных прохожих приглашают принять участие в процессии и присутствовать на самой свадьбе и торжественном пиру, и неважно даже, если он совсем чужой иностранец.

Особое очарование этому кварталу придает разноцветье торговых лавок. Здесь можно купить что угодно: разнообразные музыкальные инструменты, изображения Кришны, Рамы, Ганди и Неру в кричащих и вульгарных цветах, которые при этом не кажутся абсурдными — удивительным образом достигается общая гармония. Большим успехом пользуются цветочные лавки, где можно найти гирлянды жасминов и роз — их носят жрецы, а женщины заплетают в волосы. В знак почтения их подносят к святилищу Махатмы Ганди; такие букеты бывают разных цветов: желтые, оранжевые, красные, белые и голубые. Цветочными

ароматами пропитана вся улица. Где-то неподалеку можно купить цветные мелки, нужные для того, чтобы рисовать магические круги при входах в храмы и дома. Мелками из сандалового дерева подкрашивают глаза и рога коровам, а женщинам рисуют маленькие точки на лбах — между бровей, где они символизируют открытие третьего глаза, глаза Змея.

В парфюмерных лавках всегда большой запас сандаловых палочек и благовоний, которые здесь, в Старом Дели, жгут почти повсеместно. Имеются дюжины индийских духов: уложенных в коробки стеклянных пузырьков — но для западного обоняния они непереносимы из-за пронзительной, приторной сладости. Как говорят, эти древние духи изобретены королевой могулов Нур Джахан (что значит «Светоч Мира»), женой императора Джахангира. Здесь можно купить и особые красные мелки, которыми танцоры красят ступни и кисти рук; этими же ароматными мелками невесты красят шею, соски и половые органы. Они называются хинна, их тяжелый и темный аромат пронизывает чувства и дурманит душу. Считается, что особенно сильными они становятся в пору муссонов. Еще говорят, что те, кто использует эти мелки, преодолевают время — делая два шага в этом мире, они проходят еще один, третий, в другом. Поэтому тот, кто воспользуется этими мелками, в любовных ласках может пробовать всё что угодно — его душа не запятнается, а наслаждение утроится. Это символ любовников, знавших друг о друге сквозь необъятные дали, а встретившись, сумевших закрыть глаза и дотянуться к четвертому измерению.

На большинстве улиц найдутся лавки, источающие запахи кухни. Прохожие могут подкрепиться здесь, просто присев на тротуар. Тогда капли сладких сиропов и павленного желтого сахара падают на мостовую и смешиваются с жеванными листьями бетеля, которыми здешние жители плюют на стены и тротуары, пачкая их алыми пятнами, похожими на кровь туберкулезных больных.

Есть и отдельный квартал проституток, где эти нездоровые женщины обитают в комнатухах, напоминающих тесные клетки. Здесь они ожидают посетителей, не придавая никакого значения ни грязным занавесям, ни взглядам малых детей.

В другом месте расположен магометанский квартал, процветавший до разделения Индии. Улицы здесь также узки, веранды домов изукрашены очень причудливо, а дворики вымощены крашеной плиткой и мрамором. Квартал до сих пор населяют торговцы коврами: перед особо ценными клиентами

они расстилают великолепные кашмирские и персидские килимы. А здешних женщин, разумеется, чужаки не видят никогда: они подчиняются предписаниям пурда и выходят на улицу, лишь закутавшись с ног до головы, так что делаются похожими на ожившие мумии. Они оставляют лишь небольшое отверстие для глаз, забранное полупрозрачной тканью, а в остальном полностью сокрыты от взглядов. И даже в самый ужасающий летний зной они не могут показаться на улице в другом виде. Однажды я случайно увидел, как одна из этих женщин, отчаявшись, на миг отбросила накидку, чтобы глотнуть воздуха — ее грязное от пота лицо было бледным и истощенным духотой. И только глазам дозволялось выглядывать из внутренней тьмы.

Я часто отпраивался пообедать в обществе этих торговцев и оставался побеседовать с ними, полулежа на богатых коврах и наслаждаясь магометанскими кушаньями, традиционными для Кашмира и Персии. А усевшись и скрестив ноги, я часами смаковал афганский чай, пользуясь их гостеприимством. Эти расторопные купцы — превосходные джентльмены.

Подле Красного Форта в Старом Дели располагается знаменитый индийский ресторан Моти Махал, что значит «Дворец жемчуга» — здесь подают цыплят–тандури. Они приготавливаются в красном соусе, кислом и остром, а их запах в чём-то подобен аромату хинны. Готовят их голые демоны: согнувшись над огненной дырой в полу, они огромными щипцами хватают сочащихся соусом цыплят и швыряют на раскаленные угли — получается, будто цыплята эти приготовлены в аду самим дьяволом, и приходят в наш мир не раньше, чем отбудут свой срок в преисподней. Их плоть становится мягкой и расслабленной, как и плоть всякого существа, утратившего душу, и, как большинство бездушных вещей, они вкусны и легко усваиваются. В целом, вся кухня похожа на средневековую цеховую печь, или на дантовский Ад. Даже в безжалостный зной мая или июня повара остаются при своих кострах — наверное, правда то, что минус дает плюс. Но ведь дьявол в любом случае только расхотался бы над индийской жарой. Правверный же хинду никогда не станет есть мяса; потому он испытывает отвращение к изобретению магометан: цыплятам–тандури.

На тротуарах вокруг ресторана всегда собираются заклинатели змей. Под пронзительные звуки флейт послушные кобры сонно качают головами. Иногда затевается сражение змеи и мангусты — всегда собирая толпу любопытных, не-

смотря на то, что победа мангусты предопределена. Схватив челюстями голову кобры, мангуста упорно сжимает ее, пока на землю проливается ручеек крови. Это зрелище служит нам уроком — всем, вовлеченным в подобные сражения: стекая на землю, кровь принимает форму и очертания змеи. А после заклинатель всеми своими змеями обвязывает шею, будто шалими или шарфами, и уходит прочь, в какое-нибудь новое место.

Квартал знаменит и собранием обитающих здесь странных созданий: они носят женские одежды, тесные блузки и сари, и, распустив длинные волосы, ходят по двое или трое семенящей походкой. Принято думать, будто они бесполое, но на самом деле это мужчины. Будучи музыкантами, они носят на лентах вокруг шей барабаны и тамбурины, есть у них еще флейты и колокольцы. У некоторых под шелковыми блузками видны выпуклости накладных грудей. Их присутствие не вызывает беспокойства, и они вольны идти, куда вздумается. Конечно, на них смотрят с некоторым любопытством, а часто даже с почтением. Трудно описать взгляд этих существ: некая циничная гордость в нём образует странный контраст с мягкими, колышущимися движениями конечностей.

Каждый год в конце октября по Чандни Чоук проходят торжественные процессии Рамы, знаменующая его победу над демоном Раваной. В Дели, так же, как и в любом городе Индии, на площадях разыгрываются сцены из Рамаяны. Такие представления сопровождаются музыкой и танцами, в которых каждое движение выступающих актеров своей медлительностью больше напоминает богослужение: они будто вновь воплощают в жизнь какой-то легендарный сон. Эти выступления во многом похожи на постановки о житии святых в средневековой Европе. В обрамлении старинных песен вновь пересказывается древняя история, а после, завершая великое празднество, на переполненных площадях полыхают огромные чучела Раваны и его приспешников. Этот обряд во всём подобен традиционному сожжению Иуды.

В Старом Дели и в Бенаресе процессии Рамы представляют особый интерес: в них задействовано множество передвижных сцен, везущих Раму и Ситу, Ханумана с обезьяньей свитой, а также и Равану с его солдатами. Проходя по Чандни Чоук, процессия вновь разыгрывает древнюю войну: от сцены к сцене несутся стрелы и копьё. В священном городе Бенарес театральное действо посещает сам махараджа, наблюдая его со спины слона. На огромной сцене под открытым небом вновь рассказывается

вся история Рамы, не исключая и путешествие на остров Цейлон. В финале, под рев труб, махараджа появляется на сцене в открытой коляске в сопровождении стражей. Его великолепное появление также подобно финалам библейских спектаклей, завершающих представление после осуждения и покаяния Иуды.

Шествие по Чандни Чоук исполнено невероятной роскоши: во главе шагают дюжины слонов, изукрашенных золотыми и серебряными узорами, в богатых парчовых пополах. За ними поспевают носильщики ламп, танцоры–мечники, факиры, жонглеры и распевающие заклинания маги. Тротуары запружены людскими толпами, на балконах над ними тоже толкуются зрители. По сторонам от процессии полицейские в тюрбанах несут длинные шесты — их присутствие призвано поддерживать порядок, хотя в этом на самом деле нет необходимости: публика сдержана и погружена в себя. Воплощающие богов актеры обретают видимые небесные качества, исполняя настоящее священнодействие. Они коронованы тиарами из фруктов, украшены пышными воротничками из виноградных лоз и цветов джунглей, их лица выкрашены синим, а взгляд под крутыми изгибами нарисованных бровей делается еще более глубоким.

И вдруг начинается танец с огнем — его исполняют юноши с накладной грудью, которых называют андрогинными танцорами. Их выступление открывается медленным, вкрадчивым покачиванием бюстами и бедрами, но мало–помалу, когда учащается барабанный бой, они приходят в неистовство. Их взгляды высекают снопы искр, босые ступни бьют в пыльный асфальт, звонко гремят металлические браслеты. В руках они держат горящие факела, и, достигая транс, они глотают пламя, скачут над ним, ступают по нему, заключают в объятия и поглощают его — перед глазами безмятежно спокойных зрителей. Эти действия знакомы юношам–андрогинам с детства, и они давно привыкли к огню. Обученные своими старшими соплеменниками, этим танцем они заслуживают немалое уважение и восхищение. Но есть что–то печальное и тревожное в этих мальчиках: они неспособны обрести покой. Возжигаемый ими внешний огонь не в состоянии сплавить воплощаемые противоположности. И есть огромная разница между андрогинным богом Элефанта, преодолевшим собственную мужественность и мальчиками–андрогинами на Чандни Чоук, отринувшими ее.

Я часто оказывался в потоке этих процессий, шествующих сквозь сказочную ночь, источающих ароматы таинственные и

смертельно опасные. Увлекаемый течением, я начинал забывать о том, кто я и куда иду. В действительности, я начинал сомневаться и в том, сумею ли когда-нибудь возвратиться в свой край.

Прогулки по этим улицам — как проникновение в сон. Движущиеся сонмы повозок, трамваев и велосипедистов, кажется, существуют только в виде призрачных теней, ведь между тысячными потоками транспорта никогда не случается столкновений. Внезапным поворотом велосипедистам и рикшам удается разминуться, и всё остается безмолвным, как в сновидении. Порой я гадал, а реальна ли сцена передо мной, или это всего лишь отражение жизни какой-то иной планеты. Мне случалось испытывать почти непреодолимое желание броситься в гущу потока — я был уверен, что останусь невредим, а машины пройдут сквозь меня.

Нищета Индии так же фантастична: очевидная отчаянная бедность Чандни Чоук или железнодорожного вокзала Старого Дели кажутся почти нереальными. Городам средневековой Европы подобные сцены могли быть не чужды в годы чумных моров, но сегодня в мире нет ничего подобного индийской бедноте. Повсюду на улицах нищие, больные и умирающие люди вливаются в движение; нельзя даже вообразить этих зрелищ, каждодневных для Старого Дели. Совершенно раздетые мужчины и женщины лежат на тротуарах, заедаемые мухами и муравьями, священники и богатые купцы проезжают мимо в элегантных автомобилях. Смерть и разруха повсюду очевидны, ничем не скрываемы. Изувеченные сифилисом или проказой бредут вдоль улиц, ступая по разливам собственной мочи, кровотока открытыми ранами. Иные из них стали бесформенными чудовищами, без лиц, рук, иногда и без ног. Несколько дней подряд я видел завернутую в лохмотья женщину, что ползала по тротуару, ночуя на улице недалеко от моего дома: она разговаривала сама с собой, швырялась оскорблениями и дралась с собственными видениями — и каждый день становилась еще чуть мертвее. В другом закутке Старого Дели, на траве перед Красным Фортom, я видел валявшегося на спине негра — совершенно голого, с торчащим членом, облепленного мухами и пауками. И тут же рядом, рукой подать, кружились и плясали детишки.

В ночное время индийская нищета достигает пределов. Мужчины и женщины, потерявшие человеческий облик, собираются в кучи на камнях тротуаров, усевшись на собственных нечистотах, кормятся мертвой плотью. Зимой многие здесь за-

мерзают насмерть. Так живут все крупные города Индии, и хуже всего, намного хуже — Калькутта.

Но рядовой хинду к этой нищете просто безразличен. Он не станет никому помогать, да никто всерьез и не станет просить его о помощи. Нищие здесь просят милостыню механически, и никогда не благодарят. Уже в этом видно философское осмысление нищеты, отделяющее хинду от всех прочих: здесь именно нищий оказывает услугу, когда просит о чем-то — этим он предоставляет дающему возможность исправить судьбу. И всё же, в глубине души хинду сомневается в уместности спасения тех, кто умирает на улицах. Дело не в том, что он не питает любви к этим людям. Он попросту не уверен, нужна ли умирающему помощь и хочет ли он ее — ведь всем надлежит до конца исполнить свою карму и перетерпеть теперешнее воплощение. Вмешательство грозит большей опасностью, чем свободное течение судьбы обреченного. Поэтому идея благотворительности не находит поддержки в этой древней стране; благотворительность процветает лишь в молодых странах. Нищим и умирающим она ни к чему. Их судьба зависит от колеса Фортуны, и в завтрашнем дне они будут богаты, а сегодняшние богачи окажутся нищими. Всё относительно и всё иллюзорно.

И потому я никак не мог избавиться от странной догадки: вся виденная мною нищета Индии из-за своей чрезмерности делается смешной. Поистине, эта нищета не развращает; в ней есть даже религиозная радость. Другими словами, благодаря представлениям индуизма, сама по себе нищета способна наделить душевным спокойствием. Даже те несчастные, что копошатся в выгребных ямах, хранят на лицах печать глубокого умиротворения. Этот пригожий духовный облик — отметина иной расы. Это знак народа, потерявшего всё, но по-прежнему оберегаемого богами.

Нищета моей родной страны совсем не такая. Зная об убийствах, алкоголизме, о бродящих по улицам Сантьяго бездомных и растленных педерастами детях, о нищих женщинах, сотни раз изнасилованных, нужно признать, что это развращающая нищета — она приводит человека к состоянию скотства. Пусть бедность Чили не так глубока, как бедность Индии — душ она не спасает.

Разница дополняется тем, что в Индии никто никогда не чувствует скуки. Атмосфера улиц духовна, почти космична, как если бы всё происходящее было отблеском жизни другой планеты. Тут хватает переменчивых течений, но есть тут и мир — до сих пор не утраченный.

Однажды я увидел мужчину, тащившего за собой тележку (с похожими на моей родине играют дети), в которой помещалось нечто невеликое: тело без конечностей, просто обнаженный бюст, руки обрывались у запястий. Это была женщина. Проказой были изъедены ее груди и часть лица, волосы сваялись колтунами, кожа сделалась иссиня-черной — это знак неизлечимой проказы. И, однако, взгляд ее был глубоким и умиротворенным. Проплывая мимо, он лишь улыбалась. Она ни о чём не просила меня. Но ее улыбка была столь потрясающе женственной, что я поистине почувствовал притяжение к этому созданию, этой женщине. Женская суть сохранялась в ней, незатронутая ярящимся недугом. Мужчина, везущий тележку, шагал бесчувственно, мутно глядя перед собой. Проказа и его пометила синеющей чернотой.

Отвечаясь от Чандни Чоук, лежит короткая улочка, со стороны ничем не приметная. Но это улица серебряных мастеров, и на повсеместных витринах здесь красуются серебряные украшения, браслеты и ожерелья. Улица эта ведет к великой Мечети Пятницы, в которой хранится Книга Пророка и отпечаток его ноги. Где-то здесь расположен и «Дворец слоновой кости», где можно купить любые из великолепных украшений. Слоновую кость здесь обрабатывают в соответствии со старой традицией, ныне быстро угасающей. Над некоторыми здешними изделиями корпели два, а то и три поколения: начал работу дед, а внук закончил. Резчиком слоновой кости платили за труд лишь ночлегом и пищей.

Вокруг мечети в переулках расположены дюжины мелких лавок, почти всегда многолюдных. Здесь есть даже лавки, продающие исключительно краденые вещи; на этих воровских рынках можно обнаружить заросшие мхом и пылью сокровища, персидские, индийские, монгольские: медные и каменные изваяния, резьба по дереву, самовары и старые миниатюры с поблекшими красками. Не так давно эти предметы продавались за гроши, но теперь их оценили скупщики антиквариата и туристы. Такие магазины, по большей части, представляют собой простые хатки-лачуги, а большую часть товаров их владельцы хранят в погребах старых домов по соседству. Отправиться в такой подвал в поисках сокровищ — всё равно, что пробраться в пещеру Али Бабы.

Но интересней всех прочих, конечно, лавки антикварные. Есть одна такая на Чандни Чоук — многолетнее семейное дело индийских ювелиров. Отец и глава — уже пожилой мужчина, время от времени совершающий религиозные паломничества в

отдаленные части страны, ученик индийской наставницы—мистика Ананды Май. Сын заведует лавкой. Атмосфера здесь тяжела: чадят палочки благовоний и сандалового дерева, кто—то в углу читает мантры и подносит цветы богу—слону Ганеше, сыну Шивы, дарующему удачу. Один из сыновей расстилает на пол белый платок, и приносит всё новые изумруды и рубины, старые эмали могулов, или кинжалы с рукоятями, изукрашенными драгоценностями или раджастанскими миниатюрами. Тогда можно сесть там, скрестив ноги, и неторопливо перебирать старые парчовые вышивки, золотые и серебряные, кашмирские шали, сделанные более четырех веков назад деревянным иглами. Именно в этой лавке меня настиг один из величайших сюрпризов моей жизни: здесь я обнаружил дедов перстень.

Я запомнил деда как болезненного старого мужчину с голубыми глазами, но более всего в память впечатались кисти его рук. Длинные пальцы и красивейшие ногти, я и сейчас могу вспомнить, как они выглядели за обеденным столом. На левой руке он всегда носил золотой перстень с темно—синим сапфиром. На камне помещался золотой вензель—монограмма.

После смерти деда некоторое время перстень носил отец, а потом его уже нигде не было видно. Я всегда был уверен, что получу перстень в наследство, ведь наши имена, мое и деда, совпадают. Но оказалось, что перстень утерян. Однако я никогда не забывал о нём. И вот, в диковинном восточном краю, в антикварной лавке на Чандни Чоук, я нашел его. Сапфир был на месте, но вместо желтого золота оправлен в белое. Инициалы деда были превращены в слог ОМ.

Всматриваясь в сапфир, я узнавал камень, столь часто виденный в детстве. Он был огранен в форме сердца, и нужно думать, изначально использовался как амулет. В Индии же сапфир считается опасным камнем, способным причинить смерть. Потому носить его следует только тем, кто астрологически ему соответствует. Тогда я не знал этого, но мне и предлагается носить сапфир — я родился в начале сентября.

Сидя на полу антикварной лавки, зажав перстень между пальцев, я долго гадал, кому же он принадлежал всё это время, и кто вырезал на нем слог ОМ. Было ясно, что сапфир очень древний. Потом я попросил ювелира вынуть камень и поместить в такую же оправу желтого золота, какая была у деда. Но, пытаясь исполнить мое поручение, мастер сломал сапфир — как раз там, где он больше всего напоминал формой сердце. В

результате он стал выглядеть в точности таким же, каким я помнил его с детства. Сам же ювелир пришел в ужас от своей оплошности: изготовив новую оправу, он не пожелал взять с меня ни пенни, и отдал мне перстень с множеством советов о том, как его правильно использовать, ведь на нём имелся священный слог Ом. Итак, дедов перстень вновь вернулся ко мне. В конце концов, он оказался символом величайшей глубины и загадочности. Едва я прибыл в Индию, исполнилась моя детская мечта. И более того — как оказалось, само кольцо указывало на тот путь, которому я должен был следовать. Я понял, что мне придется вернуться не просто к своему деду, а еще более далеким праотцам, до самого истока, до великого Неназываемого, известного как Старец Дней. Индия дала мне такую возможность. Перстень на моем пальце замкнул круг, о существовании которого я давно подозревал.

XVII Мать и любовница

Много лет я слышал рассказы об Ананде Майи, которую также называли Матерью. Еще до приезда в Индию я читал о ее жизни и слышал о ее таинственных силах. Умиротворенность и счастье Матери легендарны, и говорят, она совершенно преодолела собственное эго и присоединилась к мистической сердцевине бытия.

Однажды, едва только приблизилось утро, я отправился в Дехрадун, где располагался один из главных ашрамов Ананды Майи. В летнее время Мать переезжает в горы: в Дехрадун или в Алмору; зимой она живет в Бенаресе. Как и Рабиндранат Тагор, как Рама Кришна и Вивекананда, она родом из Бенгалии.

В тот июньский рассвет солнце едва поднялось, окруженное дрожащей аурой — будто между ним и нами была еще область некоего иного света. Дорога, по которой я шагал, и североиндийский пейзаж вокруг — всё казалось подверженным воздействию этого кошмарного, астрального света. Люди и верблюды, сцепившись в караваны, двигались по дороге, а воздух уже становился горяч. Но жар приходил не со светом. Казалось, он скорее предваряет свет, как это могло быть в горячем и темном мире до зарождения света; ведь свет может быть и холодным. И в тот июньский день свет имел внутреннее значение: печальная серость рассвета отражалась в душе. Жар же, наоборот, был совершенно внешним; он выжигал всё неважное, пока не остава-

лись лишь чистые сущности. В результате я оказался охвачен особым чувством: я не шагал вдоль дороги, а брел в поисках Матери, стараясь отыскать собственную душу. Всё же, жара изнуряла, и даже закрыв глаза в близости Дехрадуна, чтобы сосредоточиться на Матери, я мог видеть лишь верблюдов, караваны: животных и людей. Эта внешняя сцена безостановочно повторялась в уме, но и ее необозримая пустошь была в чем-то изящна и изыскана. Не было ничего романтического или сентиментального; момент был чересчур важным и трансцендентным.

Наконец, пройдя через тенистый лес, полный фиговых деревьев, я оказался возле ашрама Матери. Это был дом, похожий на любой другой. Он стоял на обочине пути, уведившего дальше к гималайской деревне Муссури. Входы в домик были обрамлены гирляндами цветов, а изнутри неслись звуки музыки, главным образом, барабанов и духовых инструментов. Как можно было слышать, внутри пришедшие пели, а снаружи повсюду собирались в толпы. Тут были мужчины, носящие шафрановые плащи нищих; некоторые, с лицами аскетов и ярко горящими глазами, были полуобнажены. Женщины собирались тут и там в отдельные группки. Люди беспрестанно менялись, приходили и уходили; они приносили фрукты и гирлянды цветов, а уходили, сложив ладони и склонив голову.

Поскольку было таклюдно, я решил не пытаться пройти в зал, а найти укромное место, откуда я мог наблюдать за тем, что происходило. Отойдя в сторонку, я присел подле молодого мужчины. Его борода была рыжей, а волосы отросли ниже плеч. Он был очень худ и смотрел перед собой сквозь полуприкрытые веки. Внутреннее помещение наполнилось людьми, и, под пение гимнов к сидящей фигуре Матери взлетали облака розовых лепестков. Люди, входившие группами, опускались на колени и простирались у ее ног, поднося ей фрукты, цветы и другие дары. Она наклонялась, касаясь ладонью их голов, принимала гирлянды и возвращала фрукты; тогда паломники уходили прочь, со взглядами счастливыми и ободренными.

Белое сари Матери ярко контрастировало с темными предплечьями, вокруг которых обвились скромные браслеты. Черные волосы туго завязаны на затылке, а впавшие глаза казались огромными, бездонно темными. Ее губы часто приподнимались в улыбке, а голос был безмерно привлекательным. Чрезвычайно музыкальный смех играл мелодиями почти сладострастно-чувственными. Пораженный, я начал осознавать глубоко-

чайшую силу женственности Матери. Она говорила о Боге в манере поразительно кокетливой. Я наблюдал, как она обсуждала некоторые отвлеченные идеи с двумя брахманами: они пришли за ее советом, а она обезоружила их улыбкой посреди фразы, или смешком, связавшим два силлогизма. Произносимые ею слова были предельно серьезны и полностью соответствовали Веданте и святым текстам, но ее смысловые ударения, жесты, были совершенно обольстительны — ярче, чем кокетство всех виденных мною женщин. Я растерялся, пытаюсь представить, сколько же ей лет: шестьдесят, семьдесят, тридцать или двадцать? Не было никакой возможности угадать: Ананда Майи казалась просто не имеющей возраста. Духота в помещении стояла немислимая, и ученики сосредоточенно оведали Мать большими веерами из циновок. Наконец, она подняла обнаженные руки и распустила волосы, упавшие на плечи черным каскадом. Потом, на мгновение, она пристально взглянула на меня — и взор ее был настолько соблазнительным, что во мне со всей силой забушевало плотское влечение. Опасаясь совершить святотатство, я старался подавить это чувство, и беспокоился о том, заметна ли для ее сверхтонких чувств сила моего порыва. Но, наверное, то же самое случилось со всеми: бросив взгляд на своего бородатого компаньона, я заметил легкую улыбку соучастия.

После Мать стала петь; и вдруг прервалась. Теперь она стала недвижимым изваянием, и всё вокруг нее так же застывало. Барабаны, духовые инструменты и серебряные колокольцы теряли голоса. Стихли даже взмахи вееров. Мать просто сидела посреди зала, скрестив ноги, ее волосы рассыпались на плечи. Закрыв глаза, она стала выглядеть старой. Я стал свидетелем поразительного превращения: эта женщина, еще мгновение назад соблазнительная и не имевшая возраста, просто перестала быть женщиной, утратив саму категорию пола. Я смотрел на ее руки: они были теми же, одетыми в незамысловатые браслеты, спокойными и безмятежными. Но изменилось что-то в самой сердцевине, и руки тоже сделались иными. И даже волосы более не были волосами женщины, кожа стала бледной и тусклой. Теперь уже было совершенно невозможно увидеть привлекательность в спутанном узелке волос и пальцев, в жестких каменных губах. Она стала подобна сфинксу, и ее лицо казалось мертвым. Но в тот самый момент оно приобрело поразительное умиротворение. Напряжение предыдущих минут, усиленное перекрестными потоками благовоний, любовью и стра-

стью, теперь разрешилось, и его место занял покой. В тихом мгновении умиротворения можно было расслышать сердцебиение множества людей, собравшихся вокруг, и я сам ощущал мир, источаемый созерцательным, окаменевшим ликом, безмолвным и никак не подстрекавшим к страсти. Я был преисполнен чувством благодарности к Матери, неожиданно избавившей меня от страданий Сансары. Не оборачиваясь, я понял, что и мой сосед переживает то же.

Невозможно сказать, как долго длился этот транс, но, в конце концов, чуть содрогнувшись, Мать пришла в себя, или вернулась на землю. Когда она открыла глаза, казалось, что зрачки ее всё еще обозревают иные сферы, но мало-помалу и к ним возвратился человеческий блеск. Вновь затрепетали веера, возобновилась музыка, зазвучало пение в честь возвращения Матери, и оживления ее прекрасного тела. Чуть погодя она вновь принялась распространять ароматы Майи и наставлять последователей в учениях Сансары. И снова, не прошло и часа, я так же сопровождал ее в пути по каменной тропе: из океана боли и наслаждения к беспредметности Нирваны, и так же возвратился, перенесенный колесом перерождения на следующую ступень. Мать снова смеялась и пела благозвучным и нестареюще женственным голосом.

Через некоторое время Мать удалилась из ашрама — подошло время обеда. Мой компаньон тронул меня за плечо, приглашая последовать за ним; мы прошли через ряд коридоров, в которых мужчины и женщины сидели раздельными рядами. Он был не индийцем, а эльзасским французом. Посетив множество ашрамов, он решил всё же остаться при Матери — чувствуя, что сумеет обрести покой именно здесь. Когда мы уселись, он принялся учить меня есть по-индийски. На полу были разложены банановые листья, омытые в проточной воде. Босоногий монах проходил вдоль рядов с большой емкостью, из которой зачерпывал смесь риса и овощей, называемую дахал, и раскладывал ее на листья. Ножей и вилок не было: все ели руками, и только правыми руками — так предписывают Веды. Я научился брать еду, скатывать в шарик и большим пальцем отправлять в рот. Как новичок, я нашел, что принимать пищу, сидя на полу, скрестив ноги — дело непростое. Позже я присоединился к очереди: здесь монах лил воду на руки тем, кто закончил есть. Некоторые паломники полоскали и рты.

Наступил полдень, солнце стало беспощадно горячим, и большинство мужчин укрылись в келейках, где можно было отдохнуть. Мой новый друг, француз, показал мне одну из таких комнат, где нашлось для меня место. Сняв рубашку, я прилег и прикрыл глаза, надеясь уснуть. Я забылся на короткое время, и в дремоте мне привиделись качающиеся верхушки деревьев. Нестерпимая жара заставила меня проснуться. Со всем разбитый, я лежал, а часы, казалось, проходили туманной чередой. Растревоженный жесткой поверхностью под моей спиной, я снова открыл глаза. Рядом появился мужчина, обмахивавший меня веером из влажной рогожки; казалось, колыхающийся воздух слабо пахнет сандаловым деревом. Из угла чей-то голос произносил санскритские слова молитвы. Заметив, что я открыл глаза, широколицый мужчина с веером улыбнулся. Напротив меня полулежал калека. Он заговорил со мной, рассказав о случившемся с ним годы назад несчастья. Он сломал спину, и все доктора, к которым он обращался, сочли его случай безнадежным. Но в присутствии Матери он чувствовал себя лучше, и она сказала, что смерть его не будет преждевременной. Грудь калеки была перетянута ремнями, крепившимися вдоль спины — так он мог держаться прямо.

После мне передали, что в четыре часа со мной желает говорить Мать. Я встал и умылся холодной водой, а после спустился по коридору в небольшую комнатку. Француз уже был здесь, и другой юноша, одетый в дхоти, но голый по поясу, сидел на полу. Мать отдыхала на возвышении, укрытом белой тканью и подушками, а рядом с ней — очень старая женщина в шафрановом платье; ее голова была обрита, а крошечные стопы и кисти рук будто принадлежали высушенной мумии. Это была мать Ананды Маи.

Как и другие, я церемониально поклонился, и положил к ногам Матери гирлянду цветов. Она улыбнулась и дала мне яблоко. Ананда Маи говорит только на бенгали и хинди, так что юноша переводил наш разговор. Мать обратилась ко мне:

— Я видела, как ты пришел утром. Ты заметил? Вчера в полдень я думала о своем брате — он умер, когда я была еще ребенком. Он был очень похож на тебя, и, увидев тебя этим утром, я приняла тебя за брата.

Такие слова удивили меня, а присутствующие глядели на меня и улыбались. Потом, тронутый порывом, я снял мешочек из золотой парчи, который всегда носил на груди, и положил ей в ладони. Мешочек хранит священную для меня частичку той,

что уже умерла. Мать взяла его осторожно, как будто с опаской. Я спросил, есть ли какая-то жизнь за пределами этой, и можно ли встретиться с теми, кто уже преступил черту. Тихим взглядом и голосом она ответила:

— Такие вещи возможны, во снах...

Уходя, я взял яблоко, подаренное мне Матерью. Ее темная рука, протянувшая мне плод, простиралась из времен Эдемского сада, повторяя ту же древнюю историю, тот же старый урок. Ведь Мать была и Любовницей, подобно тому, как Ева была и супругой, и матерью, и сестрой. И Змей обвивался вокруг того Древа.

Уже было поздно, и фиговые деревья подернулись дымкой. Я впился в бледную плоть яблока, будто в грудь Майи.

Тогда я увидел улыбку брата Матери.

XVIII Гималайские снега

Забравшись так далеко, я решил еще продвинуться к северу, чтобы хоть издали взглянуть на Гималаи. За несколько часов добрался до предгорной деревни Муссури, когда-то бывшей летним курортом британцев. Жилые кварталы живописно зарастали соснами и горными кедрами, а дома были заброшены, величественные особняки пустовали. Можно было вообразить, будто некий исполинский вихрь опустошил городок, и теперь здесь остался только ветер, продолжающий насвистывать в пустые окна и проемы старых крылечек, теперь истлевших и обветшалых. Этим вихрем стала независимость Индии.

Пройдя через деревню, я взобрался на вершину холма, чтобы ничто не мешало мне увидеть громады Гималаев. Эти простирающиеся на сотни миль снежные вершины для индийцев значат то же, что Олимп для греков. Всматриваясь в них, я неизбежно вспоминал горы моего края, андские Кордильеры, протянувшиеся вдоль всего континента. И вот, что я ощутил: должна существовать особая, прямая связь между шпилями этих высот. Может быть, однажды боги индийских гор пронесутся над водами Тихого океана, и поселятся в горах моей земли. Когда это случится, родятся новые ветры свободы.

Побыв на вершине холма совсем недолго, я возвратился к деревне. Но даже этот невысокий холм был весьма крутым, и спускаться было сложно. В Индии, кажется, нет тех пологих холмов, что присущи подножиям Анд; здесь только кручи и об-

рывы. И всё же, растительная жизнь забирается на очень большие высоты, а на вершинах многих холмов выстроены бревенчатые избушки, и многие скалистые пещеры укрывают отшельников и святых. Мне рассказали об одном из них, так что я решил посетить его; в маленьком ашраме, принадлежащем миссии Рамакришны, я встретился с датчанином, долгие годы носившим шафрановый плащ святого паломника. Зимой он жил в Харидваре, где располагался главный ашрам миссии, а летние месяцы проводил в горах. Его убежище располагалось на вершине холма — тут он жил среди горстки монахов. Он был уже согбенный старик. Я застал монахов за чтением Бхагават-гиты. Сидя на полу, они медленно пропевали ее строки, и переливы их голосов были очень красивы. После я подошел к старику; и мы присели на валун, озирая долину. Я не помню, о чем мы говорили, да и говорили ли вообще. Его вид просто передал мне впечатление невероятной древности; казалось, душа покинула его годы назад, оставив тело пустым и одиноким в чужой земле. Его возраст разительно отличался от старости индийцев. Индийский старик никогда не выглядит измученным годами, так же как и индийский юнец не выглядит особенно молодо. Но старик Запада всегда выглядит старым, пусть бы даже он жил в Индии и не имел отношения к событиям своего родного мира. Такое отличие — цена, которую человек Запада платит за индивидуальность, за существование в качестве личности.

XIX Великое эго

Из Муссури я отправился в Ришикеш, пробираясь через густые леса и манговые рощи. Повсюду скакали обезьяны, и я заметил, как к животам обезьян-матерей, карабкающихся по лозам и ветвям, прижимались крохотные обезьянки. Путь проходил по тихим равнинам, пока не привел меня в Ришикеш, деревню на берегах священной Ганги, которая в здешних северных областях была широкой и чистой. Ришикеш — местечко очень маленькое, населяют его в основном паломники и садху. Отсюда паломнические караваны начинают свое путешествие к святыням. Здесь начинаются дороги до Уттаркаши и Ганготри, истока Ганги, отсюда недалеко до Бадринатха и Кедарнатха — высоких гималайских пиков, которые считаются пристанищами Вишну и Шивы. Там, на высотах, посреди снегов, несмотря на морозы, всегда

пылает огонь: неугасимое пламя, ставшее знаком вечной свадьбы Шивы и его возлюбленной спутницы.

Вскоре по прибытии в Ришикеш я решил посетить ашрам, принадлежащий свами Сивананде. Я слышал рассказы о том, как этот человек восходил на гору Кайлас несколько лет назад, слышал и другие истории и слухи. Он родился на юге, в Мадрасе, некогда был доктором в Малайе, но после отверг семейную жизнь и оставил профессию, чтобы удалиться в Гималаи. Здесь он основал ашрам, монастырь, который назвал Лесным университетом или Обществом божественной жизни. С тех пор он и живет здесь, в окружении внимающих учеников и галдящих в лесу обезьян. При ашраме действовали гимназия телесной йоги, фотографическая лаборатория, издательство, госпиталь с родильным отделением и школа. Комнаты, где жил свами, помещались в нижней части здания, ближе к реке. На другом берегу располагался современный храм, Гита Бхаван, а вверх по течению — меньший и древний, Лакшман Джула.

До ашрама я добрался самым ранним утром, встречая по дороге множество монахов в шафрановых одеждах. Тела одних были покрыты пеплом, а волосы затвердели от втертого навоза, головы других были наголо обриты. Все они направлялись к Ганге для утренних омовений, и по пути оставляли свои чаши для сбора подаяний у дверей жилищ. К ашраму Сивананды ведет пролет каменных ступеней, но даже здесь, на камнях и в лучах едва поднявшегося утреннего солнца, воздух дышал печным жаром. Тем не менее, всё крыльцо уже было усеяно монахами, нищими и посетителями из других городов. Один из них задержал меня, чтобы спросить по-английски, доводилось ли мне видеть «живого Бога». Мужчина был одет на европейский манер и стоял, опираясь на посох. Взгляд его был добродушным, но я догадался, что вопрос на самом деле даже не был вопросом. Я уже знал, что индийцы часто используют слова не ради прямого значения, но ради магических свойств. Все слова — это мантры. Если какая-то фраза обрамлена аурой священности, если она взята из святых легенд, индуся достаточно повторить ее дважды: он тут же впадет в транс — где не останется ни одной мысли, только вера. Этим самовнушением он гипнотизирует сам себя, произнесенные слова вызывают к мифу и вздымают хор далеких отголосков в душе. И хотя этот человек и не верит вовсе ни в какого буквального «живого Бога», он достигает вполне ощутимого переживания божественности. Так что, просто обратившись

с этой фразой ко мне, и услышав собственный голос, произносящий ее, он смог убедить себя в существовании «живого Бога». Конечно, пройдет время, и он может утратить эту убежденность, но долго ли будет повторить мантру еще раз. Поднявшись на верхнюю ступень, я спросил, куда мне идти дальше, и мне показали на келью, возвышавшуюся над нижними террасами. Там я должен был найти свами Сидананду, секретаря ашрама.

Я подошел к двери кельи и постучал. Изнутри доносились отголоски беспрестанной молитвы, очень скоро повторяемой на санскрите. Дверь открылась, я увидел юношу: босого, с обритой головой, одетого лишь в шафрановую юбку. Через грудь тянулся белый шнурок брахмана. Отворяя дверь, он не прервал молитвы, и по-прежнему повторял святые слова — только улыбнулся и кивнул со значением. Я обозначил цель визита, и он впустил меня под низкий свод комнаты; здесь уже сидели в ряд и другие юноши, такие же, как и он сам. Он попросил меня подождать, поскольку свами Сивананда не сможет никого принять еще около часа.

Утреннее солнце взбиралось всё выше, усиливался жар, и воздух в комнате делался всё более тяжелым. После истечения весьма долгого, как мне показалось, срока, в комнате стали собираться люди, а около одиннадцати часов появился и сам свами Сивананда. Это был крупный мужчина, также обритый и столь же неодетый — весь его костюм состоял из шафрановой юбки. Сев в кресло, он бросил взгляд в мою сторону. Манеры его были благородны; руки изящно вылеплены, а улыбка широка и приветлива. Однако, мы продолжали сидеть молча: он ни о чем не спросил, ничего не сказал и я. Он просто улыбался, а после запел. Голос его был приятен, а песня радостна. Спустя несколько мгновений другой свами заиграл на струнном инструменте, сопровождая пению Сивананды; допев, Сивананда рассказал об этой йогической песне Божественной жизни. Он описал и другой метод йоги, способный исцелять болезни посредством вибраций, создаваемых музыкальными инструментами, или вокальными созвучиями. Чтобы продемонстрировать эту силу, Сивананда попросил другого йога присесть рядом со мной, а я должен был обхватить ладонями его обритую макушку. Тогда йог издал звук, завибрировавший как раз под моими руками, и я мог явственно ощущать его. Потом, другим звуком, он заставил вибрировать мышцы предплечья, а после — бицепс и живот. Другим звуком он двигал ушами. Наконец, он стал петь, и свами Сивананда подпевал ему.

Так прошла наша беседа. Сивананда поднялся, и любезно поклонился мне, прежде чем уйти. Я так ничего и не узнал ни о нём, ни о той правде, которую он нес, но я чувствовал, что готов согласиться с ним, поскольку он превосходный джентльмен — и это глубочайшая основа его характера, на которой выстроены и все мельчайшие поступки; а еще он спел для меня песню радости!

В коридоре ко мне подошел подросток, назвавшийся именем Агарвати, и сообщил, что свами Сивананда поручил ему сопровождать меня в знакомстве с окрестностями ашрама. Выйдя наружу, по пыльной дороге мы отправились к отдаленному мосту. Подойдя ближе, мы заметили на нём мужчину, облаченного в тибетские одежды: он не сводил глаз с реки, разговаривал с ней и бросал в потоки кусочки еды. Он определенно только что получил эту пищу, как милостыню, но прежде чем утолить собственный голод, делился со священной Гангой. У него также имелась старая книга — из нее он читал для реки. Когда он повернул лицо в нашу сторону, я успел заметить пылающие черные глаза и заостренную бороду. Наверное, он только что пересек реку, спустившись с высокогорий собственной страны, потому что его одежда мало подходила здешним жарким низинам.

Продолжив прогулку, мы достигли ашрама, посвященного Кали. Здесь мы увидели голых мужчин, покрывающих себя пеплом. Они выглядели как дикие люди каменного века или выходцы с другой планеты, и вовсе не замечали нашего присутствия. Агарвати захотел отвести меня к Гхита Бхаван, а заодно показать по пути меньшие храмы. Он также настаивал, что я должен увидеть и огромные деревья Будды — фиги и баньяны, и обезьян в прилегающих лесах, потому что именно здесь свами Сивананда годами медитировал, прежде чем основать ашрам Божественной жизни. Агарвати также указал мне старое дерево, под которым годы прожил некий святой; этот человек, удалившийся позже для жизни в горах, обладал, как говорили, великими силами.

К этому времени дневной жар стал таким гнетущим, что мне пришлось снять рубашку. Шагая утомленно и неспешно, вскоре после полудня мы, наконец, достигли Гита Бхаван, огромного современного храма. Агарвати сказал, что хочет познакомить меня с другим свами, пришедшим с юга, и поселившимся здесь, в подземной келье монастырских подвалов. Каждый год Гита Бхаван посещают тысячи паломников. Все ее стены испещрены надписями, стихами священных текстов; пол вымощен мрамором, а над крышей простерся цветастый купол. Я внимательно осматри-

вал храм, пока Агарвати устраивал встречу со свами. Вернувшись, он сообщил, что свами несколько дней провел в глубочайшем самадхи, и только сейчас возвратился. Разумеется, все его ученики и брахманы храма сейчас собрались в его подземной келье, но он согласился принять и меня. Агарвати был очень обрадован этими вестями; он сообщил, что свами знает только тамил, но обещал разыскать переводчика, если я пожелаю о чем-то спросить. Также он сказал, что имя свами — Сукхдевананда.

Мы разулись и спустились по узкой лестнице в келью. Здесь, под землей, было прохладно и темно, и я не сразу привык к темноте, а единственным источником света было окошко где-то под потолком. Мало-помалу я стал различать фигуру мужчины, сидевшего, скрестив ноги, на небольшом возвышении. Окружившие его ученики растирали ему руки и ноги, а другие постоянно прикладывали свежие мокрые платки к его обритой голове. Свами сохранял неподвижность, и его глаза были закрыты. Прочие присутствующие с удобством расположились на полу, так что присел и я — поближе к свами. Комната насыщалась странным ароматом, будто от перезревших плодов манго, брошенных где-нибудь в углу. Сквозь каменные стены я мог слышать и плеск воды — волны Ганги прокатывались по фундаменту здания снаружи. На самом деле, мы были под водой, и казалось, что комната эта — часть затопленного континента, Атлантиды. Запах исходил от атлантического плода, а собравшиеся были жрецами Авалона, города мертвых. И свами тоже распространял странный запах, в котором сливались смерть и воскресение. Окутывая скрытую глубоко под водами гробницу, он, казалось, исходит от Змея, свернувшегося в корнях Райского древа. Я стал ощущать резкий дурман здешнего воздуха, и понимал, что тоже могу лишиться здесь сознания: ведь практики свами были знакомы и мне. Мне уже случилось быть погребенным заживо.

Спустя некоторое время свами стал цокать пересохшим языком; он открыл глаза и взглянул наверх, к свету окошка, выходящего на Гангу. Едва заметно улыбнулся, будто тронутый неким воспоминанием. Агарвати обернулся ко мне и спросил, не хочу ли я что-нибудь сказать свами, ведь ему удалось разыскать переводчика. Я улыбнулся и покачал головой: «Нет... что здесь можно сказать?».

Тогда мы ушли, вновь поднявшись по длинной лестнице, ведущей к миру снаружи. Дошагав до берега, мы обнаружили

флотилию лодок — свами Сидананда в сопровождении паломников вот-вот должен был отплыть, намереваясь доставить еду в колонию прокаженных. Шафрановую мантию он обвязал вокруг головы, чтобы защититься от солнца. Мы с Агарвати подошли к его лодке, но он ничего не сказал нам, лишь мельком взглянул на меня. Казалось, он был очень отстранен и погружен в размышления. Я понял, что наблюдаю за повторением древнего действия: ранее его разыгрывали рыбаки, а Сидананда был индийским евангелистом Иоанном.

Мы тоже взяли лодку, на которой вернулись в ашрам. Я в первый раз пересекал Гангу по воде. Положив ладонь на ее поверхность, я прикасался к воде и пропускал ее сквозь пальцы. Пока священные воды убегали прочь, я думал о священных качествах жизни, которые мы также теряем с каждым мигом.

Я полдничал на полу ашрама: ел руками, как меня научили, со всех сторон окруженный монахами и паломниками. После Агарвати проводил меня в свою комнату и расстелил на полу мат, чтобы я мог отдохнуть. Он также оставил мне одну из своих дхоти, так что я попытался уснуть, почти раздевшись, но, как и в ашраме Матери, здесь было слишком душно. Я чувствовал себя изможденным, но мог только поверхностно дремать; открыв глаза несколько часов спустя, я обнаружил, что за мной пришел Агарвати. Тогда он сообщил мне, что секретарь, Сидананда, ожидает меня в своей келье, на чаепитии.

Я застал Сидананду сидящим на полу в окружении детей и зверей. Улыбаясь, он попросил их уйти, но обезьянки так и норовили вернуться, или хотя бы подсмотреть в дверь или окно. Вся обстановка комнаты — стопка книг и медная курильница с горящими сандаловыми палочками. Я присел подле Сидананды, а он предложил мне чай и печенье.

— Вы не похожи на прочих, — сказал он, — вы, кажется, способны жить так, как мы, и потому мне и захотелось пригласить вас разделить со мной это скромное чаепитие.

— Вы говорите, не похож? — отозвался я. — Не знаю. Иногда мне хочется отрешиться от всего, чтобы жить в одиночестве в горах. Эта мечта всегда была со мной, и я даже пытался так поступить, много времени назад.

— Не обязательно жить в горах, — заметил он, — отрешенность может быть и внутренней. Пятнадцати минут в день достаточно. Каждое утро, садитесь в своей комнате, в одиночестве, и приводите ум к состоянию пустоты. Забудьте обо всём; забудьте

свое имя, страну, семью, всё совершенно. А то, чем вы на самом деле являетесь, останется с вами. И после пятнадцатиминутного упражнения вы сможете вернуться к своей работе, к повседневным мирским делам. Всё же, не привязывайтесь к плодам ваших действий, или даже к самим действиям. Пятнадцать минут такой медитации дадут вам силы жить сразу двумя жизнями: одна подле другой. И однажды, одна из этих жизней естественно и постепенно пересилит другую; хотя это даже необязательно, поскольку всё равно обе жизни остаются друг с другом, как это было всегда. Всё, что действительно нужно сделать — преодолеть свое эго.

— Это? Я не уверен, что хочу преодолеть его; иногда я хочу познать его и пережить во всей полноте.

Молодой свами глядел в сторону, выглядывая через дверь наружу, но с лица не сходила улыбка; там, куда он смотрел, качались на деревьях обезьянки.

Мы продолжили беседу; я узнал, что свами Сидананда пришел сюда из Мадраса, где получил ученую степень доктора экономических наук; а после он отправился в Ришикеш, чтобы посвятить себя монашеской жизни. Этого его поступка я не мог понять: здешний наставник, свами Сивананда, казалось, вовсе ему не подходил. Сидананда куда более склонен к аскезе и самоистязанию, я вообразил, что он, должно быть, достиг высот в науках хатха-йоги и раджа-йоги. А свами Сивананда если когда-то и был аскетом, то давно оставил этот опыт в прошлом, ведь пропетая им песня учила: «немного медитации, немного молитв, немного удовольствий, немного боли, от всего понемногу».

После Сидананда предложил отправиться в зал свами Сивананды на берегу реки — и там мы застали его в окружении свиты монахов, присутствовали и несколько посетителей. Один из монахов, молодой человек с греческими чертами лица, склонился перед наставником: длинные ресницы, опускавшиеся на черные глаза и прямой профиль, делали его похожим на классическую статую. Его занятие состояло в том, чтобы вскрывать конверты и передавать свами письма — а тот бегло прочитывал их, и диктовал короткие ответы. Заметив меня, свами жестом велел сесть рядом с ним; я подумал, что, наконец, настал момент обратиться к свами за советом, и приготовился озвучить тот главный вопрос, который весь день носил на языке.

— Сваמידжи, можете ли вы рассказать мне о священной горе Кайлас?

— Почему нет? — ответил он с беспечной улыбкой.

— Когда вы были там, не встречались ли вам отшельники, или монастырь, населенный старыми брахманами?

Он глянул на меня и на мгновение помедлил с ответом.

— Не совсем на горе Кайлас; но не так далеко, есть множество монастырей, один, например, зовется Нианди или Нианди Гомпа. И, разумеется, огромное множество паломников взбираются к подножью священной горы.

— Но есть ли что-то на самой горе? — спросил я. — Нет ли там пещеры? Мой Наставник сказал мне, что его наставники обитали где-то внутри этой горы. Он говорил, что гора полна проходов, и особый свет заполняет внутренние пространства.

— Нет, там ничего нет, — ответил Сивананда. — Может быть, дальше, на другой стороне...

Я вспомнил живописные изображения горы Кайлас, виденные мною в доме Наставника, и все прочие картины священной горы, какие мне довелось видеть. И я замечал на них таинственную тень, возможно, устье пещеры; она помещалась на северном склоне Дирапук.

Уже вечерело, и сваи пригласил меня прогуляться к Ганге. Мы сели у реки, и он окунул пальцы ног в воду. Глядя на поверхность Ганги в сумерках позднего заката, я стал воображать, что вижу в ней перевернутый купол, будто отражение горы Кайлас в зеркале священных вод озера Манасаровар.

Наступила ночь, и зал ашрама заполнился прихожанами. Заиграли музыканты, лепестки цветов взлетели к сводам, и всё помещение окуталось дымом благовонных возжиганий. Монахи зачитывали стихи Рамаяны, уподобляя гомеровским грекам, поющим истории о своих героях. Но здесь легенда рассказывала о прошлом божеств, и воспеваемая монахами жизнь была жизнью Бога. А главное — в центре залы присутствовал живой бог: возлежащий на мягком диване, окруженный преданными служителями, в восхищении открывшими рты. Они обмахивали его веерами и осеняли его цветочными вихрями, они бросали к его толстым голым ногам фрукты и монеты. Казалось, они желают выкупать его в молоке, как римского Императора, и осыпать сладкими плодами и карамелью. Время от времени бог брал яблоко и давал его одному из своих фаворитов, или бросал в темный угол, какому-нибудь верному последователю — а те хватили дары в смешанных чувствах смирения и гордости: бог избрал их, предпочел их другим! Этот бог бросил яблоко и мне. Я поймал его на лету и посмотрел в глаза сваи, заметив искрящееся там добродушие и некоторое

преступное соучастие. Потом Сивананда поднялся и, взяв музыкальную трещотку из металлических палочек и звоночков, принялся петь и танцевать. Жир его тела колыхался складками, но Сивананда уже был вне фактической реальности: он переживал Миф, и отыгрывал свою роль божества.

Я стал гадать: что же на самом деле происходит? Это ли всего лишь пример чрезмерно раздутого эго? Конечно, наше общество рассудило бы именно так. Но в случае, если эго, в том смысле, в котором мы его понимаем, просто нет — что же становится «раздутым»?

В Ришикеше все было настолько иным, что судить о нём в границах собственных ценностей, и называть примером вопиющего тщеславия и гордыни было бы легкомысленно. Ведь подлинной сущностью этой сцены в ашраме были доброта и простодушие: происходящее казалось действием ребяческой и невинной души, попыткой пережить миф, возродить, вернуть действительности прошлое богов.

И всё же, я предпочту не судить об увиденном, поскольку ни в чём не могу быть уверен. Потому что на самом деле я не знаю об этом совершенно ничего.

Самым ранним утром ученики и посетители монастыря отправляются в залу на вершине невысокого холма, где упражняются в гимнастике йоги. В этот самый час молодой свами Сидананда в своей келейке, наверно, погружается в глубины раздумий. Его взор обращается внутрь, к нездешним мирам. На другом берегу реки свами Сукхдевананда, возможно, вновь отправился в затопленную Атлантиду, хотя и возвратился оттуда только вчера. По всей Индии, вдоль обочин дорог и на обрывах гор, паломники размышляют и мечтают, и призывают своих богов, совершая омовения в священных водах. А свами Сивананда, наверно, всё еще спит.

В просторной зале на холме я наблюдал, как выполняются различные асаны. Некоторые йоги умели так втягивать живот, что сквозь него можно было видеть хребет. Другие стояли на головах. В этих упражнениях нет никакого смысла, если выполнять их как простую физическую гимнастику. В отличие от шведских упражнений, они призваны не просто развивать мышцы; скорее, их назначение — тренировка души. Их цель в преодолении тяжести тела и задействовании нервных и психических центров в различных частях организма. И в каждом из упражнений ум играет важнейшую роль: асаны следует практиковать осознанно, ведь они устремлены к цели, выходящей за пределы непосредственного физического мира.

Но даже те, кто выполняет эти упражнения, не полностью сознавая их назначение, могут со временем обнаружить ненавязчивые изменения в своей личности. Совсем неосознанно их мироощущение будет изменяться в сторону некоторой умиротворенности. Причина этого в пробуждении определенных психических центров, обычно бездействующих или парализованных.

Покинув зал, я зашагал по тропе, вьющейся вокруг вершины холма. Солнце еще не взошло, в отдалении проявлялся лишь его тусклый отблеск. Спустя несколько минут я вышел к белой часовенке, выстроенной на вершине кургана. Здесь на ступенях сидел юноша, и его приветствие выдало в нём европейца. Он жестом пригласил меня подойти и спросил, не желаю ли я поразмышлять в его святилище.

— Я прожил здесь всё время, что остаюсь в ашраме, — сказал он. — Я жду посвящения от Сивананды.

Он также сообщил, что родом из Германии.

Приняв его предложение, я вошел в часовню. Воздух внутри был тяжелый, холодный и сырой. Присев на пол, скрестив ноги и закрыв глаза, я постарался сосредоточиться на точке между бровями. Постепенно передо мной возник образ старого Наставника, и я слышал его поучения: «Не думай совершенно, но сосредоточься на пространстве меж бровей. Чтобы видеть третьим глазом, ты должен скосить и зафиксировать взгляд, но прежде всего, ты должен быть терпелив». Потом вдруг я различил слово «Кайлас» и увидел образ этой горы; стало понятно, что поиск не может продолжиться лишь внутренними средствами. Я знал, что должен быть настойчив в физическом паломничестве вдоль пыльных гималайских троп.

Поднявшись, я почувствовал себя крайне истощенным. Добредя обратно к ашраму, я обнаружил группку рабочих, занятых установкой статуи свами Сивананды. Я подумал: каково это, еще при жизни быть увековеченным в памятнике?

Пришло время уходить, и Агарвати ожидал меня у дороги. Но в ту минуту я заметил мужчину — он бежал по дороге, направляясь ко мне. Несмотря на жару, он был одет в горные тибетские одежды и держал зонт. Я узнал в нём того же мужчину, что вчера бросал еду в воды Ганги и читал ей стихи. Приблизившись, он произнес:

— Этой ночью я ходил к реке, и звёзды рассказали мне о тебе. Они отражались в потоке воды.

Он глядел на меня пристально и неотрывно. Глаза его полыхали чернотой безумия, а борода качалась вверх и вниз в такт тяжелому дыханию.

XX Ликующие уродцы

Я знал, что должен буду возвратиться в Ришикеш, ведь именно отсюда можно попасть к истокам Ганги, не говоря об окрестностях Ганготри и самом округе Уттаркаши, где живут настоящие йоги. Но вначале мне нужно было спуститься к Харидвару, одному из семи священных городов Индии. Он также помещается на берегах Ганги, и принимает тысячи паломников, проходящих, чтобы выкупаться в здешних водах. Я прибыл поздно, в день мелы — и город был заполнен тысячными толпами паломников. Причалы и ступени вдоль реки усеялись людьми, а небольшая заводь неподалеку бурлила купавшимися стариками, детьми и женщинами. Почти все они были полностью одеты, а обтянутые мокрыми сари старухи делались похожими на мумии. Вода была мутная, но они погружали в нее головы и пили ее; по всей вероятности, они также облегчались в реку.

На улицах было полно факиров, одни покрыты пеплом, другие истыканы колючками. Один даже насквозь пробил длинным гвоздем синеватую руку. Но более всего поражали невиданные чудовища, жившие в разбросанных тут и там повозках. Я видел одно, с крошечным, будто детским телом; ступни у него были там, где полагается быть кистям, а ногами ему служили руки. Голова у него была гигантская, с длинной ниспадающей бородой. Говорило оно глубоким басом. По соседству я обнаружил другое гротескное создание, с большущим животом, примостившееся на ветви дерева. Обладая таким поистине кошмарным видом, эти создания беспрестанно фотографировались и любили показывать снимки прохожим. Такие портреты, казалось, даже преувеличивают их уродство и чудовищность, но сами они, кажется, от души развлекались ими и заразительно смеялись. Почти всегда их окружали зрители, также бурно хохотавшие.

Центр города — это общественные ванны и причалы вдоль широкой величественной реки, сейчас здесь купались толпы. Многие из стоявших тут же дожин храмов были заполнены поющими. На улицах коровы и ослы вливались в толпу. С возвышавшихся над рекой балконов ныряли в воду мальчишки. Повсю-

ду целые семьи, взявшись за руки, вместе входили в реку. Но нигде я не мог заметить ни следа настоящей радости: всё было безмолвно и подобно сну, ведь разворачивающееся действие было частью ритуала, отягощенного давностью многих веков. Пересекая реку, неспешно катилось к закату солнце, его лучи, соприкасаясь с поверхностью воды, обращались розовой вуалью. Это зрелище вызвало во мне сильное желание нырнуть в речные глубины.

Чтобы развеять наваждение, я решил отвлечься прогулкой по городу. На окраинах я увидел меньшие храмы, скрывавшиеся в рощах исполинских узловатых деревьев. Но всё же, вода неотвратимо притягивала меня (по меньшей мере, воздух у реки был чуть свежее). И возвратившись на берег, я увидел голого старика с трезубцем: стоя в воде по пояс, он произносил стихи на санскрите. Ночь уже была готова укрыть землю, так что я решил вернуться к причалам. Здесь всё еще было оченьлюдно, собравшиеся пели и молились. Им светили звезды и факела, а они казались совершенно захваченными экстазом пения и заклинаний. Я знал, многие паломники проведут ночь прямо здесь, засыпая на голой земле, так что и сам решил поступить так же, и постарался отыскать место у центрального пролета ступеней. Найдя себе, наконец, пристанище, я обнаружил, что обосновался по соседству со старым жрецом, одетым в шафрановый плащ — он всё воздевал руки к небу, потрясая звенящими дисками и колокольцами. Он пел очень тонким голосом, и глядел на самые высокие звезды. Должно быть, он не сильно отличался от тех людей, что существовали до Потопа, или от инков и ацтеков.

Мало-помалу мои глаза стали слипаться, и я уснул. В моих снах появлялся старик, одетый в мантию цвета шафрана. Мне также приснились фотопортреты радостных дьяволов.

XXI

Рыбка попадает в аквариум

Часто отмечается сходство легенд о Кришне и о Христе: даже сами имена похожи. Как и Кришну, Христа родила девственница, и, возможно, идея девственности Марии заимствована из восточной легенды. И Кришна, и Христос родились под гнетом тиранов, которые (оба, и Ирод и Канса) отдали приказ к убийству всех новорожденных. На самом деле, похожих деталей весьма много: оба родились в полночь и имели сходные черты характера; а после их смерти небеса наполнились знаками их ухода.

В то же время, разница между двумя преданиями несомненна, и миф Кришны сущностно языческий. Наверное, дело складывалось так, что на протяжении долгих лет мифы влияли друг на друга, ведь в древние времена торговые связи между Индией и Ближним Востоком были весьма оживленными. В первом столетии нашей эры, например, некоторые группы ранних христиан посетили Малабарский берег на юге Индии, и здесь проповедовал апостол Фома. Возможно даже, что предприимчивые и хитрые брахманы, услышав историю о Христе, вплели некоторые ее элементы в легенду собственного бога. С другой стороны, в Индии уже за триста лет до рождения Христа полностью оформилась история Кришны, и даже стала оказывать воздействие на ближневосточных ессеев. Разумеется, там легенда о божественной жертве уже была знакома, а история египетского фараона Эхнатона и его бога любви захватила воображение мира, когда сам Эхнатон пал жертвой ярости жрецов Амона. Все эти истории выглядят частями вселенского Мифа, и легенды об Осирисе и Эхнатоне, о христианском Отце и Сыне, о Кришне и Адонисе имеют много общего. И всё-таки, не много толку в том, чтобы выискивать подобия в этих легендах или изучать их взаимное историческое влияние, потому что Миф всегда остается таким же, как был — пребывая вне времени, он возвращается, спускаясь по спирали веков. В определенных эрах он может становиться глубже или тоньше, но в сущности остается неизменным, и потому, по мнению некоторых, принадлежит скорее Вселенной, чем внутреннему миру человека. Как бы там ни было, искать его истоки среди звезд, а не на Земле, значило бы следовать замкнутым петлям логики, потому как астрология просто проецирует человеческие взаимоотношения на небесный свод. Астрология — просто картина драмы, разыгрывающейся в коллективном уме человека, и эта картина не сильно изменилась даже с появлением современной астрономии.

В астрологии зодиакальный знак Овна — баран. В терминах истории мира Овен представляет первую эру; это знак ариев, золотого руна, Рамы, Заратустры и персидского царя Кира; это также век Авраама и Ноя. В общем — это век, предшествовавший Потопу; в нём воплощен первобытный дом, дикая родина человека, место, впервые покинутое Вечным паломником, который со всем своим народом пустился на юг, через пески пустыни, в поисках Земли обетованной. Овен — это солнце, встающее над горами и садящееся в море. Овен был

древним домом, который оказался потерян, и доныне человек не нашел ничего, что могло бы действительно заменить его. Был найден другой дом, названный Рыбами, и изображаемый в зодиаке рыбками — но это совсем другое обиталище. Путешествие человека к теперешнему дому было долгим и тяжким, и состояло из множества психологических изменений. Древний закон первых паломников был законом Огня, и, в сущности, воплощал Отца. Он изображался Жертвенным огнем. С приходом Сына изображение изменилось, приняв вид свастики, а новым законом стал закон жертвы, которую принимает любовь. Эта новая эпоха Рыб началась примерно тогда, когда брахманы стали составлять Махабхарату, преобразуя Раму в Кришну, подобно тому, как были преобразованы Адонис, Дионис и Пан и нашли выражение в Христе. Все эти душевные качества прорывались наружу, требуя воплощения, и принятая ими астрологическая форма была просто отражением Коллективного бессознательного. Однако на Западе рыбки приняли иной вид, отличный от тех же рыбок Востока: здесь они лежат поперек, в форме креста, а рыбки Индии смыкаются кольцом, почти кусая друг друга за хвосты. Получается, что индийский крест — это свастика, а Христос Индии не разделен так драматично, не испытывает агонии поляризации, присущей Христу Запада. Таким образом, европейский Христос — это Христос абсолютов: абсолютного добра и абсолютного света. Всё земное и всё, лежащее в тенях, принадлежит противнику Христа, Дьяволу. Кришна же в чём-то подобен богу Пану, включая в себя не только свет и добро, но также тени и зло. Всё в Индии следует этому примеру; здесь всё смешанно, хотя и не имеет переходов: здесь каждый святой в чём-то грешен, и каждый грешник несет в себе частицу святости. Поэтому в Индии полнота жизни принимается одновременно: индийские Рыбы вращаются в окружности, и крест Индии — свастика.

Христос Атлантиды также должен быть подобен этому индийскому Христу, и, конечно, Христос Америки (если судить хотя бы по Кетцалькоатлю и Бочике) тоже был таков. Получается, образец повсюду и всегда воспроизводит себя, и каждый Христос рождается рыбой и умирает ягненком, чтобы в итоге воскреснуть голубем.

Иисус Христос буквально переродился в воде, когда Иоанн крестил его, и, погрузившись в реку, он, должно быть, обрел тот таинственный «предмет», что был потерян в Потопе.

Его крещение в любом случае стало перерождением. И точно так же, как Христос стал пищей причастия, он стал и наживкой, на которую был пойман чудовищный Змей или Левиафан — Христос, Пернатый Змей, уничтожил Змея Ада. Когда Иисус впервые был погружен в воды Иордана святым Иоанном, он, должно быть, уже мог предвидеть свое будущее предназначение, и то невероятное сражение, которому предстояло произойти, и может быть даже, он мог уже тогда знать, что Пернатый Змей в итоге обратится в голубя. Он мог обрести и видение той эпохи Водолея, которой еще только предстояло прийти. Тогда, наконец, образец мог бы исполниться: мир прошел бы из Овна и от огненного закона Отца через Рыб с их вниманием к Сыну и милости божественного прощения, пока, наконец, не достиг бы Водолея — эпохи Святого духа и вечного воскресения.

Но, несмотря на то, что Сын, в конце концов, воскреснет голубем Водолея, важно помнить, что он был рожден как рыба, и был тесно связан с земной жизнью человека. Сам Христос, должно быть, полагал это важным, ведь его первыми учениками были рыбаки — ловцы душ. Хотя в последующие века христианство и утратило эту близость к человеку, к телесному, в Индии она сохранялась. Так, Кришна родился и жил у реки, и в реке боролся со Змеем. Но тот же самый Змей обнаруживается и в горах: на горе Кайлас и в Андах — здесь он становится огненным Змеем. Хотя это может показаться странным, именно Змей творит единство огня и воды. Ведь даже на речном дне может быть постигнут тот огонь, что изменяет человеческую судьбу — это открыл сам Христос; очевидно неприродный огонь, вызывающий перерождение, обещающий достижимость существования за порогом смерти. И всё же, обнаружение этого огня, в реке или в горах, нельзя назвать неприродным; скорее, это наоборот принятие всей полноты природы. На самом деле, оно выявляет природное равновесие и взаимозависимость, ведь разрушительный огонь Змея может быть погашен лишь Потопом, когда вода признает свое фундаментальное родство с огнем. Так, вода в крестильных купелях церковей может быть подлинно святой лишь тогда, когда оплодотворена пламенем небес.

На Западе идея о стерильности души определила развитие обособления эго, а также появление понятия греха. Она также заставляет людей Запада беспокоиться о подчеркивании индивидуальности. Главным результатом всего этого стал упор на рационализм, в свою очередь породивший технологию и

современную науку — именно они, по большому счету, являются сущностными плодами протестантизма. Символ креста своей формой очень точно выражает эти понятия: он состоит из жестких прямых линий и производит разделение сфер. Крест допускает лишь единственное направление движения. Когда Дитя пришло в мир, Звезда на Востоке указала путь, и три короля были первыми из тех тысяч, что последовали ему. Разделение мира на полярные области сторон света также служит обоснованием философии креста. Каждый полюс не только сам является крестом, поскольку делит мир на четверти, но и учреждает отдельную сущность. Северный полюс — первобытная область зла; исток опустошающих разрушительных ветров. Северный полюс обладает и магнетизмом, притягивающим физические тела; значит, именно здесь боги, подобные Осирису, были уничтожены физически. Южный полюс, наоборот, представляет собой регион души, но и он исполняет действие разделения. Когда много лет назад я отправлялся в Антарктику, я шел на бой с Ангелом льдов, но прибыв туда, нашел крест. Этот крест обозначал четыре направления моей души, но я осознал это, лишь оказавшись в Индии.

Поляризация мира, и длинная расчленяющая тень, отбрасываемая крестом, не сумеют дать человеку единства, ввиду необходимости выбирать одну из сторон. Подлинное воскресение возможно лишь в путешествии к обоим полюсам, и их одновременном принятии. Подлинно воскресший потому выглядит более подобным Кришне, чем Христу, или, по меньшей мере, имеет больше общего с Христом Атлантиды, чем с Христом Голгофы. Потому что Христос Атлантиды не отвернется от земли, но будет забавляться с гопи в водах жизни, и явит цельность — свет и тень, вместе и одновременно. Подлинно воскресший будет дипол: чтобы гопи смогли играть в его сердце, а не в застывшем внешнем мире.

Но сейчас, высоко в небе, вокруг полюсов обращаются темные звезды. Они подобны паломникам, следующим за гробом принесенного в жертву. Вероятно, это они убили Осириса и Орфея, Кришну и Христа. Они пожрали его и теперь рыдают: поглощая собственного сына, они не знали о том, что творят, поскольку были охвачены экстазом любви. Даже Исида, разыскивавшая останки супруга, не была уверена: не сама ли она разрубила его тело на куски и разбросала их по обширным про-

странствам. Ответа на этот вопрос не знает никто, и никто не открыл бы его, если бы знал.

Когда вакханки несутся сквозь заросли, опьяненные божественной любовью, они несут в себе бога. Но приближаясь и валясь в траву, они отдаются любому, кто окажется рядом — мальчику—пастуху или даже собственным сыновьям. Они пребывают в экстазе, и потому никогда не узнают о содеянном. Только после они обнаруживают, что беременны — и рожают дитя. У такого ребенка может быть только один отец: тот бог, который и так уже был внутри них.

А мальчик—пастух с этого момента и навечно остается в поисках чего—то, что он не может найти в здешнем мире. Потому что, овладев вакханкой, экстатичной любовницей, он никогда не сможет насытиться телом смертной женщины. Прикоснувшись к вечному огню Змея, он будет находить только смерть в этом мире.

Позже вакханки или девственницы поглотят своих сыновей, полагая, что вкушают мясо ягнят. И тогда они оденутся в черное, и станут печальными звездами, кружащимися вокруг полюсов, как сестры у гроба.

И тогда, неожиданно, поднимается Утренняя звезда. Это звезда любви, и звезда Сына. Ее глубокий свет тревожен, поскольку означает добровольную жертву любви, отдавшую тело ради вечной жизни и воскресения. Но эта звезда более не Он, и не Она. Скорее, это звезда двойная, навечно объединившая оба полюса на вершине Древа Рая. Она расцвечена кровью Искупителя, отравленного Змеем, и в его венах плавает рыбка Бога.

Но конечно, это событие еще не произошло. Возможно, оно случится в эпохе Водолея, следующего за Рыбами и представляющего момент, когда рыбка всплывает в аквариум. В любом случае, событие это не исполнится легко или само собой. Оно будет окончательным разрушением современного мира, Страшным судом. Его приближение уже заметно, и согласно индийскому преданию, оно станет завершением Железного века, называемого Кали—югой. Новая эра будет эрой Калки: последнего воплощения Вишну, грядущего на белом коне.

Водолей может быть и эпохой третьего лика Троицы — Святого духа. Мало известно об этой таинственной персоне: мы знаем лишь, что она имеет облик голубя и говорит языками огня. Любопытно, что Отец и Сын имеют человеческие черты, но третья сущность их лишена. Церковь мало способствовала

развитию этого символа, а возможно, и избегала его. Может быть, Святой дух означает повторное признание и принятие животной природы, отрицаемой в Рыбах — и в новой эре животное обретет крылья. Тогда Пернатый Змей может восстать вновь, и человек сможет достичь цельности во владении светом и тенью. Несомненно, Святой дух должен означать обожествление человека, и это воскресение будет иметь отношение не только к духу, но и к плоти. Из глубоких вод нового Потопа, который может оказаться шквалом огненного прилива, Пернатый Змей вновь вознесется в виде голубя, и воплотит человека в его высшей и наиболее завершенной форме.

XXII Священные места

Ночь на восьмое число месяца Бхадра, приходящаяся на начало августа — время рождения Кришны, и в это время храм Бирлы в Нью-Дели всегда переполнен. Я также решил посетить его в эту ночь; прибыв на место, я обнаружил тысячи людей, собравшихся у входа — огромную толпу, заполнившую мраморные ступени, ведущие к храму. Двор и статуи в нём освещались цветными огнями, и повсюду вдоль толпы полицейские в тюрбанах и с длинными шестами в руках пытались поддерживать порядок в человеческой реке, затопившей пейзаж, волнами вздымающейся и опускающейся по ступеням, бурлящей вокруг башни и мраморных слонов, устремляясь к главному залу храма, повинуюсь притяжению образа Кришны. Зрелище было волшебным, но жар месяца Бхадра удушал совершенно.

Наконец, после больших затруднений, и чувствуя себя уже скорее мертвым, чем живым, я достиг входа в главный зал. Людской поток медленно подвигался вперед, перетекая в зал, уже битком набитый людьми — все они будто бредили, страстно воспевая подвиги бога в ожидании полуночи. Одна из стен была сплошь покрыта зеркалами, и масштабы действия будто удваивались. Подходя к статуе Кришны посреди зала, верующие опускались на колени и бросали лепестки роз, монеты, конфеты и фрукты к подножию вырезанного из цветного мрамора изваяния бога. Когда я, захваченный потоком процессии, приближался к середине зала, один из жрецов храма вдруг схватил меня и оттащил в сторону, протолкнув в кружок поющих людей. Здесь я смог, наконец, присесть, хоть и просто на

свои скрещенные ноги. Тон пению задавал один мужчина, другие подпевали. Ритм и образы музыки часто менялись, но в этих изменениях, переходах от части к части не было никакой неуверенности или сомнений. Многие из поющих также били в барабаны, или позванивали металлическими инструментами и прикрепленными к палочкам колокольцами. Как и всегда здесь, ритм был гипнотическим и страстным. Обычно, песня начиналась нежно и медленно, как протяжные напевы Андалузии, но затем мало-помалу набирала скорость, пока, наконец, не приходила к судорожному лихорадочному завершению. Все вокруг меня пели. Рядом был молодой отец с маленьким сыном, оба радостно пели, и голос ребенка был изумительно нежным. Потом отец поднялся, и, взяв металлические палочки, стал подпрыгивать на месте, вверх-вниз — так продолжалось около часа. Вскоре он уже обливался потом, и казался агонизирующим. Я боялся, что он действительно умрет от сердечного приступа. Воздух в зале был горячим, как в печи, и хотя время от времени сквозь зал проходили мужчины с большими веерами, пытаясь принести облегчение собравшимся, от их стараний почти не было толку. Мальчик рядом со мной пел, будто сам был Кришной, а дым сандалового дерева смешивался с запахом испарений тел одержимого хора. Вскоре я и сам заметил, что пою и отбиваю ладонями ритм. Не зная зачем, я закрыл глаза и принялся повторять накатывающую волнами фразу:

— Харе Кришна, Харе Рама, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Рама...

Тут вдруг кто-то толкнул меня, и, открыв глаза, я успел заметить нескольких людей, упавших на пол недалеко от меня. Было похоже, будто толпу разбросало вихрем. Оказалось, что одержимый богом длинноволосый мужчина с крашеными бровями приступил к исполнению ритуала. Сняв рубашку и штаны, почти голый, он стоял перед статуей Кришны, а потом начал ломаться и плясать. Толпа расцвела радостными возгласами и запела громче, а ритм всё ускорялся. Мужчина качался из стороны в сторону, а затем, положив руки на бедра, стал извиваться, будто танцевал самбу. Танец этот был совершенно непристойным, и сопровождался его гортанными выкриками. Выплясывая перед Кришной, он был одержим синим богом, и отдавался богу, как если бы был женщиной. Кривляясь и подсакаивая, он издавал вопли наслаждения и боли. Толпа кричала вместе с ним и поддерживала его животный ритм. Танцор пре-

вратился в мужчину, который более мужчиной не был; он был одновременно и чем-то большим, и чем-то меньшим.

Так музыка и пляски продолжались до полуночи — до того часа, когда родился синий бог. Казалось, что все собравшиеся приняли роль повитухи, принимающей роды, толкающей и тянущей бога в здешний мир.

С наступлением полуночи сцена преобразилась в то, чем и была, наверное, ночь месяца Бхадра тысячи и тысячи лет назад. Все мы стояли, сложив ладони, опустив веки, и пели мягко и сладостно, а в глазах стояли слезы. Потому что действие было величайшей радостью; синий бог был рожден вновь; он возродился в душе, и теперь весь год будет вновь танцевать как солнце над цветочным раем.

Каждый год та же космическая драма повторяется над всей Индией. В открытых небу театрах и храмовых дворах дети школьного возраста становятся Кришной хоть на одну ночь, и вся Индия вовлекается в мотив знаменитой легенды, ее собственного мифа, в котором проявляется сущность индийского народа.

В один из годов я решил отправиться в Матхуру, город Кришны, чтобы увидеть, как празднуют годовщину его рождения там. Поскольку Матхура расположена недалеко от Дели, я оказался одним из многих тысяч, отправившихся в паломничество из столицы. Прибыв туда до полудня, я посетил музей, знаменитый своей коллекцией сокровищ эпохи гуптов; когда я был там, какой-то старик подарил мне цветок, а детишки пропели мне песню. После я намеревался отдохнуть в храме. Он был переполнен нищими и больными, а также верующими, пришедшими сюда поесть и поспать, ведь храм в Индии — это всегда дом. Компания была разношерстная, и повсюду хватало грязи; но в то же время была и некая свежесть, и в темных углах храма прорастали типичные образчики изобилующей снаружи тропической растительности, но воплощенные в более чистых и совершенных формах. Как и всегда в храмах хинду, можно было ощутить, как прозрачайший поток некой невидимой реки устремляется от алтаря; кажется, течение этой реки связует все вычурные храмы Индии.

Но настоящей причиной, побудившей меня отправиться в Матхуру, было желание своими глазами увидеть ту реку, Джамну, у которой Кришна играл, будучи ребенком. Именно на этих берегах жил змей Кали-Нага, и здесь Кришна сражался с ним в великой битве. Неподалеку располагается деревня Гокул, и многие из верующих паломников отправились туда. Я же ре-

шил отправиться во Вриндавану, где бог, будучи ребенком, танцевал с гопи. Уже было далеко за полдень, когда я вышел в дорогу, и не успел я одолеть и половину пути, как опустилась ночь. Моим попутчиком был чернобородый сикх; я предложил заночевать у дороги под звездами. Он согласился, и мы расположились у обочины; отстегнув меч, сикх вонзил его в землю. Неподалеку были и другие паломники, а под соседним деревом отдыхала компания верблюдов. Время от времени я слышал, как где-то кашляла и стонала женщина. Вглядываясь в небо, я незаметно потерялся среди звезд, и вскоре вновь испытал знакомое с детства ощущение: будто я не лежу спиной на поверхности земли, а наоборот, свисаю с нее, как с потолка. Я чувствовал, будто небо оказалось внизу, подо мной, и казалось, что совсем просто неосторожно соскользнуть и упасть в него навсегда. Это было в точности то же чувство головокружения и ужаса, которое я испытывал еще ребенком. Ощущение бесконечного падения в бездонную пропасть — в ту ночь мне казалось, что я падаю в темную синь самого Кришны.

Вдруг на лице у меня оказалось что-то холодное. Я было подумал, что это змея, но оказалось, что на мне решил посидеть просто маленький лягушонок. Я не стал шевелиться, всё еще оставаясь полупотерянным среди звезд. Сикх уже уснул при своем мече, а женщина всё также кашляла и стонала где-то в стороне, и еще я мог слышать тяжелое дыхание верблюдов. Постепенно стал засыпать и я, ощущая, как звезды не остаются снаружи, за закрытыми веками, но переселяются в мое нутро. Всё глубже и глубже я опускался в небо Кришны.

Проснувшись на заре, я оказался весь покрыт росой, хотя уже потеплевшей под утренним солнцем. Верблюды уже пустились в путь по пыльной дороге к Вриндаване. Сикх и я поднялись, готовясь последовать за ними. Добравшись, наконец, до города, мы сразу же отправились в сады Вриндаваны, и решили провести большую часть дня там. Конечно, эти сады были молодыми, но выглядели они, наверное, так же, как и те древние, что когда-то были разбиты здесь — исполненные легендарности и населенные небывало красивыми павлинами и крикливыми обезьянами. Кроме того, как и в прошлом, сад был полон пастушек, высматривающих себе какого-нибудь Кришну среди цветов и фиговых деревьев. Нетерпеливая страсть пуще всего снедала Радху — странную любовницу синего бога. Радха — замужня женщина, жена пастуха. И всё же Кришна сделал ее

своей избранницей, и сливался с ней посреди танца, сопровождая ее на вершину Древа Рая, где, будучи едиными, они становились Утренней звездой, звездой Его–Ее. Такова правда фактов таинства Индии: хотя у Радхи был муж, она узнала, что ее настоящий любовник не он, а неистовый синий танцор, подобный богу Пану, также игравшему на флейте. В этих отношениях есть и что–то знакомое, очень человеческое, ведь немногие знают о своих подлинных супругах. У каждого мужчины есть своя Радха, а у каждой женщины — ее синий бог. И это окончательное слияние в звезду Его–Ее не произойдет, пока они не встретятся и не исполнят шаги мистического танца, в котором один из любовников остается недвижимым в сердцеvine, в то же время головокружительно вращаясь снаружи.

Конечно, есть и нечто преступное в этой любви: это не любовь повседневной жизни, и она не укладывается в свод Законов Ману. Скорее, это любовь идеальная, на краю существования, вне пределов «трудов будней». Это слияние за гранью текущего мгновения, когда–то случившееся в древних джунглях и садах Вриндаваны. Глубокой ночью, вдали от мужа и дневных забот, Радха бросалась в безумный танец, приводящий к экстазическому единению вечной женственности с вечной мужественностью. А после она возвращалась в свой дом и принимала известную роль верной жены пастуха, и оставалась там, пока вновь не слышала призыв. Во всем этом скрыто странное, неизъяснимое таинство, и, в конце концов, возможно даже, что муж был горд тем, что жена его соединялась с богом и давала богу рождение. Таково, вкратце, всё таинство божественной любви: она запретна и кровосмесительна; то есть — она требует полнейшего разрушения, прежде чем случится окончательное единение.

Спускаясь по узким тротуарам улиц, я, наконец, вернулся к реке. Там я увидел множество большущих черепах, отдыхавших на берегу, или пльвших в потоке. Это были черепахи Брахмы и Вишну, главенствовавших в первую эпоху мира — Сатьяюгу, в которой человек жил до четырех тысяч лет. Вишну в то время принял облик черепахи, чтобы отправиться на дно моря и найти таинственный «предмет», утерянный в час Потопа. Там, на дне Молочного моря, он взволновал воды и воздвиг гору — Кайлас. Тогда боги и демоны обернули вокруг него змея Васуки, и, разделив его вдоль, связали концы веревкой. Этим удлинившимся вдвое змеем они вновь стали колыхать море, пока не нашли тот таинственный предмет. Наконец он явился им, приняв форму

Амриты, воды жизни, а также Рамбхи, прекрасной нимфы. Мы можем думать, что этим потерянным предметом была и Радха, и неизбежно также и Виша — то есть яд.

XXIII Утренняя звезда

Приближаясь, я испытывал страх, боязнь разочарования. Всегда боишься расстаться с иллюзией, думая, что не сумеешь увидеть той красоты, которую описали другие. Совершенно определенно, я чувствовал подобное разочарование, стоя перед Пирамидами и Сфинксом. Но сейчас, под тенью начавшегося вечера, одетый в индийскую белую мантию—кадхи, я входил во двор Тадж—Махала. Пройдя сквозь каменную арку, по длинному коридору я вышел к другому арочному проходу, который подвел меня к воротам главного входа. А потом, неожиданно, всё видение предстало передо мной. Ничто не предвещало такого мгновенного раскрытия, разоблачения; это был внезапный порыв, в чём—то подобный тому моменту, когда я проснулся на рассвете в Антарктике, и в первый раз увидел необъятные снежные пустоши и громады белого льда.

Тадж—Махал располагался в некотором отдалении от врат внутреннего двора, и, казалось, парил над землей будто призрак. Вступала в силу ночь, луна осторожно взбиралась на небо, а он сиял мягким неземным светом. Пруд, протянувшийся от входа к подножию самого строения, возвращал небу темные отражения дрожащего света.

Звуков не было вовсе. Я замер, а несколько индусов скользили по дороге, ведущей к строению. На противоположном конце длинной мощеной дамбы Тадж—Махал выросал сновидением: совершенно белый, будто качая четырьмя крылами башен. Он выглядел почти живым, и казалось, желал что—то сказать, раскрывая свою суть в птичьих формах. Построенный людьми, впоследствии ослепленными, он воплощал вечно сияющий свет, и напомнил мне о душе того, кого я не видел со времен детства. Он был как белая звезда в небесах, и я сам не заметил, когда стал шагать в его направлении, будто скользя навстречу иному миру: этот прохладный, мягкий ток, излучаемый им в лунном свете, был нездешним. Прежде, чем подойти совсем близко, я снова замер — мне казалось, спешить было бы неверно. Я продолжал вглядываться в монумент, и теперь мне открылась другая сторо-

на его личности. Одинокая звезда медленно поднималась над белым куполом, тронутым синью в сиянии луны. Мягко искрились драгоценные камни в основании купола. Я зашагал вновь, поняв, что не смогу откладывать встречу вечно.

Очень скоро я оказался у подножия лестницы, и здесь вновь замер среди группы паломников, так же как и я созерцающих пропорции сновидческого монумента. Казалось, их лица озарялись счастливой улыбкой узнавания, как если бы они вернулись в детство, или были скитальцами—изгнанниками, вновь обретшими родной дом. Всё же, и они, и я замерли на пороге лишь потому, что просто еще не были готовы войти в сердце строения. Вначале нам нужно было привести в порядок наши мысли, всё еще витавшие где-то вдоль пыльных дорог Агры, которыми мы пришли сюда. А теперь, совершенно неожиданно, всё вокруг нас преобразилось: небо и луна воплотились в чудесных объемах архитектурного миража.

Медленно поднимаясь по ступеням террасы Тадж—Махала, я заулыбался и стал прикасаться к его стенам, и, не осознавая того, заговорил вслух. Это никого не удивило: все вели себя так же. Мужчина, сидевший у лампады на краю террасы, пел о счастливом завершении жизни и о рождении ангелов. На вершине лестницы мне дали пару хлопковых тапочек, чтобы ступать в них по мраморному полу — я был почти уверен, что они позволят мне парить в воздухе и подниматься к небесам. Входом в гробницу служила огромная мраморная арка, украшенная драгоценными камнями — на ней цветным мрамором были выложены слова Бога. Это были строки из Корана, но в равной мере они могли принадлежать Иисусу Христу и Кришне. Перед тем, как войти, я задержался и всмотрелся в эти стихи — и будто бы осознал с полной ясностью их глубочайшие значения.

Оказавшись, наконец, в центральной палате, я подумал, что вступил под своды собственного сердца. Здесь в углу стояла тусклая лампада, бросающая сноп света на гробницу Мумтаз—Махал, обожаемой супруги Шаха—Джахана — его собственная гробница находится тут же. Здесь, наконец, двое соединились в гробнице Его—Ее, которую и я носил в глубочайших тайниках сердца. В этом мраморном бриллианте двое влюбленных, так долго искавших друг друга, наконец, встретились. И мраморный купол Тадж—Махала был сенью Дворца, венчающего Древо Жизни.

Годы назад на своей родине, пробуждаясь от своих чрезвычайных видений, я обычно видел Утреннюю звезду, подни-

мавшуюся над горами. Чудилось, что ее мягкий свет шлет мне знак и старается утешить меня. Ее свет всегда окутывал меня волнами, наполняя чувством, которое нельзя описать; это было послание из иного мира, имевшее потаенный смысл. Некий неведомый центр во мне всегда отзывался на этот ласкающий свет, хотя в то время я не мог понять их диалога.

Но теперь я знаю, что Утренняя звезда — это Звезда Его—Ее, воплощающая таинство пещеры Элефанты и гробницы Тадж—Махала. Там, за пределами жизни этого мира, за порогом смерти, Он, наконец, оказывался воссоединен с Ней. То, что человек в Агре сумел воссоздать в мраморе самую сущность этой звезды, даже то, что ее оказалось возможным ухватить хоть на мгновение — достижение поразительное и устрашающее.

Шах—Джахан выстроил беломраморный Тадж—Махал на берегу реки Джамны, и взгляд издалека, поверх зеркала воды делает сцену почти венецианской. Он желал также выстроить собственную гробницу из черного мрамора на противоположном берегу, а серебряный мост должен был соединять две усыпальницы. Но прежде, чем он смог приступить к постройке, его сын Аурангзеб, встревоженный растратой всего дохода Империи, отнял власть отца и заточил его в Красную крепость, где на стене своего покоя Шах—Джахан повесил драгоценный зеркальный камень, отражавший далекий пейзаж с Тадж—Махалом. В этом камне Тадж выглядел синим; Шах—Джахан умер, глядя ваясь в отражение гробницы своей возлюбленной.

Сложно понять смысл этого действия. Может быть, расщепленная душа ислама, как и душа христианства, также мечтала о вечной любви душ, длящейся за границами смерти. С другой стороны, эти мусульманские гробницы могли быть просто воплощением неистовой попытки преодолеть смерть и сделать вечным эго. Кажется, таковы были мотивы фараонов Египта, возможно, то же стремление двигало и правителями мусульманской Индии.

Но на самом деле эти вопросы не подлежат ответу, потому что намерение Шаха—Джахана отличалось от того, что удалось сделать в действительности. Он желал возвести собственный черный Тадж на другой стороне реки — но миф и легенда вмешались, действуя независимо от его воли. Вначале вычурный индийский миф заставил его построить Тадж—Махал, а после в один миг разрушил все планы. Возможно, миф обеспечивал вечное единство Его и Ее в сердце беломраморной звезды.

Тадж–Махал, видимый в отражении темного драгоценного камня, который Шах–Джахан повесил на стену своей темницы, был того же синего цвета, что и бог Кришна, в космическом танце в центре круга сливавшийся со своей избранной любовницей — одновременно недвижимый и неистово вращающийся. Возможно, и сам этот камень был частью, потерянной при Потопе; его синий цвет был цветом Кришны, и мерцающим светом Утренней звезды, звезды Его–Ее.

Когда чудо искусства, подобное Тадж–Махалу рождается на земле, оно оказывается окруженным странной пеленой, и неуловимый свет исходит от него, как от полотен Леонардо. Эта аура, кажется, напоминает о чём–то вечном: превосходящим земное время. Всё в этом мире может завершиться и исчезнуть — пещеры Эллары и Аджанты, Пирамиды и Долина царей — но Тадж–Махал останется. Он будет почти единственным творением, которое переживет всё, потому что его хранит свет звезды, которая вечно воспроизводит себя. Немногие из монументов этого мира могут существовать в таком космическом свете — Тадж–Махал может, поскольку имеет нужную форму.

Возможно, в скором будущем, совершая межпланетные путешествия, человек узнает в одной из звезд Тадж–Махал Агры. Он увидит его там: звезду, целую вечность кружащую, смыкающую в бесконечности круг и квадрат. И он поймет, что эта звезда, и две гробницы в ее сердце — наивысшее достижение всего человечества, пожелавшего слить Его и Ее в едином биении. Возможно, именно поэтому Тагор назвал Тадж–Махал «мраморной слезой, катящейся по щеке Времени».

XXIV

Птица, поющая в руинах

На рассвете я снова отправился увидеть Тадж–Махал. На самом деле, мне не пришлось никуда идти: ночь я провел там же, уснув в траве неподалеку. Когда первые лучи солнца засияли над горизонтом, я уже шагал, рассматривая Тадж–Махал с разных сторон. Его белый купол порозовел, а драгоценные камни в стенах переливались в утреннем свете. В полноте своей формы он воплощает квадратуру круга: круглый купол центральной постройки опирается на большую квадратную платформу. В четырех углах этой террасы вздымаются изящные минареты: пара у переднего края платформы поставлена чуть

шире, чем та, что поднимается сзади — такая планировка придает гробнице дополнительную глубину перспективы при взгляде из главных ворот. Но интересней всего окружность в центре квадрата, потому что это форма священной мандалы.

Когда в начале столетия философ Кайзерлинг увидел этот монумент, он сказал, что «душа Тадж–Махала, как и сама постройка, не имеет окон». Но Тадж и должен был быть построен именно так, потому что у мандалы лишь один вход, и нет других отверстий. Более того, этот единственный тайный вход нелегко найти. Если бы здесь были окна, ночные вору могли бы проникнуть и похитить сокровище сердца.

В руинах у Фатехпур–Сикри поет птица. Она подает голос на рассвете и не умолкает до полудня, ее крик однообразный и мертвящий. Птицу эту обычно нельзя увидеть, потому что она прячется в траве за разрушенными стенами старого города, или скрывается в куполах высоко над крышами дворца Великих Моголов.

В полдень во Фатехпур–Сикри всё замирает, парализованное жарой, а воздух окрашивается свечением красного песка. Камни этих дворцов и павильонов отражают попытку короля–философа понять эфемерное и использовать интеллект как средство постижения вечности. Но эти старания пошли прахом: ведь над симметрией асимметричного, над равновесием неупорядоченности, птица всё так же выводит монотонную, убийственную ноту — и земное время по–прежнему торжествует.

Невозможно проигнорировать урок Фатехпур–Сикри — доказательство итоговой бесполезности сознательного умственного усилия. Здесь, несмотря на высоту вдохновения и величие интеллекта, всё было обречено на неудачу. Сознательная мысль не обнаружит тайного входа мандалы, не откроет дверь во Дворец на вершине Древа Рая. Это открытие требует иных средств, и перво–наперво нам нужно найти синего Змея, всё еще живущего внутри нас. Это тот изначальный змей, что обвил кольцами Древо Рая еще до рождения Евы.

Часть этого образа отразилась и в Тадж–Махале, представляющем собой мандалу без окон. Змей угнездился в этом строении, и поэтому Тадж–Махал пребудет вечно. Хотя этот комплекс в Агре однажды может стать прахом, он вновь будет воссоздан где–то еще, по тому же образу.

XXV Усталость

Я снова возвратился в свою комнату в Нью-Дели, но теперь меня преследовало странное недомогание. В частности, я болезненно остро ощущал запахи и потерял аппетит. Один вид плода манго вызывал дурноту, и я хотел только одного — лечь и не вставать. Я проводил часы, недвижно вытянувшись на постели и стараясь не замечать шума обезьяньей возни снаружи, и уж давно не глядеть в окно.

Вскоре я понял, что подхватил лихорадку. Я не мог спать по ночам, и если на мгновение и удавалось забыться, я тут же снова просыпался: одновременно дрожа и обливаясь потом. Я знал, что нездоров, но совершенно не понимал, в чём причина. Сикх, прислуживавший мне, предложил встретиться с доктором, практикующим аюрведу — традиционное медицинское искусство страны, но я не приложил к этому никаких усилий. Ощущения опустошенности и тягот всё усиливались, и вскоре я стал чувствовать омерзение ко всему, что увидел и пережил в Индии. Вязкий пот и тлетворные запахи, пыль дорог, воспоминания о больных и нищих стали одолевать меня, и я желал бежать прочь.

Потом, наконец, ко мне пришел врач. Он сидел у постели, не говоря ни слова, и через какое-то время исчез. Кажется, он навещал меня почти неделю, хотя я и не осознавал того. Иногда он что-то говорил мне, но чаще оставался безмолвен. Это был не доктор аюрведы, а современный аллопат, обученный в Индии. В один из дней он обратился ко мне с вопросом:

— Вы видели храмы Кхаджурахо, их сексуальные скульптуры? Я немного изучал психологию, и эти скульптуры кажутся мне очень любопытными. Они воплощают в себе весь метод тантры, посредством которого достигается контроль над разумом на пике сексуального наслаждения...

Я лишь отрывками мог слышать его слова, но он продолжал говорить.

— Не будем беспокоиться о вашей болезни, пусть она излечит себя сама. Со временем мы узнаем, что было ей причиной. А сейчас расскажите мне что-нибудь о ваших внутренних переживаниях. Вы были в Кхаджурахо? Когда вы будете чувствовать себя лучше, я прочту вам комментарий к Бхагават-Гите, написанный с более научной точки зрения; я также дам вам почитать что-нибудь написанное доктором Вазантом Реле о

раджа-йоге или кундалини-йоге. Эти старые боги Кхаджурахо придают Кундалини очень большое значение. Хотя сегодня, полагаю, этот феномен назвали бы либидо...

— Змей! — воскликнул я. — Змей Кришны, флейта Кришны...

Когда доктор ушел, вернулся жар, и за ночь я пережил множество кошмаров. Я видел змей с тысячами голов, и каждая была головой доктора, вещавшего мне о Бхагават-Гите, но слова появлялись резко и бессвязно, как будто наговаривались в диктофон. Была и секретарша, фиксировавшая монолог доктора, и клецанье ее печатной машинки отдавалось болью в моей голове. Проснувшись, я чувствовал лихорадочный пульс в висках, а голова, казалось, вот-вот расколется надвое.

Днем я увидел сикха, сидящего в углу комнаты. Он не оставял меня без присмотра, потому что был обеспокоен моим нездоровьем. Потом в комнату вошел неприкасаемый, чьим делом было подметать полы, и поднял тучи пыли, заставившие меня задыхаться.

Тогда я понял, что не смогу терпеть больше. Я осознал и то, что кризис этот имеет внутреннюю, душевную причину. Вероятно, он стал результатом напряженного раскола, причиненного вторжением скептицизма в мое долгое, кажущееся бесконечным, паломничество.

Снова пришел доктор, и сев у моей кровати, сказал:

— Я знаю, что это. Малярия.

Точность его диагноза показалась мне сомнительной, и я начал беспокоиться. Потом я вспомнил о Сивананде, толстом свами, песни и танцы которого я видел в Ришикеше, у Ганги, и которого почитали будто китайского Будду. Почувствовав внезапное вдохновение, я отправил ему послание, сообщив, что болен, и попросив его подумать обо мне. Сделав так, я совершенно забыл об этом, и продолжал терпеть лихорадку в последующие дни. Однажды я увидел обезьяну — она глядела на меня сквозь окно, жестикулируя и корча гримасы, а я приподнялся и сел в кровати, чтобы посмотреть на нее. Я неотрывно смотрел в ее глаза, но не нашел там ни малейшего признака понимания. Собака или кот, или даже одна из тех ящериц, что ползали по стенам, лучше сумели бы понять меня. Я был поражен догадкой о том, что происхождение человека от обезьяны едва ли возможно, и мне показалось, что обезьяна лучше всех понимает это. Уж скорее мы произошли от собак; по-крайней

мере, я всегда думал о собаках, как о братьях. Они ничего не говорят, но, кажется, всегда понимают нас. Собака сопровождала человека долгое время, и, в отличие от лошади, которую заменила машина, собака никогда не окажется ненужной, потому что она способна касаться в человеке некой струны, недоступной всем прочим существам. И всё-таки индийцы никогда не понимали этой связи, и, может быть потому, что их боги, их обезьяноподобные боги вроде Ханумана, препятствовали этому. Вглядываясь в лицо обезьяны за окном, я понимал, как мало боги пекутся о нас. На самом деле, у нас с ними нет ничего общего. А собаки, поскольку они никогда не были богами, рады оставаться с нами и защищать нас. Однако в богоподобном мире Индии собаке совершенно нет места.

Вечером, когда пришел доктор, я указал на ящерицу, что взобралась на потолочную балку, поближе к другой такой же.

— Кхаджурахо! — улыбнулся я.

Ящерицы — создания с недюжинными акробатическими способностями, но порой и они срываются с балок и падают на пол, и тогда производят глухой шлепок, будто кто-то хлопнул ладонью по животу.

А позже, закрыв глаза, я стал ощущать присутствие большой тени: будто лица, прижатого к моему собственному. Потом, в какой-то миг, я осознал, что это лицо свами Сивананды, пришедшего проведать меня. Я не открыл глаз; я просто позволил этой тени оберегать меня от лихорадки и заслонить от шумного веселья обезьян. Потом мало-помалу я успокоился и уснул.

Станным образом на следующий день мне стало легче. Лихорадка оставила меня, и я уже садился в постели и даже ходил по комнате. Потом, в следующие два дня я получил послание от свами Сивананды: он рассказал, что получил мое письмо и распорядился о молитвах и медитациях о моём здоровье. По-видимому, он отправлял послание как раз тогда, когда я ощутил присутствие оберегающей тени. В любом случае, это событие как раз в духе Индии. Сивананда, конечно, разочаровывал тем, что позволил обожествить себя еще при жизни, и выпускал так много пропагандистских фильмов и брошюр о себе самом. Все эти неприглядные поступки заставляли относиться к нему скептически. Но при этом, для меня уже стало не важно, насколько свами искренен. Возможно, он и не живет жизнью святого: он не посвящает себя медитации, или почти не прибегает к ней; конечно, он питает пристрастие к вкусной еде

и веселому времяпрепровождению. Но ни одна из этих черт его характера, в конце концов, не беспокоит меня, потому что они представляют собой всего лишь поверхность, наружность. В гигантской горе тела скрыто сердце джентльмена. Как и всё в Индии, Сивананда являет собой сочетание противоположностей: он и король, и прозорливый епископ.

Нельзя отрицать, что сознательная мысль и интуиция часто перечат друг другу, или, по меньшей мере, действуют на различных уровнях. По этой причине мне не нужно было возвращаться в Ришикеш, чтобы снова встретить Сивананду, ведь я уже видел его — один раз и навсегда. И всё-таки, я уверен, что именно его призрачное появление стало причиной моей поправки. С письмом он отправил мне немного красного порошка сандалового дерева, чтобы намазывать лоб, и листья гималайских растений. Я мазнул сандаловым деревом меж бровей и зажег несколько палочек, вскоре наполнивших ароматом комнату. Запахи больше не причиняли мне беспокойства.

Когда жар прошел, я ожидал, что доктор подтвердит мое излечение от малярии. Но всё же, мне было предписано сохранять покой до полного выздоровления, так что теперь я малопомалу возвращался к жизни, и это было время надежды. Мое самочувствие улучшалось постепенно, и в один из дней ко мне пришел мужчина в каракулевой шапке, судя по одежде, магометанин. Однако он оказался индусом, и сообщил, что пришел научить меня хинди и санскриту. Но узнав, что я поправляюсь после серьезной болезни, он отбросил свою настойчивость, спокойно уселся на пол, скрестив ноги, и сказал:

— Вам нужно оставить Дели, уйти прочь от этой адской жары.

— Я думал отправиться в Муссури, а может, в Шимлу или Алмору. Алмора мне особенно интересна, ведь она считается подступом к горе Кайлас.

Какое-то время он смотрел на меня молча. Потом сказал:

— Сейчас вы не можете отправиться туда, да и в любом случае, Кайлас теперь расположен в Китае. Вместо этого вам нужно отправиться в Кашмир. Оттуда вы можете идти в Амарнатх, священное место паломничества индусов, там вы сможете увидеть пещеры, и в них — ледяной лингам Шивы.

— Да. Вернуться ко льду...

Таким образом, мне предстояло посетить Шиву в его заснеженном обиталище в Амарнатхе. Там я попытаюсь раскрыть его секрет, проникнуть в его таинство. Я начинал чувствовать крепость

и силу, а надежда на новое приключение наполняла меня радостью. Я прошел к столу в углу комнаты, и достал свои карты Гималаев.

XXVI Гробница Иисуса

Трансгималайская область включает в себя Гиндукуш, Каракорум, Квунлун и Кайлас — эти горные цепи простираются, подобно расходящимся морским волнам. Но имя Гималайя, что значит «обиталище снегов», более применимо к величественным вершинам, тянущимся от западных границ Китая до Кумаона, Кашмира, и, наконец, до Нанга Парбат на другой стороне. Высочайшие пики этих гор, и так самых высоких в мире, расположены в Непале. Меньшие горные гряды трансгималайского пояса относительно ниже, и второй по высоте пик, К-2, находится в Каракоруме. В совокупности же, эти необозримые гиганты, почитаемые в качестве жилища богов, простираются от Китая до долины Инда, заканчиваясь громадной скалой Нанга Парбат.

Несомненно, самая изолированная из этих вершин — каракорумская К-2. Она поднимается посреди пустыни, и вид ее подобен парящему над бесплодными степями ангелу. Ближайшее к ней поселение — расположенная в шести днях пути деревушка. В своем одиночестве она подобна и Нанга Парбат, но белое свечение ее пика даже еще более прекрасно. Сложно быть точным, сравнивая эти горы, ведь многие из восхитительных вершин, как например, Ракапоши, почти неизвестны. А горы Памира можно увидеть только с территории Туркестана.

Необычайная высота Гималаев обусловлена их гранитной сердцевиной, сохранившей высоту, в то время как меньшие предгорья сточились эрозией. Центральная часть горного массива и есть чистый гранит. Эти чрезвычайно высокие пики сотворены воздействием великих сил на особенно чувствительную к геологическим сдвигам породу. Их вершины сберегли высоту благодаря плотной мантии снега и льда, оберегающей их от разрушительных атмосферных явлений, внезапных ливней и колебаний температуры. Погода быстро стачивала предгорья, лишённые снежного покрова. Считается, что Гималаи образовались, когда огромная масса гранита была исторгнута из недр планеты сквозь слой менее плотной коры. Никто не знает, достигли ли Гималаи своей предельной высоты, или продолжают расти до сих пор. Одна из теорий называет Гималаи

относительно молодым геологическим образованием, а значит, всё еще испытывающим активное влияние создавших его сил.

Тысячи лет эти вершины существовали в уединении, и первые признаки другой жизни появились здесь всего миллион лет назад. В то время Кашмир, лежащий к югу от гигантских гор, был почти целиком скрыт в водах. На самом деле, большая часть северо-запада индийского континента была огромным озером, на юге ограниченном полоской земли, соединяющей Индию с Африкой. Потом, около трехсот тысяч лет назад, в Кашмир пришел человек. Его появление, конечно, остается неизъяснимой загадкой, но жизнь, вероятно, зародилась где-то, где встретились море и суша, где горячие солнечные лучи придали плотность вязкой влаге. Там Вселенная, должно быть, впервые выразила свою скрытую мощь, сочетав те элементы природы, что ранее выражались в небе и земле, а также в рае и аде.

Тем временем громады гималайских пиков продолжали уединенное существование, столетиями сохраняя тишину, которую теперь можно застать лишь в пустыне Гоби да в бесплодных просторах Антарктики. Но боги, должно быть, говорили, пусть и языком молчания, и спустя сотни веков людям пришлось взойти на Гималаи, чтобы услышать их голоса. От самых начал, и примитивные племена Индии, и арийские захватчики почитали эти горы богами Индии; такими они и остались, и Канченджанга, Аннапурна, Нанга Парбат и гора Кайлас, также называемая горой Меру, имеют выраженные и узнаваемые личности. Хотя есть и другие претенденты на такую честь, но всё же, если Ковчег и вправду был, то коснулся суши он на одной из этих гор. По всей вероятности, он пристал к вершине горы Кайлас — священной обители Шивы и его супруги Парвати.

Наконец, пройдя долгими равнинами и перевалив через горные хребты, я оказался в центральной долине Кашмира, и достиг города Шринагар. Этот край напомнил мне о родине; здешний пейзаж составляли равнины, окруженные голубыми горами и озера, обрамленные высокими деревьями. Почитаемый когда-то в этих озерах и каналах змей Нага открыл магическую формулу, спасшую весь мир от вод Потопа. Но секрет этот давно утерян, и сегодня в Кашмире господствует дух ислама. Как бы то ни было, мне сообщили, что за садами Шалимара, вероятно, недалеко от того места, где Шива открыл суры философии трика мудрецу Васугупте, я смогу найти жилище свами Лахманджу. Как и его предки, этот молодой свами из-

брал жизнь в идиллическом уединении, за изучением философии трика — особого плода кашмирского шиваизма.

В один из полдней, вскоре после моего прибытия, я решил навестить его. Оказалось, что он живет на верхнем этаже деревянного дома, и, чтобы подняться в его комнату, нужно взобраться по наружной лестнице. Свами был босоног и одет в длинную тунику, голова обрита. Он выглядел очень молодым, а его темные глаза были способны видеть и в послеполуденных тенях.

На белом полотне, разостланном на полу, мы сели друг напротив друга, скрестив ноги. Я заметил несколько книг и письменных принадлежностей, а в углу дымились палочки сандалового дерева. Снаружи лаяли собаки, где-то вдали пастухи созывали овец. Долгое время мы сидели в молчании, а потом я задал вопрос:

— Как можно, придерживаясь монизма, признавать многообразие форм реальности? Не могло ли творение проявлять на Абсолют? А если так, то зачем вообще Абсолют проявлял себя? Почему оказалось так, что Парамашива, Идеальный, цифраноль, почувствовал необходимость сотворить мир?

Свами покачал головой и закрыл глаза, прежде чем ответить:

— Абхинав предвосхитил это возражение словами: «Мы не можем спрашивать, почему тот или иной предмет делает что-либо, просто его действие — часть его собственной природы; действие принадлежит к сущности. Природа предмета не подлежит вопрошению. Абсурдно спрашивать, для чего жжет огонь, или почему вода утоляет жажду, а холод студит. Они действуют так просто из своей природы; так, и в природе Парамашивы было проявить себя. Что касается того, мог ли мир сотворенный изменить Абсолют или уничтожить его вечную природу, то это невозможно, потому что все вещи, сотворенные в их множестве, по-прежнему остаются в Абсолюте, так же как и волны остаются частью моря. Нельзя сказать, что океан изменяется движением волн или приливами. Они вздымаются и падают, но океан остается неизменным. Так и Парамашива не затрагивается творением. Только Парамашива существует независимо и безусловно: все воспринимаемые формы зависимы и обусловлены; они конечны и не могут состязаться с Абсолютом».

Прочитывая Абхинаву, свами Лахманджу вновь погрузился в молчание. А я смотрел на него, гадая, о чём же он думает, и верит ли сам в те слова, которые воспроизводит. Там, где трика оправдывает творение мира, Веданта хранит молчание и не пытается дать объяснения; она просто отрицает реальность и называет ее Иллюзией. Веданта не толкует таинства или поня-

тия об изначальном несуществовании. А трика, с другой стороны, пользуется в своих объяснениях образом океана — и эти сравнения дороги душе Индии, дыханию здешнего климата.

Тогда я сказал свами так:

— Нет ничего более опасного, чем образ, чем сравнение с видимым для объяснения невидимого. Такие сравнения кажутся настолько несомненными и точными, что я уверен в их неточности и ненадежности. Я очень скептически отношусь к образам; я совсем мало доверяю тому, что выглядит верным...

Свами остался безмолвен, и в сумраке неуловимо качал головой из стороны в сторону.

Я решил оставаться какое-то время в плавучем домике на озере Дахал — здесь я отыскал уединенный уголок у обширных зарослей лотосов, устилавших всю поверхность воды до ближайшего острова. Вместе с плавучим домом я получил шикару: что-то наподобие венецианской гондолы — на ней я иногда отправлялся в Шринагар. Большую же часть времени я проводил в праздности, на борту моего дома: украшенного искусной резьбой, обставленного удобной мебелью, устланного персидскими, афганскими и турецкими коврами и мягкими подушками. Дом был причален к заросшему цветами клочку земли, и время от времени я слышал голоса детей и землешцев, проходивших мимо.

Поздними вечерами я сидел на палубе, наблюдая, как ночь укрывает голубые холмы вокруг; зрелище напоминало мне об озере на юге Чили. За холмами лежал Ладакх, а еще дальше — Тибет и степи Центральной Азии. Здесь начинался гималайский регион, ведущий к Кайласу и к зачарованной пещере Амарнатх, в которой скрыт ледяной лингам Шивы.

Постепенно солнце погружалось за горы, окрашивая озеро и лотосы алым. Шикара, украшенная гирляндами ярких цветов, плавно скользила мимо, и я слышал, как поет в ней лодочник, и как ему вторит ребенок. Их странные, прозрачные голоса восходили в восточных модуляциях, и тогда я понимал, что всё-таки нахожусь далеко от родной страны. Наши голоса в песнях или очень высокие, или, наоборот, низкие; они не колышутся, подобно неспешным каналам, в которых раньше частым гостем был Змей.

С приходом ночи я медленно засыпал, опрокинувшись на подушки. В пустотах между снами мне казалось, будто я слышу звук необычайной флейты, делающий всё более громким. Я открыл глаза, но пение флейты не исчезло; наоборот, продолжаясь, оно всё усиливалось, и я подумал, что, должно быть, какой-то пас-

тук бредет вдоль полоски земли, к которой причален мой дом. Но рождавшиеся звуки не казались действительными или реальными, они будто доносились из отдаленных эпох, и я вспомнил о боге Пане, игравшем на флейте в древней Греции. Мелодия была чрезвычайно сокровенной и полной намеков. Я часто слышал флейты в темноте ночей в старом Дели, и мне знакома музыка заклинателей змей; но эта кашмирская флейта, кажется, звучала из бездны языческих времен, из античных областей Греции и Крита. Может быть, услышанный мною флейтист был богом, пересекшим равнины Центральной Азии, прошедшим через Искандарию и взобравшимся на снежные вершины Каракорума и Хайберского прохода, чтобы найти это тихое озеро, напоенное ароматом цветущих лотосов.

И тогда я вспомнил сон, виденный мною более двадцати лет назад. В том сне я оказался на далеком острове моей родной страны, Чилоэ, и мне навстречу двигалась телега, подсакивавшая на кочках дороги. Земля поросла папоротником, а вокруг стояли необъятные высокие деревья. Когда телега подъехала близко, я увидел в ней мальчика в меховой шапке. Он играл на флейте, и проезжая мимо, одарил меня необычайной улыбкой. Его глубокие глаза пронзили меня, как будто желая напомнить о чём-то, что я и так уже знал.

На севере то же, что было и на юге. И пока музыка флейты постепенно затихала, здесь, в Кашмире, я еще раз убедился, что моя жизнь отмечена путевыми знаками: не во времени, но лишь во снах.

Хотя нам известны истории о детстве Христа и о его приходе в храм, нет почти никаких сведений о том, что он делал, будучи молодым мужчиной. Никто не знает, где он жил до тридцати лет — того времени, когда начал проповедовать. Всё же, существует легенда, согласно которой он жил в Кашире — таково первоначальное название Кашмира. Ка означает «такой же», или «равный», а шир — это Сирия. Рукописи на языке шарда, произошедшем от санскрита, кажутся тесно связанными с библейской историей. Согласно этой кашмирской легенде, Иисус пришел в Кашир и здесь учился у святых людей, научивших его таинственным знакам. Это знание сохранилось нетронутым на высотах гор, не подвергшихся разрушительному действию Потопа. Здесь могла сохраняться и наука Нилы, короля змей. Позже Иисус возвратился на Ближний Восток, и стал проповедовать невежественным толпам Израиля мистическую правду, которую познал в Кашире. Чтобы впечатлить их и обратить в свою веру, он часто прибегал к помощи сил, обре-

тенных им в йогических упражнениях — позже такие случаи были описаны как чудеса. В конце концов Иисус был распят, но не умер на кресте. Его укрыли некие эссенские братья, благодаря заботам которых он поправился и вернулся в Кашир, где жил среди своих учителей до естественной смерти.

Некоторые свидетельства указывают на исламское происхождение легенды, но на самом деле она, вероятно, еще древнее. В отдаленные времена между Индией и Ближним Востоком имелась оживленная связь, и весьма вероятно, что истории и мифы Индии переносились через пустыню в Святую землю. Разумеется, миф о распятии искупителя чрезвычайно древний, а представление о равенстве всех людей уже излагалось Буддой, и было принесено в Кашмир королем Ашокой задолго до того, как Иисус обратился с проповедью к рыбакам.

Предпринималось несколько попыток исследования гробницы, обнаруженной в Шринагаре: ее считают усыпальницей Иисуса. Конечно, может оказаться, что это просто могила какого-нибудь исламского святого или суфийского мастера; в этих домослаха нет особенной точности. Я видел гробницу своими глазами, хотя ее трудно найти и знают о ней немногие. Та часть Шринагара называется Розабал, а улица, кажется, Кханьяр.

Когда я впервые оказался у этой гробницы, был вечер, и в свете заката лица мужчин и детей на улице казались чем-то священным. Они походили на народ из древних времен; может быть, они принадлежали к одному из тех потерянных колен Израилевых, о которых говорят, что они переселились в Индию. Дети были одеты в длинные рубахи и носили грубо сработанные драгоценности, но ярче сияли их глаза. Место погребения расположено в постройке как раз на углу площади. Разувшись, я вошел и увидел чрезвычайно древнюю гробницу, окруженную каменной изгородью филигранной резьбы, а в стороне в камне был вырезан отпечаток ноги. Говорят, что это след Юз Асафа, а согласно легенде, Юз Асаф и есть Иисус.

На стене здания имеется надпись, а под ней перевод с шарды на английский:

YOUSA—ASAF (KHANYA, SRINAGAR)

Нижеследующее описание взято из книги, хранимой в Астане:

«Когда он создавал краткое описание места, называемого Свед Назаир—Удин—Мир, знаменитый историк Кашмира Хаджа Мохаммед Азан Дешмаридж, сказал так: “все говорят, что здесь был пророк, пришедший в Кашмир долгое время назад. То время

называлось временем пророков”. В другом месте этого короткого описания, озаглавленного Вакиати–Кашмир, историк говорит: “одним из главных принцев, пришедших в Кашмир и долго, дни и ночи, молившимся здесь, был Юз Асаф. Его могила возле Аунзимеда, в Кханья Мутва Назаир–Уд–Мир Розабал Кханьяр”».

Опустившись на колени для молитвы, я почувствовал, будто преклонил колени перед Гробом господним в Иерусалиме. И здешняя святыня казалась даже гораздо более подлинной, чем что–либо в Израиле: она безусловно была намного тише и величественнее, чем любая из святынь, впоследствии оскверненных торгашеством и склоками христианских сект. Более того, она помещалась в оправу живых образов прошлого — древние лица потерянных племен, глубокие глаза и острые профили.

Когда женщины пришли к гробнице, они не нашли тела. Иисус исчез, и, возможно, воскрес в Кашмире. Потом он явился своим ученикам. Может быть, его появление было проекцией ума — так он использовал науку Кашмира. В любом случае, сделав так, он придал новый импульс первобытному Мифу о распятом искомителе, который в свою очередь породил в Европе фантастическую мечту о Вечной любви.

Возможно, если бы нам пришлось открыть ту гробницу в Кашмире, мы бы тоже нашли в ней только пустоту. Ведь, не исполнив своей миссии на этой земле, Юз Асаф мог быть вновь распят в другой вселенной. В любом случае, его наука о Змее Атлантиды нашла здесь не больше понимания, чем миф о распятом искомителе.

XXVII

Свами Ашахабала

В лесу на пути к Пелгаму, недалеко от садов Ашахабала, живет свами по имени Ашокананда, его называют также Бабаджи. Я решил встретиться с ним и спросить о таинственном ашраме Гималаев, в надежде, что он подаст мне какой–нибудь знак, который поможет мне достичь цели и встретить учителей моего Наставника. Свами Ашахабала исходил все Гималаи от Калимпонга до Сиккима, и даже какое–то время жил в Гангтоке, столице Сиккима.

В ночь перед визитом, я всё так же отдыхал в своем плавучем домике; раскинувшись на подушках, я слушал мягкое бормотание ветра, влетающего в раскрытое окно, вдали слышался слабый плеск весел и песня лодочника. Уже находясь на грани сна, я подумал о свами, с которым мне предстояло встретиться. Мне рассказа-

ли, что он большой почитатель Иисуса. В полусознательной дреме, которая предшествует настоящему сну, я пригрезил, что беседую с ним, и задал вопрос: «Верите ли вы, что Иисус действительно существовал, или думаете, что он был только мифом?».

Потом, всё в том же полусне, я ответил сам себе от лица свами: «В той же мере, в какой мы имеем право сомневаться в его существовании, Иисус имеет право не существовать».

Этот ответ показался мне настолько необычным, что я тут же проснулся. Я сформулировал вопрос перед тем, как заснуть, но ответ пришел уже во сне. Я думал — имеет ли сам свами какое-либо отношение к этим словам, но потом догадался, что это были и не его, и не мои слова. Вероятно, ответ пришел из той области, где мы оба представляем одно, где нас нет — или оттуда, где мы пребываем с Иисусом.

День был ясным, но дороги пыльными, сады полнились шумным народом. Люди были одеты в наряды всевозможных цветов: красные тюрбаны, темные фески, каракулевые меховые шапки, желтые туники женщин, драгоценности и тяжелые браслеты. Через толпу почти невозможно было пробраться.

Свами жил уединенно, в самой глуши: на пути мне пришлось пересечь несколько глубоких оврагов. Время от времени я останавливался, вглядываясь в очертания гор и сосновых лесов, окружавших меня. Тысячи диких цветов ковром устлали землю и наполняли воздух ароматом. Наконец я оказался у незатейливых ворот, надпись на которых гласила «Шри Рамакришна Махасаммелан, Ашрам-Нагданди-Ашахабал».

Я прошел в ворота, спустился в овраг и взобрался по склону; отсюда открылся вид на группу незатейливых строений. Невдалеке, на ровном пятачке под огромным деревом виднелась странная недвижимая фигура, сидящая на матрасах. Я медленно приблизился и присев, стал наблюдать. Фигуру окружали полудикие голые люди, их длинные волосы, вымазанные засохшим коровьим навозом и выкрашенные шафраном, были похожи на львиные гривы. Тела были покрыты пеплом, и я предположил, что это ученики того, кто сидит, не шевелясь, в центре.

Красота медитирующего была необычайной, он будто воплощал в себе живописные изображения Христа кисти Эль Греко. Очень худой, он носил перекинутую через плечи мантию, его волосы двумя правильными косами падали на спину. У него был классический профиль с высокими скулами и огромные темные глаза — открытые, но тоже совершенно не-

движные. Было похоже, будто он просто смотрит на верхушки сосновой рощицы, качающиеся на ветру. Руки вяло лежали на коленях. Выражение распахнутых глаз было невероятным; взгляд его будто намертво зацепился за что-то. Чуть погодя я понял, что никакой пейзаж ему неинтересен, и на самом деле он не видит совершенно ничего. Я пережил то же жуткое чувство, что и в Ришикеше, когда наблюдал, как пробуждался из транса свами Сукхдевананда. Я вновь почувал ту же атмосферу подземной гробницы, взломанного саркофага, хранящего тела живых мертвецов, бродящих в областях за пределами этого мира. Тот же запах легендарного плода; и тот же запах смерти и погребальных одежд. Вдруг мне вспомнился мой сон, и я вздрогнул, подумав, что Христос мог выглядеть так же, когда его извели из гроба и везли через пустыни в древний Кашир.

Было душно, и ученики старательно обмахивали наставника веерами из павлиньих перьев. Потом я услышал, как он испустил слабый вздох, а глаза стали видеть, как будто раскрывшись в первый раз — хотя на деле они и не закрывались. Потом он глянул прямо мне в глаза; мне показалось, он видит насквозь, а взгляд его несет безутешную печаль в оправе нежности и сострадания. Это длилось всего мгновение, но я был глубоко взволнован. И в то же время атмосфера дряхлости и физического разложения пугала и отвращала меня.

С некоторым усилием я собрался с мыслями и тут заметил, как на лице свами Ашахабала появилась легкая улыбка. Потом он велел мне подойти и говорить. Теперь он почти полностью очнулся от транса, и мог уделить внимание посетителям и паломникам. Я рассказал ему о своем сне в предыдущую ночь. Он всё так же упирался взглядом в верхушки сосен, но в этот раз в его глазах светилось сознание. Его ответом было только:

— Некоторые верят в сны.

Ученики оставались безмолвны. Казалось, мы были совершенно одни, больше никто не приходил, а день должен был вот-вот догореть. Я глубоко вдохнул, ощущая аромат диких цветов и сосновой смолы, и заговорил снова:

— Вы были высоко в Гималаях. Скажите, не приходилось ли вам видеть некий тайный монастырь, один из тех ашрамов сиддхов, о которых упоминают древние тексты? Я пришел из далекой страны, чтобы отыскать монастырь, сохранивший старые науки и силы. Я думаю, такое место существует, но не знаю дороги туда. Можете ли вы направить меня?

Свами надолго задержался с ответом, будто сомневаясь в движущих мной побуждениях. Наконец он снова заговорил, а голос его был очень мягок.

— Твой сон любопытен. Как я сказал, некоторые верят в сны. В Бенаресе живет знаменитый писатель и мыслитель, Гопинатх Кавирадж; в одной из книг он упоминает очень древнее и таинственное учреждение, называемое Джнана Гандж. Я думаю, что учитель Гопинатха Кавираджа был посвящен в одном из этих тайных ашрамов в Гималаях. Возможно, будет лучше, если ты увидишься с ним, и спросишь его. Тебе лучше отправится в Бенарес.

XXVIII Пещера

Прежде чем последовать совету свами Ашахабала и посетить Гопинатха Кавираджа, я хотел отправиться на север, на гималайские высоты, и в особенности — увидеть Амарнатх, святилище лингама Шивы. Потому сейчас я направлялся в Кашмир.

В проводники я взял Камалу, рослого мусульманина с орлиным профилем и смысленным, доброжелательным взглядом. Мы решили идти через Пахалгам, деревню в тридцати милях от Шринагара — именно из нее обычно отправляются паломники в Амарнатх. Первую ночь вне города я спал в палатке, очень похожей на те, что, должно быть, использовали и Бабар, и Чингисхан. Мы разбили лагерь на берегу реки; как только забрезжило утро, я встал, чтобы осмотреть пони и состояние моего каравана. Моханду — лаларогам, человек, должный смотреть за пони; Абдула — юнец, помогавший ему, и Абдалгани с лицом дьявола, назначенный отвечать за провизию. Исполнявший обязанности проводника Камала был назначен еще и поваром.

Из Пахалгама мы вышли затемно, горы и леса, окружавшие нас, оставались невидимы. Первую остановку мы сделали в Чанданвари, всего через семь миль, но добрались мы до туда лишь около полудня. Вместо того чтобы передохнуть там, мы решили поторопиться, чтобы к ночи успеть к озеру Шешнаг — нам предстояло пройти еще шесть миль. Дорога становилась всё круче, идти было всё труднее. Иногда я ехал на пони, но чаще шел пешком, как и большинство индусов-паломников, шагавших по той же дороге с походными посохами. Знаки на их лбах отмечали принадлежность к последователям Шивы. Они шли целыми семьями, с женщинами и детьми, а стариков

несли в особых паланкинах, называемых данди. Сцена эта выглядела почти библейской. Где-то на пути я заметил и группу магометан, взбиравшихся на огромную скалу у речного берега; чтобы найти опору, мужчины хватались за ветки приземистого кустарника, и тогда помогали многочисленным женщинам и детям. Все мужчины были одеты в тюрбаны и длинные плащи разных цветов, а лица женщин были скрыты. Пока они одолевали свой непростой подъем, расходился ветер, развевая их одеяния, а браслеты на запястьях и лодыжках мелодично звенели. Некоторые были босоноги, но большинство обулось в крепкие башмаки с длинными загнутыми носами. И сам я, и мои компаньоны были обуты так же, еще у нас были пулы — крюки, чтобы цепляться за лед. Бороды мусульман и их одежды хлопали на ветру; все они оставили нас еще до того, как мы достигли Шешнага. Конечно, им было не по пути с паломниками-индусами, стремящимися в Амарнатх.

Считается, что Шанкарачарья построил все места паломничества в Индии, раскинувшиеся по всему континенту от Гималаев до мыса Коморин. Вероятно, он полагал, что само совершение паломничеств придаст Индии определенное религиозное и политическое единство. В любом случае, год за годом, индусы с севера спускаются на юг, чтобы совершить омовение в водах трех древних морей, сливающихся у мыса Коморин, а дравиды с юга поднимаются до снегов Гималаев в поисках святилищ Шивы и Вишну. Не имея единого языка, разделенная глубокими политическими противостояниями, Индия объединена только социальной системой и религией Хинду. Никто не знает, что произойдет, когда технологическая революция окончательно растворит древнюю теократическую структуру. Неясно, найдется ли новый элемент, столь же влиятельный, сколь и древняя духовная традиция индуизма, способный удержать вместе разнообразные регионы Индии, сохраняя подспудную связь.

Пока мы одолевали подъем, река спешила вниз по все более крутым косогорам, пробивая русло среди массивных льдин. Всякий раз, как я пил из реки, зачерпывая воду пробковым шлемом, я замечал, насколько холоднее она делается. Наконец, мы достигли очень крутого обрыва, одолеть который нам предстояло по изгибающейся зигзагами тропке, проходящей через сосновый лес. Это место носит имя Писсу Шати. В Гималаях растительность взбирается на внушительные высоты,

в отличие от почти голых Анд. И гималайский воздух тоже далеко не такой разреженный, как в Андах.

Всё же, восхождение было чрезвычайно сложным. Со всем небыстрым шагом я пробирался вперед, почти не замечая ни драматичных перемен ландшафта вокруг, ни даже реки Лиддер в шестиста метрах под нами. К этому времени мы поднялись с двухсот семидесяти до трех тысяч шестиста метров, и лошадкам приходилось останавливаться едва ли не на каждом шагу. Наконец, мы достигли вершины; оказалась, что она сплошь поросла мелкими светло-голубыми цветочками — казалось, в полуденном свете порхают мотыльки.

Тени стали уже очень длинные; на вершине обосновались группы паломников, решивших остановиться тут на ночь. На валуне у края бездны стоял монах в шафрановой мантии, опираясь на посох и вглядываясь в краски заката. Он был совершенно поглощен молитвой, или, может быть, мечтами, а тело его, как лист, трепетало в порывах ветра.

Наконец, уже в темноте мы подошли к озеру Шешнаг. Растительности здесь, на высоте четырех километров, не было совершенно, и соседство ледяных пустошей ощущалось очень явственно. На берегу озера уже была чья-то стоянка, я смог лишь смутно разглядеть очертания нескольких палаток, слышать звон колокольцев и блеяние мулов. Время от времени я улавливал и голоса, настойчиво повторявшие громкие слова молитвы. Язык был совершенно диковинным, я уверен, что никогда прежде не слышал ничего подобного.

В свете костра мои компаньоны поставили палатку, и Камала приступил к приготовлению ужина. Между тем я прошел к берегу озера, желая застать восход луны над горами. Я ждал долгое время, но ничего не происходило; наконец, бледно-серебряный свет, озаривший ледяные пики, пролился на озеро. Это зрелище ошеломило меня. Эту же самую сцену я видел раньше — на краю мира, в Антарктике. Такое же озеро — оазис, скрытый посреди ледяных пустошей. Луна мягко и безмолвно проливали сияние на глетчеры, окружавшие озеро, а льдистые вершины гор, казалось, излучают уже знакомую мне полярную ауру вечности и смерти. Она окутала весь пейзаж передо мной, ласкаясь со сверхчеловеческой любовью, делая вид чрезвычайно соблазнительным, рождавшим глубочайший интерес. Величайшая тайна сохранялась. Для чего я пришел на эти странные высоты? Кто побудил меня взбираться по ледяным тропам? Воды

озера оставались недвижимыми, не подав совершенно никаких знаков, лишь отражая неземной свет луны.

Наконец я возвратился к палатке. Повсюду вокруг паломники пели старые песни южных долин и пустынь центральной Индии. Нужна храбрость, чтобы петь на этих мертвых высотах, где песни могут внимать только боги олимпийского льда.

Проснулся я в четыре утра. Луна уже скрылась, и было совершенно темно; но мы должны были начинать последний этап путешествия к Амарнатху. Холодный и пронизывающий ветер заставил меня плотно укутаться пледом. Камала сообщил, что остается здесь, а моим новым проводником будет погонщик пони Моханду. Так вчетвером мы прошли два или три часа в совершенной темноте, но примерно к семи первые лучи солнца показали над склонами: уже совершенно голыми, безо всякой растительности. Время от времени я замечал мохнатых зверьков, провожавших нас взглядами круглых глаз и пронзительно посвистывавших — это были сурки. Солнце поднималось выше, и воздух потеплел, так что я смог, наконец, сложить плед, хотя каракулевою шапку предпочел не снимать. Как раз перед полуднем мы взобрались на плато со множеством родников. Обычно караваны останавливались здесь на ночь, но я торопился к вершинам. Мы задержались только чтобы напоить пони. Я заметил группу босоногих горских женщин, спустившихся к нам навстречу. Их потрепанные непогодой лица выглядели уставшими, но глаза были полны любопытства. Наконец, мальчик Абдулла справился с водопоем и, подойдя к одной из лошадей, поцеловал ее в лоб. Мы пустились галопом, потому что должны были достигнуть Амарнатха ранним вечером.

Вскоре мы приблизились к высочайшей точке нашего путешествия, перевалу Махагунус, лежащему на высоте приблизительно четырех с половиной километров. Здесь пони должны были идти осторожно, подъем был очень сложным. Мы встретили еще одну группу горских женщин, собравшихся у камней в стороне от тропы, так же следивших за нами любопытными взглядами. Абдалгани дал мне луковичку, объяснив, что она полезна для пребывающих на высокогорьях. Он забыл, что я привык к разреженному воздуху в Андах.

Но худшая часть путешествия всё еще ждала нас впереди. Тропа становилась всё круче и уже, огибая высокий пик — с другой стороны открывался крутой обрыв в несколько километров высотой. Здесь Моханду остановил пони и знаком велел

спешиться: продолжать подъем верхом было невозможно. Отсюда нам нужно было шагать пешком, и само восхождение было пугающим. Я избегал того, чтобы смотреть в бездну, боясь приступа головокружения, и зная, что запросто могу погибнуть, один раз неловко поставив ногу. Неожиданно я увидел группу мужчин, спускавшихся нам навстречу. У них были длинные бороды и красные мантии, в руках они держали походные посохи. Они спускались так стремительно, что казалось, просто скользили по поверхности; их лбы были отмечены горизонтальными белыми линиями, что отмечало их принадлежность к культуре Шивы. Не приложу ума, как они прошли мимо меня, ведь ширины тропки едва хватало для одного человека. Но всё же, как-то они прошли по краю пропасти, я успел заметить только их застывшие и остекленевшие взгляды. Еще они показались безмерно радостными: ведь они возвращались из Амарнатха, и, спускаясь с горы, распевали санскритские имена Бога: тысячу и одно.

Наконец, в последнем усилии мы одолели еще один поворот и прошли перевал, оказавшись на противоположном склоне горы. Теперь нам предстояло пересечь поля глетчеров. Лед сверкал под солнцем, воздух был чист и тонок. Чуть погодя мы встретили еще одного странного незнакомца, очевидно, свами; у него была кудрявая борода, а одет он был в мантию шафранового цвета. Когда он увидел, с каким трудом я шагаю по глетчеру, он приблизился и, ни слова не сказав, помог мне. Мы приближались к лику горы, теперь вздымавшейся прямо перед нами. Вскоре я стал различать нечто: будто бы тень на ее склоне — это и была пещера Амарнатх, легендарное святилище Шивы. Мы подходили ближе, и воздух, казалось, наполнялся множественным острых вибраций, будто звоном тысяч невидимых колокольцев. Тогда я заметил похожих на голубей птиц: они порхали у входа в пещеру, а потом полетели нам навстречу, будто радуясь нашему прибытию. Я стал чувствовать облегчение, будто вес моего тела исчезал. В ярком свете солнца снег оживал, и произносимые святым мантры резонировали в окрестных просторах.

У входа в пещеру располагалась группа брахманов-швиваитов, чьим долгом было охранять ледяной лингам и оберегать великую тайну культа. Я почтительно приветствовал их, и прошел в святилище. Пол был устлан лепестками цветов, а воздух будто загустел от дыма благовоний и курений сандалового дерева. В середине вздымался гигантский белый сталагмит, подобный внезапно застывшему столпу пламени. Он воплощал фаллос Шивы, возникающий из йони, вагины Парвати — жены

Шивы. Но образ этой пещеры восхвалял не просто сексуальность, и даже не творение. Он, конечно, воплощал и эти силы, но прежде всего, представлял собой Абсолют: несмотря на действие творения, участвующие в нём силы сливались в цельности, исключающей смерть. Лингам Шивы бесконечные века дыбился в йони его супруги, и эта пара составляла единство, столь же древнее, как и священная гора, укрывшая их.

Итак, то же таинство пещеры Элефанты в бомбейской гавани повторилось и в льдистой пещере Гималаев. Здесь, в главном зале Дворца на вершине Древа Жизни, встретились двое и заключили друг друга в объятия. Они искали друг друга так долго, и, наконец, сошлись вместе. Их радость так велика, что они плачут от счастья, и слезы их становятся сталактитами и снежными лепестками пещеры Амарнатх.

Стоя посреди пещеры, я забормотал древние слоги, всегда спавшие во мне, но оживающие перед лицом примордиальных символов. Я бормотал также годы назад, стоя посреди снежных пустошей Антарктики.

Один из жрецов храма провел по моему лбу палочкой сандалового дерева, изобразив три параллельные линии, знак культа Шивы. Я повернулся и хотел уйти, но у выхода кто-то, укутанный в меха, схватил меня за руку и лихорадочно выкрикнул:

— Кайлас! Кайлас!

Потом он указал в направлении каменной стены, окружавшей овраг, показывая, что за ней лежат трансгималайские плато и Тибет.

Как и всё, произошедшее здесь, действия этого человека выходили из ряда вон, но в то же время, с чрезвычайной точностью вписывались в окружение. Я думал, будет ли та пещера, в которой обитают учителя моего Наставника, подобна Амарнатху, и воображал, что она также освещена льдистым светом — белым солнцем потрясающего бога, неизменного в творении и разрушении, любящего и ненавидящего без малейшей тени эмоций.

Как говорят, Ледяной лингам в Амарнатхе изменяет размер согласно циклам роста и убыли луны. В полнолуние этой ледяной фаллос достигает пика эрекции; тогда гигантский сталагмит вздымается в темноте пещеры, пытаясь достичь сводов, будто доходя до пределов собственной вселенной, заполняя сомкнутый купол собственного творения. Тогда холодный пламень вибрирует в сердце льда, в безмолвии, как это было тысячи лет — с тех пор, как восстали горы и воды отхлынули с лика земли.

Нет ничего более глубокого, и в то же время хрупкого, чем лед, который, на самом деле — конфликт элементов, и в недрах его заключен таинственный сверкающий огонек. Достичь белоснежного центра — значит умереть, и возродиться в совершенной безмятежности. На это представление опирается весь свод индуизма, и так оно выражено Гималаями и Ледяным лингамом, вздымающимся в центре их вихря.

Лингам, фаллос, представляет собой творящую и разрушительную силу индуистского бога Шивы. Храмы Шивы в Индии всегда ориентированы на запад, поскольку Шива означает заходящее солнце и приближение ночи. Шива всегда действует ночью, и его цвет — цвет пепла. В Индии каждый бог имеет супругу, воплощающую женский аспект, негативный полюс творения. Так, по всей Индии почитается йони, вагина супруги Шивы Парвати; и от высот Гималаев до оконечности полуострова на юге, во всех главных храмах ее чтят вместе с лингамом Шивы. И несмотря на видимую двойственность, Шива и Парвати на самом деле — одно; все боги хинду андрогинны, как и статуя в пещере Элефанты.

Медленно, одиноким паломником, я продолжал продвигаться на своем пути. Задача истощала меня, и мне казалось, я чувствую тяжесть веков на своих плечах; нестерпимую, потому что я даже не был уверен в том, что во что-то верю. Я продолжал двигаться просто потому, что продолжали шагать мои стопы, и просто потому, что пройдя столь долгий путь от льдов Антарктики, до сих пор не достиг высот горы Кайлас. Тропа была одинокой и ужасающей, и я мог лишь представлять, сколь многие прошли здесь до меня, чтобы погибнуть в пути. И всё же, я продолжал идти, неся в собственной голове взгляды тех, кто умер раньше меня, особенно взгляд мертвой девушки. Так я шел, не совсем одинокий, но со спутниками из далекой земли, надеясь, наконец, достичь вершины Древа Жизни и снова воссоединить себя с мертвыми друзьями и с собственной душой.

Я знал, что должен найти этот центр, ашрам сиддхов, на мерзлых пиках, посреди собственного сердца, в обледенелом пламени, горящем там. Ведь тогда, и только тогда я смогу овладеть наукой, что позволит мне пройти от мозга к той области пустоты, зияющей под сводом черепа, и только оттуда я смогу совершить прыжок. До сих пор даже знаки, данные мне Наставником, не помогли достичь этой цели. И когда Змей пробуждал цветы души, и чудовищные вибрации их лепестков достигали моей головы, что-то всегда задерживало их там, некое непреодо-

лимое препятствие не позволяло Змею достичь пустоты на вершине Древа, исчезнуть в пещере, где слились бы вечные любовники. Цветы не источали аромат; сын смерти еще не был рожден; и лингам и меч еще не были вбиты в крышку гробницы.

XXIX Атлантический Христос

Ранее в этой книге я уже указывал на то, что в Индии важна не история, но легенда, поскольку в подернутых туманом тысячелетиях индийской истории нет ничего достоверного. Потому любые попытки отыскать правду вскоре устремляются к мифическому сознанию Индии. На самом деле, то же верно и для всего Востока в целом: суть правды обнаруживается лишь в предпосылках к фактическим событиям, но никак не в самих фактах. При этом индус также и реалист, и чрезвычайно практичен — а мифический образ действия обусловлен тем, что его миф реальнее самой реальности. Здесь, для того, чтобы быть подлинным, предмету нужно быть мифическим. Чтобы обрести действительное значение, Христос должен был никогда не существовать. Индус не примет фактического или исторического Христа, но он примет то, что стоит за фактами.

Поэтому, для того, чтобы написать аутентичную книгу об Индии, сообщить нечто значимое и фундаментальное (особенно теперь, когда издано уже так много книг), необходимо признать приоритет мифа перед историей. О фактической истории Индии не известно практически ничего. Никто ничего не знает о Мохенджо-Даро и его основателях; неясно, были ли они чужеземными захватчиками, или с давних веков жили здесь. Более того, их развитая ирригационная система и методы торговли не имеют ничего общего с тем индийским темпераментом, который стал нам знаком с началом исторических времен. Пришли ли народы Индийской цивилизации из Ирана или из Анатолии — никто не знает; единственное, что известно наверняка — был бог; мы видим его на печати, изображающей Шиву и его быка, Нанди. При этом никто не знает, развились ли образы Шивы и Нанди на основе местных верований, или были привнесены на Индийскую равнину извне. Никто не знает, откуда взялись дравиды и арии, никто не знает, когда они появились здесь. Некоторые историки склоны объяснять успех

арийских вторжений приручением лошади. Но всякая теория остается только предположением.

Итак, я позволил себе погрузиться в мечту; я смешал факты с легендой, потому что верю, что в мифе больше правды, чем в статистике или в претенциозных заявлениях археологов, антропологов и геологов. Почти любое высказанное антропологом мнение может быть обесценено новым открытием, и чаще всего это открытие совсем незначительное — какой-нибудь новый комплект костных останков, доказывающий, что человек миллионы лет присутствовал в некоторой части света. А предельно серьезные карьеры геологов легко превращаются в абсурд после единственного сейсмического толчка, заставляющего один остров исчезнуть, а другой подняться из глубин, где он скрывался целую эпоху. Кроме того, расшифровка памятников письменности Мохенджо-Даро или Говорящих скрижалей острова Пасхи может запросто опровергнуть предшествующие заявления археологов. Сама наука обесценит научные данные, если с развитием космических путешествий окажется возможным спроецировать на экран свет звезды, или тот свет, который излучает, перемещаясь в пространстве, сама Земля, и наблюдение за этим светом позволит получить ясное представление об истории создания космоса. Посредством межзвездных перелетов может обнаружиться жизнь в других мирах, и на других планетах можно будет увидеть повторение истории Земли — так что космос окажется последовательностью, системой бесчисленных зеркал. И, например, история распытия может оказаться космическим мифом.

Встав на колени перед гробницей Юз Асафа в Кашмире, я молился так же, как перед настоящей могилой Иисуса. Я знал, что его там не было и не могло быть, и я начал осознавать, что, возможно, он никогда не был ни в Иерусалиме, ни в каком-нибудь другом месте.

Я уже упоминал легенду, согласно которой десять потерянных колен Израилевых пришли в Индию. Вначале было двенадцать племен, два из которых были племенами Иуды — именно их потомки сегодня и известны как евреи. Никто не знает, что же случилось с остальными десятью. Возможно, они были ассимилированы в северо-восточных областях Африки, где до сих пор живут племена, сохраняющие традиции Ветхого завета; возможно, они ушли в Абиссинию, где император Хайле Селассие называет себя прямым потомком царя Соломона и царицы Савской. Кажется, единственные достоверные потомки

потерянных колен Израилевых — Бене Израиели, бомбейские «Сыны Израиля». Перепись 1951 года показала, что из общей численности населения на субконтиненте в 357 миллионов, евреев всего 25 801. Этим индийским евреям никогда не были присущи качества, характеризующие еврейских торговцев во всём остальном мире, и, наверное, по этой причине Индия никогда не знала проявлений антисемитизма.

Первая многочисленная группа евреев появилась в Индии в 70 году нашей эры, после разрушения второго Храма. Они причалили в юго-западной части Индии, теперешней Керале. Эта область, ограниченная Аравийским морем, была легендарным Офиром, откуда царю Соломону доставляли слоновую кость, сандаловое дерево, павлинов и обезьян. Храм Соломона был украшен сандаловым деревом из Малабара, а израильские и арабские купцы часто снаряжали караваны в Индию.

Вторая волна евреев прибыла в Индию в четвертом столетии, а последняя — на протяжении восемнадцатого-девятнадцатого веков. Это были сефарды, спасшиеся от преследований испанской инквизиции, пройдя пустынями Ирака и Йемена. По большей части, они обосновались в Калькутте, но когда в 1947 было основано государство Израиль, многие переселились туда, поскольку не сумели вжиться в бенгальский средний класс. Впоследствии некоторые вернулись в Индию, а другие отправились еще дальше: в Австралию, Англию или Соединенные Штаты. Евреи Калькутты так никогда и не научились языку бенгали, хотя бомбейские евреи говорят на мараathi, а в Кочине и Керале знают малаялам.

Когда евреи впервые оказались в Керале около двух тысяч лет назад, они отправились в Тируванчикулам, столицу древних императоров Перумала, сегодня известную, как Кранганор. Они добились приема у императора, давшего им земли возле южной деревни Парур — там они обосновались, построив жилища и синагоги. Три сотни лет спустя император даровал Иосифу Раббану, главе еврейской общины, титул Шринадан-Моплах, и включил его в круг придворной знати. В общем, евреев называли Анджуварнар, что означает «пятая каста» — в дополнение к четырем кастам индуизма. Приказ императора о создании титула для Раббана был согласно обычаю вырезан на медной пластине, написанный древним языком ваттезхуту, распространенным в южной области Танджавура.

В Кочине, в штате Керала, существуют две еврейские общины, занимающие две отдельные улицы и молящиеся в разных синагогах. Они известны как белые евреи и черные евреи. Черные — это, несомненно, те, что прибыли после разрушения Храма, и те, которым была дана земля у Парура. Они носят местные одежды и также темны, как и дравиды, так что их почти невозможно отличить. Белые же — прибывшие в поздние века; они одеваются на западный манер, а их дома выстроены в голландском стиле семнадцатого столетия, и даже в синагогах помещаются голландские канделябры. Голландцы, так же как и португальцы до них, некоторое время обживались в Кочине.

Эти две группы евреев практически никак не общаются, и белые обычно смотрят на черных свысока; они утверждают, что на самом деле, черные вовсе не пришли после разрушения храма. Если бы это заявление оказалось верным, пришлось бы искать какое-то иное объяснение приверженности черных евреев иудаизму. Если на самом деле они — уроженцы Индии, обращенные в еврейскую религию, то случай этот представляет большой интерес, поскольку иудаизм, в общем и целом — не та религия, которую можно легко принять. Подобно брахманизму, иудаизм коренится в крови народа Израиля. Точно так же и брахманизм основан на касте брахманов, и никто, кроме принадлежащих к этой касте, кшатриям или вайшьям, не может быть индусом. Миссионерство для этих религий просто не имеет никакого смысла.

Белые евреи Индии никогда не могли полностью ассимилироваться, и им никогда не удавалось оказывать такое влияние на национальную общность, какое они возымели практически в каждой стране, где оказались. Сложность, с которой они столкнулись в Индии, заключается в том, что индуизм имеет в точности ту же расовую теократическую основу, что и иудаизм. В результате, он являет собой закрытую сферу, проникнуть в которую евреи не сумели.

Есть еще и такая теория: еврейская раса зародилась в Индии столетия назад. Евреи якобы принадлежали к расе дравидов. Как и цыгане, принадлежавшие к низшей касте индуизма, они будто бы оставили Индию и мигрировали на запад. Чрезвычайно упорное самосохранение еврейской общины может быть основано на кастовой системе хинду. Как и цыгане, евреи обычно не смешиваются с другими народами, и причиной может быть подспудная память о кастовой системе прародины. Таким образом, возвращение еврейских общин в Индию

в последующие века можно уподобить паломничеству парсов, возвратившихся к корням, лишь повинувшись чутью инстинкта.

Эта теория переплетается с легендой об Иисусе Христе, пришедшем в Индию после того, как в возрасте тринадцати лет он был потерян в Храме. Здесь Иисус провел семнадцать лет, после возвратившись туда, где он был рожден, чтобы проповедовать учение спасения, и объявить себя Сыном Бога. Идея божественных воплощений веками была распространена в Индии, и, стало быть, слова Иисуса никого здесь не удивили бы. Вишну, Шива, Рама, Кришна и Будда — все они были перевоплощениями, или аватарами Единственного Бога, и даже сегодня некоторые утверждают, что живого бога можно найти в ашраме Сивананды в Ришикеше.

Христос принадлежал к секте эсенов, и Иоанн Креститель тоже входил в их число. Иоанн крестил Христа в реке Израиля, и этот обряд очень схож тем, что до сих пор практикуется индусами, совершающими омовения в священных реках Индии.

Далее легенда говорит о некоей книге в ламаистском монастыре близ Химис, на границе Тибета и Индии. Говорят, что в этой книге описана жизнь Иисуса в Индии. Часть книги будто бы написана самим Иисусом, и содержит объяснение его учения. Книга предположительно содержит четырнадцать глав и двести сорок четыре шлоки. История Иисуса также отражена в любопытной рукописи, называемой Натх Намавали, сохраняемой саддхами йоги Натх, в горном массиве Виндхья. Текст этот утверждает, что Иисус, или Ишаинатх (этим именем он обозначен в тексте), пришел в Индию в возрасте четырнадцати лет и после шестнадцати лет сосредоточения постиг Шиву как великого бога. Тогда он возвратился в свою страну и стал проповедовать. Но вскоре ограниченные и бездуховные соотечественники сговорились против него и распяли. После распятия, а может, и до него, Ишаинатх посредством йоги вошел в состояние самадхи, или глубочайшего транса. Евреи же сочли его мертвым, и похоронили в гробнице. Но в это время один из его гуру, учителей, великий Четан Натх, пребывал в глубокой медитации в нижних пределах Гималаев, и в видении узрел те муки, которым подвергся Ишаинатх. Тогда его тело стало легче воздуха, и он перенесся в земли Израиля. День его прибытия ознаменовался громами и молниями, потому что боги были разъярены, и весь мир трепетал в страхе. Четан Натх извлек тело Ишаинатха из гробницы и вывел его из самадхи, а позже увел в святую землю ариев. Далее легенда рассказывает о том,

как Ишаинатх построил ашрам в нижних областях Гималаев, возможно, в Кашмире, и там основал культ лингама и йони. Наконец, в возрасте сорока трех лет Ишаинатх добровольно оставил свое тело, научившись владеть им посредством йоги.

«Песня йога», которую распевают йоги Натх, также упоминает об Иисусе и Иоанне Крестителе. Вот некоторые ее строки:

«Друг мой, в какой край отправился Ишаи

в какой край ушел Иоанн?

Друг мой, где гуру всех гуру, и где покоится твой ум?

Друг мой, Ишаи ушел в Аравию, а Иоанн в Египет.

Друг мой, Ишаи — гуру всех гуру.

Ум йога покоится лишь в йоге».

В этом странном документе Иисус назван Ишаи Натх, евреи называют его Иешуа. То же слово в греческом — Иссоас, а в индийском — Иешаи или Иша, что значит «бог».

В Пуранах есть такой стих: «когда я найду святой образ Иешаи [Бога] в моем сердце, имя мое будет провозглашено на земле как Иеша Маши [Мессия]». Сегодня христиане в Индии называют Христа Иеша Маши на языках хинди и урду. Имя Христа в Тамиле — Кесава Кришна.

Слово «эссены», кажется, не имеет точной этимологии. Тем не менее, братство эсенов было подобно йогам Индии: они надеялись обрести единство с божеством и «духовный дар» посредством уединенных медитаций. Слово «эссены» могло произойти от чужеземного произношения индийского «иешани». Иешан — это Шива, а иешани — те, кто почитает Иешана.

Так, Христос это и Шива, и Кришна, а поскольку Шива и Кришна — одно, едины Отец и Сын. Иисус, Шива, Христос Атлантиды, Змей Рая, Пернатый Змей, который вернется как Кетцалькоатль из глубин моря — все они одно. И тогда, учитель моих учителей — тоже Иисус, как утверждает песня йогов Натх; это он — тот, кого я так отчаянно ищу с самого детства во льдах и горных высотах: Иисус, Христос Атлантиды.

Предание о Христе совершенно мифическое. Происходит оно из Индии, и, распространяясь на запад, сгущается и обрастает напластованиями под воздействием иной ментальности. В Индии Миф по-прежнему текуч и полон жизни, на Западе же он стал жестким, и даже хрупким — и теперь, если человек не сможет вновь оживить его и растворить артритную накипь догмы,

всё будет потеряно. Христианство, учение о воплощенном Боге и таинстве воскресения, балансирует на грани исчезновения — оно должно быть пересмотрено в новом свете, более соответствующем времени. Такое деяние станет обращением к первоисточнику, который находится не в Иерусалиме и не в Риме, но в Индии, и еще дальше — в Атлантиде. Нужно преодолеть внимание к «историческому» Христу; важным является Миф, потому что он имеет отношение к каждому из нас. Это мы должны быть тем Христом, что попирает смерть; мы должны пережить этот опыт, чтобы родится снова подобно брахманам Индии, «дважды рожденным». Этот мистический Христос Атлантиды — также и Христос Южной Америки и моей страны, Чили. Он присутствует во всех древних землях, где есть высокие горы, которые никогда не были поглощены водами Потопа. Он присутствует во всех землях, всё еще испускающих божественный свет, и всё еще вибрирующих памятью прошлой славы.

Следующая эпоха будет эпохой Святого Духа; это будет эра богочеловека, человека крылатого, человека воскресенного телесно и сопровождаемого своим животным. Это эпоха воскресения в плоти; никто не войдет на небеса без своего физического тела.

В Индии у всех богов есть звери, на которых они ездят. У Шивы — бык по имени Нанди; у Вишну — Гаруда, получеловек-полуптица; у Картикейи, сына — павлин. У Брахмы тоже есть свой зверь, черепаха.

Этот новый рай будет открыт и для растений и минералов; дерево войдет вместе с крестом, золото, нефрит и ртуть тоже будут там.

На этих страницах я упоминал об Атлантиде, и теперь пришло время объяснений. Атлантида — это отдаленное прошлое; это пролог к человеческой истории, безвременное время, само по себе не имеющее истории. Это мечта о Рае; это основание всех мифов, всех снов и воспоминаний. Атлантида предполагает, что было время, когда люди были богами; однажды было счастье и цельное существование; был остров и оазис, где любовник и его возлюбленная жили вместе. На самом деле Атлантида не имеет никакого географического расположения; это просто место над водами, помещающееся в беспространственном пространстве, в квадратном круге; это полость, существующая между мозгом и сводом черепа, живая пустота.

Таким образом, представление об Атлантиде изначально должно было быть внутренним; уже потом оно могло быть

проявлено вовне, как и любое представление может быть выражено снаружи. Снаружи мы видим то же, что имеем внутри, но Атлантида — это обоюдная цельность. Металлы, растения и животные — только символы, представляющие силы в теле человека, которое есть микрокосм, в точности отражающий макрокосм; человек — это образ Бога или даже сам Бог. В Атлантиде, которая также есть Рай, животные жили в мире с человеком; они были друзьями, потому что помещались внутри человека, а не снаружи, и тоже было верно для металлов и растений. Это были эмблемы, знаки зодиака. В каждом уголке небес, которые сами по себе являются отражением тела человека, был зверь, растение или минерал, представляющий частный тип сознания, бывший человеку «другом». Каждый из них существовал с человеком в мире, и земные звери тоже были дружелюбны. Но когда человек утратил целостность, животные, растения и минералы разбрелись своими путями, и обратились в его врагов. Тогда тигр пожрал, лев зарычал, и только собака осталась с человеком в его одиноком паломничестве. Этот акт разделения был разрушением тела сына. Это была безбрежная трагедия затопления Атлантиды и утраты Рая.

Поскольку человек разделен, и живет вовне цельности и единства, он рождается под влиянием частного созвездия, и управляется частным животным, которое может служить ему или быть враждебным. Следствием эпохи Святого Духа, или Великого Воскресения, будет обратное включение всех этих зверей, растений и минералов в человека — никто не останется снаружи. Это будет эпоха Его–Ее, когда, наконец, собака, дерево и камень заново обретут единство и воплотятся в цельности Христа Атлантиды.

XXX Взгляд снаружи

Однажды мне приснилось, будто я умер. Я сидел на дороге, скрестив ноги в позе лотоса, и пытался медитировать, сосредотачивая взгляд на точке между бровями. Но, хотя я прилагал огромные усилия, ничего не выходило. Тогда появился некто, проходивший мимо. Он остановился и стал смотреть не меня. Потом, улыбнувшись, сказал: «Чего ради ты делаешь это, если ты мертв? То, что ты делаешь, можно сделать лишь в жизни, которую ты только что оставил — жизни в теле. Теперь ты должен сосредотачиваться вовне; ты должен смотреть на свое тело снаружи».

Сон этот произвел на меня значительное впечатление, и я долгое время пытался угадать его значение.

Чтобы проникнуть в это таинство, чтобы чуть отодвинуть завесу, отделяющую нас от величайшего из всех неизвестных — от смерти — необходимо получить представление о йоге, чтобы воспользоваться мистическим языком ее аллегорий. Есть семь чакр: лотосов, центров психической энергии и сознания — расположенных вдоль невидимого хребта тонкого тела. Каждая имеет собственный цвет, слоги, символическое животное и божество. Так, муладхара в основании хребта — красный лотос с четырьмя раскрытыми лепестками. Вокруг нее в три с половиной оборота обернулся Змей Кундалини.

Психические каналы, называемые нади, пронизывают тонкое тело, наиболее важные из них — пингала, ида и сушумна. Сушумна проходит вдоль хребта, а ида и пингала — слева и справа от него. Нади и чакры имеют смысл скорее как явления тонкого плана и духовности, а не физические нервы, узлы и сплетения.

Сушумна — это путь, по которому продвигается Змей Кундалини, как спящая красавица бредет через лес. Ида и пингала в какой-то момент сливаются, а их свадьба благословляется сушумной в храме манипуры-чакры в области пупка, и все три объединяются, позволяя Змею Кундалини достичь аджны-чакры — пространства между бровями. У этой чакры всего два лепестка, и здесь обитает Вечный любовник, способный помочь нам в достижении небес. Здесь Данте встречается с Беатриче, и здесь она ожидает нас. Одетая в белую мантию, она за руку проводит нас по последним ступеням, отделяющим от небес; она ведет нас к трону, к коронарной чакре, называемой Сунья или пустота. Эта чakra — Брат безмолвия, Сунья-Бхаи, Гермафродит. У нее тысяча лепестков, на ней написаны все существующие буквы и все мантры; это ОМ. Достичь этой последней ступени — почти невозможная задача, и много лет назад я едва не умер, пытаясь исполнить ее. Вероятно, тогда мне не доставало помощи Вечного любовника.

Всякий, пришедший к Великой пустоте, достигнув таинственной полости, которая, как говорят, помещается между мозгом и сводом черепа, всякий, кто превосходит рациональное сознание и подвигается ближе к Коллективному бессознательному, приобретает светящийся нимб вокруг головы, или протуберанцы Будды, или рога Моисея Микеланджело. По достижении этой финальной стадии, наверное, удаляется и Вечный любовник, оставляя лишь единство или великую пустоту, подобную нирване.

В этом действе есть таинство: хотя Змей Кундалини взбирается вверх по хребту, он вытягивается лишь вполовину своей длины — другая половина остается свернутой у основания. Так, он подобен либидо в состоянии одновременного покоя и возбуждения. Он и жив и мертв, творя и растворяя одновременно. Подобным же образом те, кто достиг освобождения, продолжают мирскую деятельность, и Будда, достигший нирваны, остался влиятельной земной силой.

Символизм йоги устремляется к цельности; он объединяет всё, включая землю и небо, животных и богов. Это образ Вселенной. Рассмотрим, например, символизм пингалы: узкого канала, расположенного по правую сторону от позвоночника. Его представляют красным, поскольку это цвет солнца — и мужественности. Ида, проходящая слева от хребта, имеет бледный цвет луны — это женственность. Вместе пингала и ида составляют кала, или время. Сушумна — канал, проходящий в центре хребта, разрушает время, потому что сушумна представляет собой тайную тропу к безвременью. Пингала — это также река Джамна, ида — Ганга, и сушумна — Сарасвати, три священные реки Индии. Они также — три древних моря, что встречаются на крайнем юге Индии у мыса Коморин, где почивает Канья Кумари, принцесса-девственница. Эти три течения, в сопровождении таинственного четвертого, проходят сквозь тело Индии, объединяя Аравийское и Бенгальское моря и Индийский океан с горой Кайлас в Гималаях, где живет бог Шива. Гора воплощает коронарную чакру, сунью. Итак, как и в теле человека, храмы в Индии вздымаются на обоих полюсах.

Интуитивно я познал какую-то часть этого необычайного параллелизма годы назад, совершая путешествие в Антарктиду — мы плыли вниз, вдоль всей страны на юг. В то время мне казалось, что я совершаю паломничество внутри собственного тела и души, а самый южный город Чили, Пунта-Аренас, казалось, представляет муладхару-чакру. И духовно и географически перед отправлением к Антарктиде, к ледяным пустошам, где сияет белый свет, было необходимо спуститься туда. Проливы и каналы на юге Чили, казалось, представляют нади: пингалу, иду и сушумну, а корабль, на борту которого я плыл, был Кундалини, Змеем.

Хотя этот интуитивный символизм тысячи лет существует в Индии в виде целой науки, тогда в Чили я был способен лишь смутно осознать его. Он пришел ко мне как часть драмы моей души, и как болезненная попытка обрести искупление для себя и своих со-

отечественников. В современной психологии этот феномен подобия называют «переносом» или «трансференцией»; алхимические эксперименты также были рассмотрены с этой, психологической, точки зрения. Результаты, известные в Индии веками, показывают, что любые такие эксперименты имеют дело с чистейшим эзотерическим символизмом: мы замкнуты в нём со всех сторон; всё для нас антропоморфно: человек и есть цельность.

Как образы сновидений порой создаются физическими действиями или процессами, такими, как пищеварение, работа почек или печени, так и религиозные образы и архетипы Коллективного бессознательного могут быть отражением психической физиологии, или вегетативной жизни души, соответствующей чакрам, сплетениям, нади и всему прочему. Получается, боги живут в наших телах, как явления, имеющие определенное положение и исполняющие различные функции. Ангелы действуют в наших почках так же, как и в самых отдаленных галактиках небес. Лесные звери также обитают в нас — как побуждения и инстинкты. Они в наших чакрах.

Ужасающей гранью этого представления является то, что пока живы, мы занимаем тело, которое в свою очередь является телом Вселенной в миниатюре. Мы — клетки в космическом теле, и в то же время, мы — микрокосм. Итогом становится игра бесконечных зеркал, а Вселенная уподобляется китайской шкатулке с секретом, в которой целые ряды меньших коробочек содержатся одна в другой.

Звезды — это чакры макрокосма; Млечный путь — шумна, ида и пингала. Кундалини проходит через небеса, как Змей творения. Миры неба — психические и физические emanации тела космического Христа, в то время как человек — Христос воплощенный. Пока мы живы, мы существуем в малом теле, которое, в свою очередь, существует в большем теле Вселенной. Так, возможность космических путешествий подобна тому, как двигалась бы в организме клетка, от почки к сердцу. А умственное путешествие к Солнцу или Луне, подобное тем, что совершают йоги Индии или мой Наставник в Чили — это психическое движение и от чакры к чакре, и путешествие к созвездиям. И всё же, в обоих случаях, движение совершается в пределах великого ментального тела. Тибетские танки изображают Колесо жизни помещенным в живот демона: так и мы заперты во Вселенной, а Вселенная помещается в нас — и потому каждый из нас объективно целостен. Может быть, смерть станет побегом из

этой тюрьмы, возможностью покинуть как малое, так и большее тело — и тогда мы сможем увидеть демона снаружи.

Невозможно сказать больше, потому что не существует слов, описывающих большее. На самом деле, и приведенные обстоятельства уже ставят на порог безумия. Пока мы живы, мы тоскуем о небесах; умерев, мы, наверное, будем скучать по телу и станем считать физическое существование райским веком. Может быть, мы вернемся в перевоплощениях; может и нет. Никто не знает, является ли смерть полным растворением; никто не видел темной стороны Луны. Всё, что мы знаем: смерть — это уход из физической жизни. В сущности, жизнь и смерть противостоят друг другу, и, как следствие, нет никакой возможности общения живых и мертвых, потому что они стремятся в разных направлениях: живые смотрят внутрь, а мертвые — наружу.

Единственной хрупкой возможностью постичь это таинство может быть древняя наука Атлантиды, йога, позволяющая Змею вытянуться к одной крайности, в то же время оставаясь обернутым вокруг другой. Это действие одновременной жизни и смерти, взгляд и внутрь и наружу; здесь объединяются Эго и Самость. Это единственная возможная тропа, узкий перевал над горами, бывший навеки потерянным.

XXXI

Город вечной свадьбы

Из пещеры Амарнатх в Кашмире я решил продолжить паломничество в Бенарес, как советовал свами Ашахабала. Но вначале я желал увидеть храмы Кхаджурахо, полагая, что они будут очень созвучны начатым мною размышлениям.

Храмы Кхаджурахо известны во всём мире эротическими скульптурными группами, и считаются одним из высочайших выражений средневекового возрождения в Индии. Кхаджурахо основан королями династии Чандела, пришедшими из Раджастана и завоевавшими земли, теперь ставшие Индийским союзом. Особый расцвет город переживал в период с 950 по 1050 годы.

Индийское искусство достигло пика развития в правление династии Гуптов в пятом столетии — когда Индия впервые была объединена со времен смерти Ашоки. Искусство того времени просто не с чем сравнивать. Каким-то образом скульпторам удавалось воспроизводить таинство первичных сил; в этом творении они были почти подобны богам. Каменные головы Будд выра-

жают бесконечное сострадание и безмятежное принятие боли; это необычайный образ достижения нирваны и одновременного добровольного пребывания на земле. Скульптурам Кхаджурахо, наоборот, присуще изящество почти декадентское. Тела изваяний будто рождены порывом вихря из иной вселенной, из рая почти дьявольского, кажется, их естественность достигнута запретным колдовством. В мире нет ничего подобного им. Фигуры не натуралистичны, но почти болезненно притягательны.

Ранние храмы Индии почти совершенно не имели скульптур, а в примитивном буддизме образ, именуемый «мурти», был вообще запрещен. Но в правление Гуптов он возвратился, многократно усилившись. Этот образ — Майя или Вселенная, символическое выражение замысла Бога. Безвестные скульпторы, создавшие эти изваяния, кажется, были способны интуитивно прозревать этот замысел, и в золотой век множество подобных статуй было создано по всей Индии. В западной части их можно найти в Эллоре и на Элефанте, на юге — в Белуре и Халебиду, а вдоль восточного побережья — в Бхубанешваре, Пури и Конараке.

Никто не знает, кем были эти скульпторы, но они кажутся почти полубогами. Неизвестно даже их число, но поразительным образом лица и формы тысяч и тысяч повсеместно обнаруживаемых скульптур всегда остаются теми же. Безвестные художники следовали выверенным канонам искусства, и, кажется, восприняли единый свод условных знаков и жестов, подобных движениям индийского танца. Но прежде всего — эти творцы в действительности постигли секрет творения. Они знали, что Мать, Шакти, однажды проснулась и посмотрелась в одно зеркало, потом в другое, потом в третье — пока не оказался сотворенным мир.

Мать и Шакти — первоначальный прообраз всех статуй, а образцом для самих храмов является гора Кайлас. Все храмы южной и центральной Индии стараются воспроизвести очертания горы. Храм также имеет форму человеческого тела, а диск на вершине купола — это гало, коронарная чакра над головой. Устройство храмов повсюду одинаково: на наружных стенных тысячах образов изображают войну, жизнь, смерть, любовь, деторождение — это Майя, иллюзия. Внутри же, в сокровеннейшем святилище, покоится лингам — Шива в медитации. Я уже разъяснял, что лингам символизирует экстатическое сосредоточение; это выпрямленный хребет, вдоль которого огонь Змея поднимается к самадхи. Внутренняя Самость бога остается неизменной в глубочайшем сне, совершенно независимой от наружности, собственного творения, отображенного в образах внешних стен храма.

Посещающие Кхаджурахо иностранцы обычно не в силах этого понять. Разумеется, западному христианину трудно оценить храм, изукрашенный эротической резьбой. Чувства таких посетителей часто бывают оскорблены; они уходят, полные праведного негодования, а после пишут гневные статьи, осуждающие индийскую аморальность. В прошлом так же негодовали магометане, и многие храмы были разрушены пушечными залпами и ударами молотов. Династия Гуптов, покровительствовавшая великому расцвету искусства, была прервана мусульманским вторжением, хотя в Кхаджурахо династия Чандела была низложена другим индийским королем, Раджпутом.

Кхаджурахо выстроен в чудесном месте: посреди лесов, в окружении невысоких гор, на берегах реки, протянувшейся через долину. Когда-то здесь были и дворцы, но все оказались разрушены, а вместе с ними и около восьмидесяти храмов. До наших дней дожили только семь. Множество скульптур из уничтоженных храмов было рассеяно по широким окрестностям, и часто впоследствии жители деревень цепляли плугом темные валуны, которые оказывались прекрасной статуей Шивы и его супруги Парвати, страстно любящих друг друга. Крестьяне обычно уносили изваяния в свои избышки, где, очищенные и помазанные красной пастой сандалового дерева, они превращались в домашних божков.

Во времена ярчайшего расцвета храмы Кхаджурахо посещали девадаси: священные танцовщицы — фактически проститутки, куртизанки богов. Этих девушек выбирали за красоту лиц и фигур по всей Индии, хотя большей частью они происходили из Раджастана. Здесь они прилежно обучались искусству божественной любви, посвящались в таинства культа, и оказывались способны помочь брахмахари, послушникам—девственникам, достичь экстаза высочайшего совершенства. Вероятно, они были и натурщицами тех безвестных художников, ваявших лица и тела Парвати. Думая о девадаси, я не могу не вспомнить и другую горную вершину, вероятно, также уцелевшую в Потопе, куда Девственницы Солнца отправились после того, как Писарро покорила империю Куско. Это место — Мачу-Пикчу.

Прибыв в Кхаджурахо, я провел весь день, гуляя вокруг храмов и разглядывая статуи. Здесь изображены все проявления плотской любви. Каждая женщина пылает любовью: охваченная высочайшей страстью, она отдает саму себя, всё свое существо. Она стремится к любовнику, обнимая его голову руками, охва-

тывает его бедрами, извиваясь и раскачиваясь. На ее лице — выражение совершенного экстаза: она дает любовнику мудрость и совершенствует его, а ее собственные тело и душа совершенно растворяются в акте дарения, или, может быть, в безымянном наслаждении. Другие женщины помогают центральной паре: это прислужницы, сопутствующие силы. Любовник—мужчина, овладевая своей божественной спутницей, включает и их в круг своего наслаждения, лаская их обеими руками. Весьма странно при этом, что лица прислужниц, поддерживающих женщину в ее акробатической позе, остаются непроницаемыми и безмятежными — они принимают участие в ритуале или сценическом действе. Хотя они получают ласки, а порой и сами ласкают себя, их лица не отражают ничего, кроме служения и преданности. Лицо же любовника—мужчины выражает вовсе не желание, а полную отрешенность. Он изображен будто спящим, лишь какая-то его часть сознательно участвует в действе: он поддерживает любовницу, давая ей защиту и бесконечную нежность. Он ценит ее жертву и боль, которую она переживает, чтобы он смог достичь своей цели; он ценит ее совершенные умения, предназначенные для его освобождения. Она становится абсолютно плотской, человеческой, ради служения и материнства — превращаясь в само творение мира. Он же пребывает вонне ее, за пределами чего бы то ни было — на противоположном конце струны хребта; и он любит ее с бесконечной нежностью, любит, как самого себя. Мужчина—любовник одновременно и всеобъемлющ и окружен; недвижимый и отстраненный, он обвивает любовницу руками и проникает в нее. Он включает ее в себя, но в то же время всегда оставляет ее снаружи, не позволяет им слиться.

Ужасное таинство, выраженное этими изображениями, кажется, отражает интуитивное сознание, или Коллективное бессознательное целого народа. Но сегодняшняя Индия уже не помнит его значения. Столь пострадавшие от рук мусульманских завоевателей и христианских миссионеров, эти статуи стали предметом стыда и для многих современных индийцев. И всё же, они — величайшая слава Индии. Потому что секс был священным; как и всё в Индии, он управлялся символами.

В Кхаджурахо можно увидеть весь мир, хотя здесь представлены только крайности. Когда Кришна сказал «Я есть страсть, размножающаяся похоть» — он утвердил первое творение. Отец в совокуплении с Женой породил Сына: мир. Этот союз, майтхуна, был сексуальным, но секс в здешнем иллюзор-

ном мире — наиболее удален от божественного прообраза, это последнее отражение в череде зеркал. Статуи Кхаджурахо, воплотившие в камне тантрическую мысль, являют собой попытку вернуться к единству Самости и Эго. Здесь секс используется не для деторождения, но для разрушения творения и растворения Майи. Это запретная, бесплодная любовь, дьявольская и магическая; любовь без любви.

На храмах Кхаджурахо нет статуй детей, потому что результатом любви, изображенной здесь, будут не сыновья плоти, но сыновья смерти. Плодом этой любви будет цветок лотоса; ковчег, что позволит мужчине пройти над ужасными водами смерти.

Чтобы понять статуи Кхаджурахо, нужно знать Камасутру, книгу индийской любви, и осознавать, что она написана мудрым брахманом: мистиком, чьей принципиальной задачей было сделать мужчину лучше и мудрее. Послание этой книги таково: если ты ищешь освобождения души, ты должен осознать, что не можешь просто отбросить свои тайные желания и болезненное любопытство, потому что всё твое существо в итоге определяется настроением ума и его побуждениями. Потому важным является значение всякого действия, и потому есть разница между каннибалом и ассасином, хотя оба совершают убийство. Тропа превосходства всегда скользит вдоль клинка.

В пике расцвета Кхаджурахо был городом весьма утонченным, почти сверхцивилизованным. А значит и любовь, изображенная на стенах его храмов, наверное, была делом избранной аристократической элиты, чем-то вроде религиозного посвящения господствующего меньшинства. В Индии, однако, подобное расслоение не слишком существенно, поскольку статус здесь — явление временное и колеблющееся. Как стал монахом король Ашока, так и богатые торговцы сегодня часто бросают всё нажитое добро, делаясь нищими бродягами, или отшельниками джунглей. Поэтому индийский гедонизм не так уж опасен: будто камень, брошенный в пруд, он в любой момент может быть отринут волевым решением.

Мужчины, практиковавшие тайную любовь в Кхаджурахо, были сведущи в различных искусствах: они должны были знать, как украсить тело любовницы, понимать значение драгоценностей и еды, тонко ценить богатейшее разнообразие проявлений женственности. И женщины также с девичества обучались таинственному искусству любви. Сравнение с гейшами будет неуместным, поскольку индийская любовь, в сущности, религи-

озна: женщина должна научиться не удовлетворить мужчину физически, но, играя с его интимными центрами, чакрами, подтолкнуть его к Самости. Женщина обучала мужчину отстраниться от нее телесно, но принять в себя психически — так что он вступал в брак не с плотской женщиной, а с собственной душой.

Хотя это религиозное искусство унаследовано из глубокой древности, безвестного прошлого, в Кхаджурахо оно проявилось скорее как реакция против молитвенного течения, бхакти, объявшего всю Индию. Фактически, это был тантризм с сопутствующими ему культами Каулы и Капалики. Каула — это имя Шакти, Змея, а ее противоположность — Акула, Шива. Их союз рождает Инкаулу, гермафродита. Ритуал, в ходе которого вершилось это единство, назывался Коламарга. Капалика — культ гораздо более тайный, чем Каула. Вероятно, он включал в себя человеческие жертвоприношения, а также поглощение плоти и крови жертвы. Последователи культа тайно жили с посвященными женщинами, которых называли йогинями. Самый древний из храмов Кхаджурахо посвящен шестидесяти четырем йогиням, называется он Чаусат-Йогини. Члены культа Капалика покрывали себя пеплом и обривали головы, оставляя только прядь волос на затылке. Они носили драгоценные камни в ушах и ожерелья на шеях, держа в одной руке череп, а в другой — посох. Капалики верили, что центр личности, или Самости располагается в йони, женской сексуальности как таковой. Они верили, что в медитации на нее смогут достичь освобождения. Проще говоря, они полагали каждого мужчину воплощением Шивы, а каждую женщину — Парвати. Культ этот, вероятно, очень древен, а его ритуалы совершались задолго до прихода королей Чанделы.

В седьмом–восьмом веках король Индрабхатти составил свод бытующих тантрических практик, описав на санскрите мистическое посвящение через плотское соитие, называемое майтхуней. Его дочь, прекрасную Лакминкару Деви, описывают как одну из наиболее просветленных из числа пламенных привержениц аристократического культа половой любви.

Важно всегда иметь в виду, что этот ритуал был, в сущности, запретной любовью, противоестественной, поскольку всё в нём противилось очевидным целям воспроизводства. Он не имел ничего общего с продолжением рода. И прецедент этого действия создал сам Кришна, синий бог — этот индийский Пан и атлантический Христос: он любил замужнюю женщину, танцевал с ней в джунглях в кругу гоги, служанок–пастушек

Гокула. Тайная свадьба, происходившая в садах Вриндаваны, была тождественна тантрической майтхуне.

Такая магическая любовь должна стоять вне общества и быть незаконной; более того, она бесплодна, поскольку ее оплодотворение направлено вовнутрь.

Брак, как институт, не считался желательным для тантрического героя: йога или йогини (разве только они были привычны к двойной жизни).

Тайна эта тонким иносказанием изложена на стенах храмов Кхаджурахо — особенно в лицах фигур, любящих друг друга одновременно неистово и недвижно.

Тантрическому герою не дозволено практиковать любовь страстную или одержимую. Это дозволяется только женщине, поскольку ее роль — активная, она представляет женский аспект Вселенной, и творческое проявление самого Шивы. Она — Шакти и Кундалини. Фактически, именно Шакти — создательница мира, или, по крайней мере, посредством ее Бог творит мир. Шакти — и демиург и Майя, иллюзия, поскольку иллюзия — это множественность форм. Бог творит мир из-за любви, или скорее, из любви к своей Шакти, побуждающей к действию. Любовь — это всегда иллюзия, мечта; и значит, Бог на самом деле не принимает участия в творении. Наоборот, он остается неприкосновенным и недвижимым. Образ этот снова и снова повторяется в изваяниях Кхаджурахо.

Представление об активной роли женщины и пассивности мужчины не распространено в несовершенном человеческом мире — в нём воплощена фундаментальная религиозная идея. На самом деле, оно может быть архетипичным, будучи изначально присуще культурам первобытных матриархатов, и однажды оно снова может проявиться в мире. В любом случае, практики тантры и алхимии заново включают женщину в жизнь божественного. Это действие оборачивается триумфом почитания матери над почитанием отца. Мать — это богиня, пришедшая из Мохенджо-Даро и дравидской эпохи, сыгравшая в Индии значительную роль, известная здесь под именами Шакти, Умы, Парвати, Кали, Дурги и Тары. В этих богинях древнее таинство женщины перекрывалось и заново оценивалось, а потусторонние качества женственности находили новое подтверждение, становясь сердцевиной влечения, притяжения и обольщения, понимаемого теперь на метафизическом уровне. Женский принцип, так же, как и природа, подразумевает смерть и воскрешение — а также пере-

воплощение. Мужской же принцип, представленный почитанием отца, суров и жесток, и не допускает повтора и возврата. Такова была религия ариев, но и их северной прародине должен был быть известен магический культ женщины. Они, должно быть, утеряли его в долгом паломничестве на юг.

Тантрист видит Шакти, Мать, во всём; он считает ее столпом и микрокосма и макрокосма. Так, освобождение может быть достигнуто только в слиянии с женщиной этого мира, посредством сексуального паломничества.

Тантрическая йога вначале признает внешнюю женщину, чтобы после включить ее внутрь — других способов достичь единства нет. Соитие с женщиной — только первый шаг, но эта свадьба всегда должна быть магической.

XXXII **Свадьба**

В отношении всего вышесказанного нужно помнить о первостепенной важности символического значения, метафоры. Несмотря на то, что писания или скульптурные изображения могут казаться пропитанными избыточной сексуальностью — это только внешний слой. То же определенно верно и для Песни Песней — когда католический Рим истолковал этот стих экстатической любви, как любовь Христа к Церкви, это, разумеется, было верно; дело в том, что человеческие средства выражения ограничены. Йог в трансе и эпилептик в припадке могут выглядеть очень похожими; в то же время, они безмерно далеки. Стало быть, ценность имеет только глубочайшее значение. Святая Тереза Авильская в сочинении «Moradas» охвачена страстью почти чувственной, венчаясь с возлюбленным Христом — который на самом деле был ее духом, мужской составляющей. Святой Иоанн Крестный также рассказывал о паломничестве, в котором он преследовал любовницу в кромешном мраке темной ночи души. Новообращенные монашки также символически венчаются с Христом. Итак, на высшем из всех планов, в практиках наиболее искушенных членов культа, тантрическая церемония была только символическим действием, поскольку подлинная майтхуна совершалась внутри тела мужчины.

Считается, что человеческое тело включает два существенных элемента: Шиву, статический принцип, и Шакти, динамический принцип. Шива, мужской элемент, помещается в пус-

тоте между мозгом и черепом, называемой Сунья. Шакти, женский элемент — это Змей, Кундалини, свернувшийся у основания древа в муладхара-чакре. Правая сторона тела считается мужской, в ней помещается пингала, солнце; левая сторона — женская, и содержит иду, луну.

Поэтому майтхуна на самом деле представляет собой соединение противоположностей одного тела: союз Шивы и Шакти, иды и пингалы, Кундалини и Атман, а также Христа с душой, или с церковью. В одной свадьбе умещаются многие, и противоположности сливаются одна за другой. Вначале обретают единство дыхание и манипура-чакра, и, в конце концов — Шакти и Шива — Данте и Беатриче, Эго и Самость, союз мужского и женского в индивидуе. Процесс всегда идет к единственности, множественность уступает место единству. Этот процесс — обращенный вспять акт творения; многократно отраженные образы в зеркалах возвращаются к истоку. Шакти и Шива, Соломон и царица Савская в результате становятся одной личностью. В союзе этих противоположностей достигается цельность, рождается гермафродит. А на вершине Древа Жизни отыскивается источник вечной жизни и юности. Здесь ум и восприятие становятся едины, а частные органы перестают самоосознаваться. Таково достижение суньи, или пустоты; таков Брат безмолвия или нирвана буддистов. Согласно тантрическому культу махаянского буддизма, пустота — это сострадание, а потому Бодхисаттва Авалокитешвара достигает нирваны только одним концом струны хребта, а другим всегда остается привязанным к земле. Наверное, этот союз противоположностей имеет форму и звучание слога Ом. Когда крайности сливаются, обе исполняют желания другой.

Эта свадьба с собой — брак со Змеем. После исполнения ритуалов тело обретает крылья, а душа одевается в тунику. Это хитон Несса, позволяющий продолжить жизнь за порогом смерти: войти в состояние сознания, продлевающееся там, где физическое тело перестает существовать. Поэтому свадьба также является воскрешением; это рождение нового Адама и возвращение Атлантиды. Там, в сунье, искупается первородный грех.

В Индии тантризм выливался в крайности, ритуалы обочивались оргиями и извращениями. Наверное, это неизбежно при столь опасном и запутанном символизме; всё же, тантризмлевой руки говорит, что дорога к освобождению не исключает ничего. Он заявляет, что самоотречение и аскетизм абсурдны,

поскольку высшая пустота, достигаемая в сунье, приносит те же результаты, но гораздо более полновесные. И при этом, тантрический метод — самый сложный из всех, поскольку требует беспрестанного строгого слежения за всеми частями и проявлениями своего существа. И только он позволяет достичь твердости алмаза, сохраняя мягкость овечьего руна.

XXXIII

Лик взошедшего на трон

Всякий, достигший этой мистической свадьбы, обретает лицо из темного камня: чуть склоненное, с полуприкрытыми глазами, он будто вглядывается во что-то, происходящее внутри головы; он вслушивается в отзвуки шагов бредущей во сне девы, поднявшейся из глубин, скользящей по тайному коридору, мимо древних гробниц и замков. Губы его чуть приоткрыты, обнажая призрачную улыбку, в которой сливаются боль и наслаждение, тень и свет. Как круговорот сменяющих друг друга мыслей. Он любит ее внутри себя, целует ее, целует себя, и действие это отражается на его лице, одновременно богоподобно и чувственном. Одна сторона его лика темна и отражает сумерки смерти; другая сторона жива. Это лицо существа, разрешившего загадку смерти. Он укушен Змеем, и в лице его яд. Граница света и тьмы выражает и парадоксальное рождение сына смерти — сына вечности. Полуприкрытые глаза будто смотрят сквозь всё пережитое, и в них, среди прочего, отражены радостная боль креста и триумф смерти — как нечто, уже совершившееся. Он понимает самую суть акта творения; видит детей, покидающих отца, и переживает радость их возвращения. Это лик того, кто снизошел в земные глубины, к корням Древа, и в преисподнюю под ними, а после совершил кажущееся бесконечным паломничество, пока, наконец, не достиг вершины Древа Жизни, и здесь, в зале Дворца, встретился с той, кого он так долго искал. И счастье этой встречи рождает слезы — вызревшие плоды Древа Жизни.

Две каменные слезы падают на щеки вступившего в брак. Одна принадлежит ему, другая ей. Каменный лик этого гермафродита был изваян более тысячи лет назад в городе Кхаджурахо.

XXXIV Лунный камень

Лунный камень — третий глаз, что открывается в аджна-чакре, в точке между бровями, чтобы позволить каменному лику видеть свое бракосочетание, и найти в песчаных пустынях мира отпечаток ступни своей Возлюбленной. Этот третий глаз — чудесный кристалл, подобный молочным лепесткам лотоса. Он подобен и птице, распростершей крылья; это птица Рая и голубь Святого духа.

С открытием третьего глаза — а это всегда сознательное волевое действие — приходят к концу эпохи Отца и Сына, наступает эра Святого Духа, человека, обретшего крылья. Это эпоха Водолея, в которой лунный камень найден под толщей вод Южного полюса.

Но Святой Дух проявляется и в других знаках: языки пламени однажды прорвались над головами апостолов, чтобы открыть их третий глаз и дать им видение. Поэтому Святой Дух также и Кундалини, змеинный огонь, спящий у основания Древа Жизни. От глубочайших корней ада, он медленно восходит, направляя крылья в точке меж бровей, становясь Пернатым Змеем, или голубем, и тогда третье око проливает слезы из наших глаз, потому что видит долгое паломничество, и, через кристалл лунного камня может наблюдать собственную смерть и свадьбу.

XXXV Таинства

Индия интровертна, и проецирует духовность вовнутрь, в то время как христианский Запад экстравертен, и видит спасение личности вовне. На Западе брак, смерть и воскресение — события внешние. Любовь тоже всегда снаружи; любовницу встречают на улице или в парке — в любом случае, вовне личности. Тогда любовь становится диалогом двух личностей, и любовники находятся вовне, так же, как и Бог. Современная наука, мечтающая о космических путешествиях, подчеркивает устремленность западного мироощущения вовне. В противоположность ему Восток всегда путешествует вовнутрь.

Всё же, хотя эти обобщения и верны, их сила не абсолютна: достаточно вспомнить о колебаниях маятника. Ведь то, что снаружи, всегда и внутри, и наоборот. Индивид — это кос-

мос в миниатюре, а Вселенная — бесконечная череда зеркал. Поэтому физический брак необходим; Возлюбленной должно овладеть физически, тантрически, и также Возлюбленная должна умереть физической смертью, и необходимо претерпеть долгое страдание в ожидании ее воскрешения.

Беатриче должна была существовать вовне, в телесном облике, и Данте любил ее в таком проявлении. Потом, после ее смерти, он заключил ее в собственную душу; он должен был до дна испить горькую чашу, обнажив бездны своей страсти и те одинокие таинства, способные однажды вознести его из глубин ада в небеса.

Подобное, наверное, происходило и с апостолами Иисуса. Наверное, физическое распятие также необходимо; он должен был умереть, и за мгновение до небытия воскликнуть «Отче, почему Ты оставил Меня?». Тогда, и только тогда, ученики, столь любившие его, могли впустить его в свои души, чтобы вновь пережить мучительное таинство и продлить его жизнь в Мифе.

Человеческая боль — также и боль божества; и потому более всего необходима верность своим мертвецам. Она позволит нам воскреснуть, когда воскреснут уже почившие. В воскрешении Христа мы все будем воскрешены, как и в воскрешении Возлюбленной.

Шагая по свету, в сердце я несу тело Возлюбленной. Я заглядываю в ее глаза, вижу золото ее волос; я одалживаю ей свой взгляд, так чтобы и она могла взглянуть на мир. И когда, наконец, она будет воскрешена в моей душе, тогда и я смогу видеть ее глазами. Тогда у меня будет три или четыре глаза, и я буду воскрешен вместе с ней.

Таковы эти таинства; нужно знать цельность основополагающих фактов, и видеть многочисленные направления испускаемых ими вовне вибраций и излучений, повторяющих взрыв творения, выплеск наружу. Ведь то, что внутри — также и снаружи, и потому нам должно идти за порог самих себя, чтобы проникнуть в себя, и узнать себя. Только так драма может быть осознана во всей глубине.

Ключевое понятие этого действия — любовь. Мы должны любить Возлюбленную, как себя; любить ближних, как себя, и любить Бога, как себя. Нам должно также любить себя, как Бога.

Чтобы понять и совершить эти великие таинства, мы должны осознать оба предела космического маятника, качаясь с ним от одного края Вселенной до другого, продвигаясь вовне и

вовнутрь, узнавая жизнь и смерть, чтобы суметь избежать катастрофы и обрести жизнь вечную.

Атлантида затоплена; Христос распят; Возлюбленная мертва. Поэтому плачет каменный лик Кхаджурахо. Но есть меч, воплощающий непростую и пугающую науку — и он способен рассечь фатальную последовательность событий. Меч этот ожидает нас на дне гроба, и мы должны получить его в обмен на собственное тело. Гробница эта носит имя Сунья Бхай или Брат безмолвия.

XXXVI

Песня суфия

Продолжая паломничество в Бенарес, я задержался в Камрупе, чтобы посетить суфийского наставника, Шри Радху Мохана. Слово суфий означает

«мягкий, гладкий, как руно ягненка». По вечерам этот наставник обычно бродил по садам своего дома, перебирая в руках четки и бормоча молитвы и мантры. Его друзья часто приходили молиться и размышлять вместе с ним. В минуты тишины он закрывал глаза, погружаясь будто до грани транса, как если бы несказанные им слова приходили из непостижимых бездн бессознательного.

По вечерам, когда свет луны лился между стволов манговых деревьев, рождая многочисленные тени, Шри Радха Мохан улегался в гамак в своем саду и позвал меня. Он знаком показал мне сесть напротив, так, чтобы вибрации его сердца смогли передаться мне — так он объяснил. А после стал петь мягким, глубоким голосом. Песня его была нежным плачем, полным мечтаний о былом, и как нельзя лучше подходила лунному сиянию вечера. В ней говорилось о пастухе, искавшем Кришну, исходившем множество долин и преодолевшем многие горные перевалы; однажды он вошел в дом, чтобы попросить поесть. Как раз в этот момент сам Кришна прошел мимо. Позже пастух узнал о том, как он упустил возможность встретиться с богом, и скорбно причитал: «Я потерял в дороге свое сердце и никогда не найду его снова».

XXXVII

Великая Кумбха–Мела в Аллахабаде

Через некоторые промежутки времени, когда звезды выстраиваются определенным образом, народ Индии собирается в

городе Аллахабад, чтобы совершить омовение там, где Джамна сливается с Гангой и растворяется в ней. Здесь две реки сочтаются браком, как ида и пингала в спинном хребте. Обе реки происходят из небесных обителей, исток Ганги находится на горе Кайлас, в великой голове Шивы. Но есть и еще одна река, присутствующая при браке этих двух, в сангхе или слиянии близ Аллахабада. Это река Сарасвати, которую никто никогда не видел: невидимая шумна, а может быть, даже Кундалини. Сарасвати свидетельствует об успехе бракосочетания, преобразуя слияние в триаду Шивы, Парвати и Картикейи.

На это празднество со всех уголков Индии стекаются караваны. Все дороги запружены паломниками, идущими пешком или едущими в телегах, на верблюдах и слонах. Многие прибывают поездами и самолетами. Вместе со мной тогда в Аллахабаде собрались четыре миллиона душ. Здесь и там вдоль берега реки были возведены высокие железные башни, с которых можно было наблюдать за толпой и управлять ее перемещениями. Оказавшись посреди необозримого людского потока, я чувствовал себя соломинкой в порыве ветра; я был совершенно потерян, и одновременно взволнован, ощущая неопределенное почтение к огромным силам, собравшимся здесь. Вскоре я увидел прибытие президента Индии: в компании святых, нищих и других жалких несчастливцев, он голым вошел в воды, где встречаются три реки. В медленных почтенных движениях он был окроплен водой. Потом появился Неру, одетый в белое. Он медленно приблизился к реке, туманным отсутствующим взглядом провожая течение священной реки, которая, казалось, уносит с собой всё, даже его самого. Я видел, как он едва коснулся вод пальцами, и приложил их ко лбу. Казалось, что он, как и я, лишь частично вовлечен в церемонию, и во многих отношениях чрезвычайно далек от нее. Я мог разделить его чувства и болезненность его поступка.

Я всё же решил, что совершу омовение позже вечером. А пока что я был просто отрешенным одиночкой, и со всех сторон меня подпирали тысячные толпы. Вскоре к берегу подошла процессия саддхов. Эти святые мужи были раздеты; тела покрыты пеплом, а лица выкрашены зеленым. Их глава, или гуру, ехал верхом на огромном слоне, ноги которого были спутаны цепями, так что ему приходилось передвигаться неловкими качками, старательно удерживая равновесие. Время от времени он поднимал хобот и фыркал. Гуру, совершенно голый, представлявший в

процессии Шиву, был покрыт невероятной смесью мазков разноцветных красок, шафрана и эксcrementов. Перед ним шествовали танцоры с мечами, яростно рубившие воздух. За ними маршировали музыканты, игравшие на барабанах и флейтах, а за ними на ложах из шипов ехали факиры, или шли, проткнув языки и руки гвоздями. В процессии были и другие слоны; хотя и напуганные сутолокой, они совсем не смели трогать людей вокруг. Что-то внутри велело им не делать этого.

И тогда, в самый разгар этой великой мелы, собрания самых невероятных персонажей, грянула беда. Где-то, по какой-то необъяснимой причине кого-то вдруг обуял страх — и распространился всполохами, как лесной пожар. Поддавшись панике, кто-то упал, другие, наступая на его тело, тоже падали. Почти мгновенно всё множество лишилось разума, и сотни оказались втоптаны в пыль. За какие-то минуты Кумбха-Мела Аллахабада стала ареной необъяснимого панического страха, коллективного ужаса и бессмысленной смерти сотен людей. Повсюду вокруг меня в собранных наспех телегах лежали раненные, умирающие и те, что уже были мертвы. Старики и дети, девочки и старухи. Пожилая женщина прошла мимо, рыдая и умоляя о защите: придя из южных пределов Индии, здесь она потеряла всех, и теперь осталась одна. Никто не решался действовать. Все были просто ослеплены и оглушены, не знали, что говорить и думать, и не могли осознать, как и отчего совершилась трагедия. Однако чуть погода возвратилось спокойствие — ведь этот народ создан для страданий и неудач. Так они смогли сказать себе, что всё случившееся — во благо, ведь те, кто умер в этот день и в этом месте, будут благословлены слиянием священных рек и расположением звезд в небесах.

В полдень я решил посетить лагерь йогов и саддхов. Здесь собрались все известные гуру Индии, сопровождаемые последователями и учениками. Они разбили палаточный городок, будто армия магов и святых. Многие пребывали в трансе, казались мертвыми или воскрешенными в мгновение безвременья. Воздух свернулся в густоте сжигаемых благовоний, палатки осаждали тысячи любопытных и тех, кто желал почтить наставников. Здесь свами и йоги встретились, чтобы молиться и вместе повторять мантры; они молились о тех, кто умер подчас Кумбха-Мелы, и о тех, кто ушел до них. Я услышал, что здесь была Ананда Май, Мать, и ожидалось, что придут Сивананда, и свами Лахманджу из Кашмира. Но никого из них я не встретил.

Покинув палаточный городок, я решил взять лодку и погрузиться в воды реки. Но по пути к берегу ко мне подошел голый садху, и остановил меня, взяв за руку: молодой человек с грустными глазами.

— Отчего же в мире нет справедливости? — спросил он.

Я посмотрел на него, и понял, что он плачет. Очевидно, его вопрос был о тех, кто умер сегодня.

Я не знал, что ответить, и сказал только:

— Как можно ожидать справедливости в Кали-юге?

Он остался на берегу, глядя, как отплывает моя лодка, и в тишине по его щекам катились слезы. Наконец, он ушел и затерялся в толпе.

И тогда, в слиянии видимых Ганги и Джамны и невидимой Сарасвати, я разделся и погрузился под воду. Опускаясь всё глубже, я чувствовал приближение Брама, и встречи Иоанна-Крестителя с Иисусом — ведь тогда Иисус превратится в Христа.

XXXVIII

Святой город Бенарес

Всё же, купание в священных водах достигает настоящего апогея только в Каши, или Бенаресе. Веками хинду оказываются зачарованы образом реки Ганги, так похожей на саму жизнь. Каждый купальщик входит в свой поток, и двух одинаковых течений никогда не бывает — но сама река остается; у нее есть имя, единство. И потому, вопрос, который задает себе индус, ныряя в реку таков: есть ли у него, как и у реки, единство и возможность определить себя? Как и река, мы сами постоянно изменяемся; мы образованы сотнями всевозможных ручьев, бесконечным множеством эго; но всё же, всегда есть нечто, дающее нам иллюзию цельности — имя. А хинду сомневается даже и в постоянстве имени, будучи отчасти растворенным водами.

С восходом солнца толпы верующих стекаются к гхатам Ганги. Пройдя по узким улицам старого города, они по широким ступеням спускаются в серые речные волны. На гхатах брахманы продают четки и читают молитвы. По нисходящим ступеням верующие шагают в реку, полуголые или в развевающихся плащах, колышущихся вокруг. Женщины не снимают сари, и те прилипают к их телам, когда они опускаются под воду. Ритуал омовения очень сложен. Вначале хинду зачерпывает немного воды ладонями, и позволяет ей сочиться сквозь

пальцы, а сам бормочет древние молитвенные формулы на санскрите. Потом он несколько раз окунает голову, а после целиком погружается под воду. Все полоскают рот и пьют воды Ганги. Нужно помнить, что эта темная жидкость полна грязи, мочи и остатков умерших. Некоторые стараются основательно промокнуть, другие просто сидят, скрестив ноги, полупогрузившись в воду и медитируя. Иные ныряют в поток и бодро плавают. Здесь много лодок, полных детей и туристов, обычно плывущих вверх по течению. Иногда показывается необычное бревно, подпрыгивающее и крутящееся на поверхности воды. На самом деле, это вовсе не дерево, а труп, уносимый к морю; мертвец проплывает через всю Индию—Мать, если только его не съедят пресноводные рыбы, населяющие священную реку. Такой труп означает, что умерший был прокаженным — их тела никогда не сжигают, а бросают в волны реки.

Повсюду вдоль берегов горят костры, на которых жгут мертвых. Тела умерших привозят их родные или друзья. Вначале труп обмывают в реке, а после брахман читает над ним мантры; тело кладут на костер из сандалового дерева, и зажигают огонь. Родные и друзья стоят вокруг, время от времени вороша угли, чтобы убедиться, что пламя полностью поглотило мертвеца. Обычно ритуал проводят на заре или на закате, и тогда берега реки освещаются сотнями таких костров.

Повсюду вдоль берегов и на крутых узких улочках города — сотни храмов, обиталища всех мыслимых богов; например, один посвящен богине оспы. Есть и непальский храм, деревянные стены которого сплошь испещрены резными эротическими фигурками; тут же и другой, посвященный Кали — здесь приносят в жертву животных, и кровь струится по мраморному полу, а на крыше скачут и вопят дюжины обезьян. На короткой улочке, настолько тесной, что не позволит разминуться и двум прохожим, открывается окошко в стене: виден зал храма, в котором маслом, молоком и соком фруктов омывается лингам. Ладони преданных женщин купают его, проливая струи патоки и духов. Совсем неподалеку слышен нескончаемый бой барабанов, сопровождаемый молитвами и плачем. Это дом вдов, населенный женщинами, потерявшими будущее. Поскольку они не исполнили ритуал сати, как это делали женщины в прошлые века: не взошли на погребальный костер вместе с умершими мужьями — они считаются мертвыми, и вынужде-

ны умолять о милости прохожих, и тем продлевать агонию доживания в этом городе кошмарных видений.

Улицы Бенареса не имеют с земным миром решительно ничего общего; по правде, они неописуемы, и не поддаются никаким сравнениям. Одновременно ужасающие и обольстительные, отвратительные и завораживающие. Каждый, кто прошел улицами Бенареса, держа открытыми глаза и разум, поймет, что наблюдает зрелище поистине грандиозное. Эти улицы отражают муки творения, и вместе с тем — величайший триумф духа над мучением. Сострадание и бесчеловечность, жалость и ужас, мельчайшее и космическое — всё сплетается в материю улиц Бенареса. И над всем вибрирует невероятный шумный хохот, будто говорящий: «Взгляни—ка на этот фарс, эти боль, отчаяние и величие — и рассмейся, потому что ничто из этого не существует на самом деле; все мы клоуны, занятые в великой комедии, в Майе».

Бенарес также наполнен волшебством и миражами. В чём—то он подобен улицам Чандни Чоук Нью—Дели, но здешняя атмосфера — квинтэссенция религиозности. Ведь страдание и болезнь, предшествующие смерти в Бенаресе — нити религиозного мотива Индии. Поэтому уродцы, наблюдающие за смертью прокаженных, смотрят ясными глазами, их лица умиротворены. Они улыбаются, зная, что хорошо играют назначенную божественную роль — она показалась бы тяжелой, если бы не была частью великой комедии.

Скрестив ноги, на улицах сидят карлики в тюрбанах, в их глазах — улыбка безбрежного сочувствия. Мимо проползает голый мужчина, обмазанный синей пастой. Он приподнимается с земли и, пошатываясь, швыряет себя вперед. Снова поднявшись, он повторяет то же действие. В конце концов, он доберется до священной реки, хотя ему предстоит преодолеть еще многие кварталы. Всё утро меня преследовал ребенок, беспрестанно теребивший меня за ногу. Совершенно невозможно было избавиться от него: всякий раз, как я давал ему денег, он просто просил еще.

Поверх этих узких улиц, погруженных в тень огромных деревьев, скачут и резвятся обезьяны, внизу торжественно шествуют коровы. Все остальные должны уступать им: корова обладает своего рода непреложным преимуществом в движении. Улицы уставлены сотнями магазинов и лотков, ведь Бенарес — центр шелковой промышленности. Сари из Бенареса, отделанные золотой вышивкой — чудо индийского ремесла, знаменитое

во всём мире. А еще вдоль берега высятся дюжины роскошных дворцов, построенных махараджами царств древней Индии. Открытые веранды этих дворцов предназначались махараджами для паломников из близлежащих районов, посещающих Бенарес. И здесь, как и везде, подчеркивается всеохватная, неразборчивая жизнь Индии: всё делается сообща, индус всегда окружен другими людьми. Он живет, любит, ест, спит и умирает прилюдно, а значит, должен сохранять внутреннее, духовное уединение. Практически каждый махараджа или богатый индийский купец выстроил в Бенаресе дворец, но все они — на одном берегу; на другом же, совершенно одинокий, стоит дворец махараджи Бенареса, принадлежащего к касте не кшатриев, но брахманов, ведь, согласно общему мнению, он — прямой потомок Шивы. Юный махараджа скромен и образован. Он в особенности интересуется сравнительным религиоведением и доколумбовыми цивилизациями Америки — культурами майя, ацтеков и инков. Он полагает, что когда-то между Америкой и Индией существовала связь, которая теперь должна быть изучена.

Бенарес — одно из священнейших мест Индии, его можно назвать Ватиканом индуизма. Но чтобы понять его религиозную роль, нужно сравнить его также с Лурдом или Иерусалимом: здесь собираются паломники и неизлечимо больные, ожидающие чуда, и возможности умереть с миром. Однако, несмотря на священную историю, в Бенаресе не так много индуистских храмов, поскольку большую их часть века назад разрушили мусульмане. Так Аурангзеб воздвиг мечеть на руинах храма хинду. Но мусульмане не могли уничтожить реку или изменить ее течение. А дух этой реки — важнейшая черта Бенареса, да и самого индуизма. Бенарес, среди прочего, знаменит своим древним университетом, в котором собираются ученые всей Индии, а также здешними мистиками и йогами, достигающими самадхи или даже еще более глубокого транса, кайвалия. И еще: именно в Бенаресе Тулсидас перевел на хинди Рамайну, а риши Ватсыяна написал Камасутру.

Однако, прежде всего, люди приходят в Бенарес, чтобы умереть у его священных вод, поскольку хинду, окончивший свою жизнь здесь, должен быть освобожден от кармы, или, по меньшей мере, получить возможность лучшего воплощения в следующей жизни. Этой верой и объясняются просветленные лица и счастливые глаза тех, кто преодолел боль плоти и мирские мучения: они уже проникли за завесу грязи и ужаса, и жи-

вут духом в мире божественного света — среди жемчугов и бриллиантов счастливого будущего. Никакая другая страна, кроме Индии, не выработала такого видения. Индия — страна мучеников, созданных для страдания. Всё же, эта очевидная нищета складывается в картину, преобразующую целый народ так, как на Западе смогли быть преобразованы лишь немногие святые. Индия видит мир не как бытование дней, череду боли и наслаждения, а как отражение всеобъемлющей вселенской цели. Но правители современной Индии, получившие образование в Оксфорде и Кембридже, стыдятся Бенареса. Они отрицают божественность города и пытаются преобразовать Индию в гигантскую механическую фабрику, которая может быть чистой и опрятной внешне, но внутри окажется гнилой. Уже и сейчас Индия начинает смердеть, как и весь остальной мир: ее душа начинает разлагаться, ее осаждает проказа, намного более страшная, чем всё, что видели улицы Бенареса. Это проказа модернизма, промышленности революции, атеизма и рационализма.

Завеса грязи и мук в Бенаресе скрывает бриллианты и жемчуга — это маска его покаяния. И наоборот, железная завеса Кали-юги, с ее гигиеной, контролем рождаемости и городами из асфальта и цемента, скрывает гниль души и разложение духа. Одним словом, скрывает пустоту, ничтожность. Когда я был в Бенаресе, один из проводников сказал мне: «Религия и гигиена враждуют, и, наверно, так было всегда». Бенарес может проигрывать современному веку, но он остается символом, способным спасти мир: он во весь голос говорит нам, что человек всё еще имеет право быть — каким угодно, даже жалким.

Повсюду в Бенаресе ошутимо влияние идеи кармы и перевоплощения. Карма — духовный закон причины и следствия: сегодняшние поступки порождают следствия, проявляющиеся в последующих воплощениях. Для буддиста этот закон совершенно механичен, для философов веданты это своего рода суд. По их мнению, Брахма-Ишвара (проявление Брахмы, связанное с творением) взвешивает и подсчитывает поступки каждого существа, так, чтобы определить его карму в последующем воплощении. Слово карма означает «действие», и некоторые приверженцы веданты полагают, что существует и коллективная карма, действующая в определенной калые, то есть исторической эпохе. Таким образом, каждый индивидуальный поступок может влиять на человечество в целом. Представление это имеет нечто общее с идеей о коллективном искуплении первород-

ного греха, подразумевающей, что все люди должны в равной мере расплачиваться за грехи отцов. Это представление также допускает, что молитва невинного ребенка может спасти мир.

Для того чтобы исполнились законы кармы, и могло быть достигнуто окончательное освобождение, требуется Великое колесо: меньшего Колеса жизни недостаточно. На самом деле, нужно пять тысяч колес: человек должен прожить пять тысяч жизней. Вот это представление и отделяет в корне мир Запада от Индии. Хотя я и способен умственно убедить себя в реальности перевоплощений (поскольку идея эта и в самом деле правдоподобна), я понимаю, что есть большая разница между моим рациональным допущением и тем, как эта идея обитает внутри народа хинду. И потому, даже если я скажу, что верю в перевоплощение, мои кровь и душа не примут этого. В глубине сердца христианин знает, что у него есть только одна жизнь — никак не больше. Современный индеец, наоборот, может говорить, что не верит в перевоплощение, но у корней его существа он убежден в наличии пяти тысяч жизней, и это представление поднимется в его сознание в переломные моменты, особенно в кризисе смерти.

Если мы подумаем о разнице в поведении, вызываемой приверженностью этим двум различным идеям, мы обнаружим действительный исток того пролива, что отделяет от Индии даже тех из нас, кто родился в Южной Америке. Причина эта в фундаментально различном отношении ко времени у человека Запада и у индийца. Индийский святой не вынужден поступать так, будто он святой до мозга костей. В чём-то святой, в другом он может быть грешником. В свою очередь, грешник может в чём-то быть свят. Это значит, что нет причин спешить, нет нужды в резких и однозначных преобразованиях. Времени в избытке: есть пять тысяч жизней — этого хватит, чтобы достичь конечной цели. Запад же, наоборот, всегда обеспокоен проблемой неотложности. Святой на Западе всегда совершенно свят, и наихудшим порицанием для человека Запада будет обвинение в лицемерии. В Индии лицемерия нет: люди могут казаться криводушными, но само представление о лицемерии для них не имеет смысла. Так, человек Запада всё свое существо подчиняет избранной роли, всё, что он делает — определено и драматизировано, и маска личности для него — важнее чего бы то ни было. Индия устремлена совсем к другому: индеец может иметь тысячи жизней-личностей, но по причине их множества, ни одна из них не це-

нится слишком высоко. Индеец не любит, и не ненавидит, он не живет и не умирает. Он, скорее, просто скользит к вечности, словно в течении реки. Его индивидуальность тысячи раз распалась на погребальном костре из сандалового дерева, и он растаял в бесконечных формах Майи или иллюзии.

Люди Запада желают сделать свою индивидуальность вечной. Индус же наоборот желает спасти себя от вечности: он боится, что вечность станет чем-то вроде нескончаемой бессонницы. Но такое представление относительно молодо, поскольку древние маги и сиддхи Индии когда-то старались обессмертить себя в символах ледяных сфинксов или мечей.

Первый раз Будда проповедовал именно в Бенаресе, две с половиной тысячи лет назад. Та проповедь, прочитанная им в Сарнатхе, сравнима с Нагорной проповедью Иисуса. Здесь Будда приобрел своих первых саманов — учеников. Однажды утром, во время пребывания в Бенаресе, я посетил Сарнатх, чтобы увидеть великую ступу и знаменитое дерево Бо. Это дерево было выращено из побега, взятого от другого дерева, посаженного в Цейлоне братом короля Ашоки в 350 году до нашей эры. А то дерево, в свою очередь, выросло из ветви дерева у Бодх-гая, под которым достиг просветления Будда. Прежде чем уйти, я взял у дерева листок и сохранил его.

На следующее утро я решил посетить пандита Гопи Нат Кабираджу — он на самом деле и был настоящей причиной моего путешествия в Бенарес. Я обнаружил, что живет он в старом двухэтажном доме посреди заброшенного сада. Оказавшись на месте, я сообщил слуге свое имя, и тогда, как было указано, поднялся по узкой лестнице к балкону, который и занимал пандит. Он встретил меня, сидя на белом полотне, раздетый до пояса. Через грудь тянулся белый шнур брахмана, а повсюду вокруг были разбросаны книги и отдельные свитки. Гопи Нат Кабирадж был известным санскритологом, бывшим профессором Бенаресского университета. Он написал немало важных работ, среди которых «Вишудхананжа Прасанга», «Сурья Виджняна» и «Йоги Раджа дрисайя Вишудхананда». В одной из этих книг он говорит о своем Учителе и о чрезвычайно тайном обществе, располагающемся в Гималаях — Джна Джна гандж. Наиболее ортодоксальные из брахманов считают Гопи Нат Кабираджу отступником или фантазером, увлекшимся доарийскими заблуждениями, многие из которых прямо перечат строгим предписаниям брахманизма.

Стоя перед ним, я обратил внимание на выразительность черт его лица: большие, мудрые глаза, начавшие белеть борода и волосы. Он жестом велел мне сесть на полотно, и, казалось, с нетерпением ждал, пока я заговорю. Тогда я рассказал ему, что один неизвестный ему свами из Кашмира советовал мне увидеться с ним — а я надеюсь получить некоторые полезные сведения. Гопи Нат Кабирадж кивнул и ждал от меня продолжения.

— Я пришел издалека, — сказал я. — Из Анд в Южной Америке. Я пришел в поисках учителей моего Наставника в Чили. Я ищу древнее тайное общество, скрытое где-то здесь, в Гималаях.

Короткий отблеск, казалось, сверкнул в глазах пандита, по которому можно было предположить — он считает меня еще одним безумцем, гонящимся за иллюзией. Но ничего такого пандит не сказал. Вместо этого он вручил мне книгу, раскрытую на отгиске фотографии.

— Да, всё это есть на самом деле, — пояснил он. — Как ты и говоришь, где-то в Гималаях. Взгляни.

Фотография изображала мужчину с длинной бородой, укрытого плащом.

— Этому йогу восемь сотен лет, он живет где-то в Гималаях, в одном из этих тайных ашрамов, которые ты ищешь, в ашраме сиддхов.

Тогда я улыбнулся, потому что это показалось невероятным даже мне, но пандит продолжил:

— Не смейся. Я часто видел этих людей: они приходили ко мне в своих эфирных телах, тогда могут происходить очень интересные вещи. Какое-то время назад, в 1940 или 1941 году, в «Журнале исследовательского общества Бихара и Ориссы» одним немцем была опубликована статья — он путешествовал по Тибету и пережил некоторые очень любопытные приключения в связи с этими оккультными обществами.

Я спросил пандита, как же мне найти этот журнал — и узнал, что мне следует поискать профессора Б. Л. Атрейю в университете Бенареса. Пандит сообщил мне и о другой книге, касающейся темы тайных гималайских обществ, написанной на языке гуджарати. Она называется «Брахманда но Бхета».

Гопи Нат Кабирадж закрыл глаза и мягко покачивался из стороны в сторону. Наконец, он заговорил снова:

— Что ж, после приди сюда еще раз. А сейчас тебе нужно посетить моего друга, великого астролога, его имя Судхир Ранджау Бхадури. Он живет здесь же, в Бенаресе, в месте Рама-

пура. Прежде, чем увидеть тебя снова, я хотел бы узнать о тебе больше из твоего гороскопа. Судхир Ранджау Бхадури сделает его тебе. Так что вначале повидай его, а потом возвращайся.

В тот же полдень я нанял маленькую тонгу, то есть повозку, запряженную лошадью весьма древнего вида, и под муссонным дождем ехал по узким улочкам и странным обходным дорогам, пока не достиг дома, где и проживал астролог, Судхир Ранджау Бхадури. Долгое время я стучал в дверь, и, наконец, услышал внутри шаги, а потом дверь со скрипом отворилась. Дородный негр, с увесистой связкой ключей на поясе, спросил, что мне нужно, и потом, очевидно, уже осведомленный о целях моего визита, дал мне войти, и провел через складское помещение, мимо нагромождений досок и механизмов. По узкой лестнице мы поднялись к комнате Судхира Ранджау Бхадури.

Войдя в комнату, я увидел, что астролог — чрезвычайно любезный старик, очень худой и телом и лицом. С ним было ребенок, как позже оказалось — его внук по имени Гопал. Астролог сообщил, что знает, кто я и зачем пришел, поскольку Гопи Нат Кабирадж отправил ему сообщение. Поэтому, безо всяких предисловий сказал:

— Я не стану делать твой гороскоп, потому что он тебе не нужен. Всё же, я посоветую тебе бросить искать снаружи то, что уже и так есть внутри тебя. Ты уже обладаешь горой Кайлас внутри, и там можешь отыскать учителей твоего Наставника.

Некоторое время мы сидели в тишине, и слепополуденные тени собирались под потолком этого дома в священном городе Бенарес. Гопал, внук астролога, вытянулся на полу; прадед погладил его по голове, а потом, как мне показалось, подмигнул ему.

— Думаю, нам нужно рассказать нашему другу о технике, с помощью которой он сможет узнать больше о том, что внутри, правда ведь?

Гопал согласно кивнул головой, и астролог продолжал:

— Техника эта называется шамбхуви, что значит Шива. Буддисты тоже пользовались ею. Неделю тебе нужно походить с легким грузом на голове, чуть смещенным к затылку. Можешь взять камень или что-нибудь подобное. На вторую неделю убери груз, но несколько раз приоткрывай и слегка закрывай глаза. На третью неделю сядь, не делай ничего и ни о чём не думай, закрой глаза. Просто жди. Каждый день в течение трех недель делай так перед сном.

Так закончилась моя беседа с астрологом. Уходя, я чувствовал, будто повстречал высшее существо, познакомился с душой достойного и мудрого человека. Я всё еще помню его таким, каким видел тогда: в компании внука в затененной комнате под крышей дома в Бенаресе. С тех пор я не видел его, и он давно уже умер.

Тогда я вернулся к Гопи Нат Кабираджу, но поговорить с ним не смог, поскольку он практиковал день молчания. Но я рассказал ему о визите к астрологу, и о тех практиках и техниках, которые он мне предложил. Пандит похлопал в ладоши, аплодируя, а потом взял бумагу и написал: «Отправляйся к свами Бхумананде, который живет в Каликашраме, в Камакхье, это недалеко от Гаухати по дороге в Ассам. Он сможет рассказать тебе много полезного, потому что его собственный учитель был посвящен в тайный ашрам сиддхов в Гималаях».

Прежде, чем покинуть Бенарес, я решил проведать своего друга, француза, жившего в ашраме Матери, Ананды Маи. Это было прекрасное место, выстроенное на самом берегу реки; во дворе здесь располагалась аптека для бедных. Придя туда, я вновь увидел восхитительную Ананду Маи: она сидела посреди залы, окруженная цветами и музыкантами. Однако вскоре она поднялась и скрылась за маленькой дверью в задней стене. Перед тем, как исчезнуть, она на мгновение обернулась и пристально посмотрела на меня. В ее взгляде можно было найти что угодно — безбрежный волнующийся океан жизни, смерти и любви. Потом она ушла, но я будто продолжал видеть белизну ее плаща, и знал, что этой ночью увижу ее в своих снах.

Я направился к другу в его подземную келью. Он сидел полураздетый, и был также измучен липкой жарой сезона муссонов, как и я. В его комнате не было ничего, кроме маленькой фотографии Матери. Я заметил тонкую черную линию, которая тянулась через фотографию, и приблизился, чтобы рассмотреть ее. Обнаружив, что линия эта была волосом, я взглянул на своего друга.

— Он принадлежал Матери, — сказал он, зардевшись.

Долгое время мы сидели вместе в молчании. Прошло около года с тех пор, как мы впервые встретились в Дехрадуне. Его худоба снова бросилась мне в глаза. Он рассказал, что Мать предложила ему на два года отправиться в ее ашрам в Алморе, и два года оставаться там в полном молчании. Потом он добавил:

— Но жизнь так тяжела! Только смерть принесет нам покой.

Потом мы поднялись на одну из террас ашрама, выходящую на Гангу, и наблюдали за течением воды, плывущей так

уже столетия и целые эпохи, изливаясь из источника в голове Шивы, устремляясь к морю и бесконечности. И всё же, оставаясь внешне неизменной, река постоянно менялась; бревна, животные и трупы, скользящие по ее поверхности, отмечали ритм и дыхание Индии — всегда один и тот же, и всегда неповторимый.

Мы оба долгое время наблюдали за ним.

XXXIX

Долина богов

Я отправил свами Бхумананде письмо, попросив о возможности посетить его и узнать о его учителе и о тайных ашрамах Гималаев. Но в ожидании ответа я решил отправиться в Куллу, или Долину богов — немного отдохнуть и сосредоточиться. Я знал, что регион этот очень красив и немногочислен, поскольку расположен довольно высоко в Гималаях, и дороги его тяжелы и круты.

Долина Куллу населена древней расой, вероятно, пришедшей из Раджастана. Арийские черты в народе гадхи очень отчетливы: эти кочевые пастухи высокогорий похожи на древних греков. Они носят длинные плащи из белой шерсти, и некое подобие юбки на ногах. Элементы одежды удерживаются широкими шнурами, которые они обвязывают вокруг талии.

После подъема по необычайно крутой дороге, я, наконец, достиг перевала Ратанг, на высоте четырех километров. За ним лежат Лахул и Спити, расположенные на границе Ладакха и Тибета, населенные ламами. Виды с гребня перевала очень похожи на тибетские высокогорные плато. Здесь крайне холодно, и ветер дует столь сильно, что мне пришлось поспешно присоединиться к группе гадхи, и, следуя их примеру, укрыться от ветра среди овец и пони. Они дали мне поесть и вскоре после того, как мы прошли перевал, спустились в долину. Я остался один, разглядывать синеву отдаленных гор и наблюдать за переменчивым светом над ледниками. Мне казалось, будто я попал в край, где тени босиком шагают по снегам.

Ветер на этих высотах так беспощаден, что легко может стать причиной пугающих иллюзий, и потому я решил спуститься назад к своему особняку до наступления темноты. Тропа была очень крута и камениста, и всю дорогу мне приходилось обходить валуны или перебираться через них. Продвижение получалось чрезвычайно медленным, и мне приходилось действовать с величайшей осторожностью. Но вдруг я услышал

резкий свист и над краем бездны разглядел силуэт, двигавшийся с невероятной скоростью. Он быстро спускался, приближаясь, и вскоре разминулся со мной, прыгая с камня на камень. Глядя на него, я подумал, что он вообще едва ли касается скал, ни на миг не переставая издавать пронзительный свист. Кажется, это был какой-то лама или монах, но наверняка я сказать не могу: слишком быстро он скрылся из виду. Я присел на камень, уверенный, что стал жертвой галлюцинаций; на земле я увидел каменную табличку, полузасыпанную снегом, на которой тибетские паломники написали: «Ом мани падме хум».

Долину Куллу называют Долиной богов, поскольку в каждой деревне этого региона почитают своего бога, или риши. Однажды, в деревне Манали я видел, как один из этих богов, Риши Ману, оказался подвергнут великому наказанию за то, что не смог собрать достаточно дождей для урожая риса. Многочисленная процессия доставила деревянный образ Риши Ману в древний храм, расположенный в лесу за деревней, посвященный богине Кали — Пожирательнице. Внутри этого храма таится черный камень, подобный алтарю, и, судя по отметинам на нём, некогда там совершались человеческие жертвоприношения. Жрец, или истолкователь посланий бога, остался снаружи, одетый в грубый плащ, чтобы уберечься от холода ночи, а затем, под неистовый бой барабанов, принялся скакать и плясать вокруг. Он вскоре впал в транс, дрожа, как листок на ветру и рот его покрылся пеной. Это было принято за верный знак скорого приближения дождя.

На следующий день дождь пролился над деревней Манали.

В этой деревне живут многие странные люди. Долгое время здесь жил англо-индийский майор, за годы побывавший в браке с несколькими местными женщинами. Теперь же он постарел и был не вполне здоров. К нему приходил саддху, мужчина, отрекшийся от мира и носящий мантию шафранового цвета. Этот саддху приносил майору собранные в горах травы и кусочки бумаги, на которых были написаны мантры. Майор был обращен в индуизм, и держал в своей комнате изображения индийских богов. Вечерами я слышал, как он читает маленькому ребенку и местной женщине, которая спала с ним в одной комнате. Он читал английские истории, переводя их на здешний язык. Однажды я проходил мимо его дома, и, заметив, что окна не занавешены, заглянул внутрь. Я увидел обнаженную женщину, вытиравшую полотенцем руки и ноги. Она пела

мягким голосом, и я подумал, что это, должно быть, жена майора. А на следующий день я встретил ее в горах — она пасла стадо овец, повязав голову ярким красным платком.

Здесь все женщины носят яркие цвета; взгляды их глубоко посаженных глаз очень пронзительны. В летние ночи они собираются в лесу, и там играют на флейтах и бьют в барабаны. Но большую часть времени юные пастушки проводят в горах, в одиночестве, присматривая за стадом и разглядывая далекие вершины и ледники.

Однажды я взбирался по чрезвычайно крутому склону — впрочем, такому же, как и большинство гималайских склонов — и оказался в очень неловкой ситуации: я ухватился рукой за корень, а ноги мои вдруг утратили всякую опору, когда под ними осыпался грунт. И так я прижался к стене отвесной пропасти, и совершенно не знал, что делать дальше — а потому просто стал ждать, пока произойдет чудо. И вот чудо явилось: в виде любезной пастушки, заметившей меня, и спустившейся, чтобы помочь. Она протянула мне руку, и пока мы не добрались до безопасного места, я уже не решался ее отпустить. Она уверенно провела меня по крутой стене утеса, не переставая весело хохотать. Ее красный платок трепетал на ветру, и пока мы поднимались, ее голые ноги порой оказывались у меня перед лицом. Когда же мы остановились, я увидел ее глубокие счастливые глаза, пригласившие меня в приключение более увлекательное, но с тем и намного более опасное — прямо там, на крутом склоне среди диких сосен, растущих на краю пропасти.

Я воображаю, что она всё так же остается там, спасая жизни пугников от одной пропасти, чтобы утопить их в омутах своих глаз.

Пока я возвращался в свою хижину, успело стемнеть. Усевшись на небольшой диванчик, я скрестил ноги в позе лотоса. Уже очень долгое время я не тренировал это умение, но теперь начертил знак поверх сердца и постарался сосредоточиться на пространстве между бровями. Поначалу ум мой был настолько заполнен идеями и образами, бесконечно проносившимися передо мной, что я почувствовал лишь замешательство. Но вскоре мне удалось обуздать все эти изображения и создать вакуум, достичь пустоты, позволившей ледяному ощущению постепенно взбираться по позвоночнику. Вскоре стали вырастать и множиться спирали, и я почувствовал, как теряю форму и очертания, и будтодвигаюсь вперед и назад, подобно маятнику. И как раз в этот момент я почувствовал вдохновение.

Мне захотелось выскочить, выпрыгнуть наружу, вообразить себя вовне, стоящего у двери — пока не стало слишком поздно. Мне удался этот прыжок, и тогда я понял, что нашел ключ к великому процессу, который так долго искал. В результате я увидел себя снаружи; я наконец чувствовал себя вне своего тела. И через секунду я оказался в горном храме, лежа на темном алтарном камне, и кто-то рядом готовился к тому, чтобы заклать меня. Я яростно сопротивлялся, и, содрогнувшись, вернулся в тело, сидя на диване в горной избушке.

Я провел руками по лбу, стирая холодный пот. Как долго я просидел так, не знаю; глотнув воды, я вышел в ночь. Глубоко вдыхая холодный ночной воздух, видел, как в бледном свете сияют ледники.

Я осознавал, что после многолетних стараний нашел ключ. Наконец. И я также понимал, что это открытие понуждало меня к скорейшему принятию решения; я должен был понять себя, чтобы определить свое будущее. Стоя там, в холодной ночи, я решил, что не стану больше использовать этот ключ: я не буду вновь открывать дверь к этому таинству. Интуиция говорила мне, что последовав этой тропой, я навсегда отрекусь от своей личности. Я понял, что дорога эта потребует утраты человечности, душевного обнищания — и я знал, что не смогу, и не должен идти по ней. Я знал, что тогда мне пришлось бы отбросить непосредственный опыт и полноту жизни; мне пришлось бы пожертвовать самоосознанием и своим наследием, а также и разумом. Я знал, что перед таким броском мне вначале нужно во всей полноте пережить все вещи и «привести свой дом в порядок»; иначе жест этот окажется бессмысленным и пустынным. Искушение было велико, но, в конце концов, я решил не пытаться быть более чем человеком. Я хотел быть человеком и ничем другим; я желал знать свои пределы и свою незначительность, и оживить всё, что внутри меня. Я вспомнил, что маги и мистики древности не разрушали своих желаний, понимая, что отречение часто оказывалось лишь обманом. Желания, отвергнутые наяву, часто возвращаются под разными масками, истязая в видениях и снах. Тогда я понял, что моя тропа не может быть тропой отречения, но тропой опыта; я должен был пережить всё с детской чистотой духа и безо всякого ощущения вины. Впрочем, такая дорога не подразумевала потакания своим удовольствиям; наоборот, она призвала быть готовым к необходимости в нужный момент пройти по лезвию бритвы, не застрять, не застыть на ее крутом

склоне. В общем, нужно было прорасти от рисовых корней и вздыматься, как Древо Рая. Нужно было цвести.

Я не уверен, что решение, принятое мной в тот вечер в Долине богов верно; оно может оказаться всего лишь оправданием слабости, одержавшей надо мной верх. Меня также тяготила надежда достичь горы Кайлас, отыскать загадочный Орден и тайный монастырь, в котором я встретился бы с учителями моего Наставника.

В ту ночь я видел странный сон. Я стоял у стены сада, над которой простирались ветви деревьев. Я потряс одну из них, и вниз посыпались мелкие белые плоды. Внезапно они обернулись зверьками или насекомыми и бросились бежать к дому. Я последовал за ними, и вскоре сам оказался внутри. Протянув из окна руку, я схватил двух насекомых и, втащив их в комнату, отпустил. Как-то я понимал, что они не хотят здесь оставаться, и совершенно поражены моим отношением. Один из зверьков сбежал через щель под дверью, что вела наружу. Тогда я прикрыл дверь плотнее, чтобы не смог сбежать и второй. Он безмолвно упрекал меня в том, что я разлучил его с другом. Проснувшись, я вспомнил отвращение, которое чувствовал, когда нес двух этих существ в комнату.

XL Поиски в Гималаях

Тем временем пришло письмо от свами Бхумананды: он сообщал, что ожидает моего визита, и готов рассказать мне всё, что знает о тех тайных ашрамах, в которых получил посвящение его учитель. Тогда я отправился вниз, в Калькутту — чтобы оттуда начать новое путешествие. А оказавшись там, понял, что дороги сделались непроходимыми. Муссонные дожди затопили страну на многие мили вокруг. Брахмапутра вышла из берегов, и много дней подряд муссонное небо было тяжелым и зловещим. Нет более необычайного зрелища, чем это небо, особенно на закате, когда оно окрашивается цветами почти невозможными: золото, пурпур и изумруды. Лучи солнца, пронзая текучие облака, подкрашивают их края, и те кажутся ликами неизвестных богов, глядящих вниз.

Вскоре мне наскучила моя вынужденная остановка в Калькутте, и я с нетерпением ожидал возможности посетить другие части страны. С тех самых пор, как я покинул своего Наставника в Чили и двинулся собственной тропой, я много

путешествовал, осознавая лишь наполовину, что мои походы предпринимались отчасти для того, чтобы утолить жажду приключений. Со времен детства меня волновали диковинные места и народы, и в особенности я был очарован дневниками английских путешественников, посещавших Гималаи в девятнадцатом столетии. Я читал и об экспедициях Свена Хедина, а уже позже — о немцах, которые в последнюю войну покинули Индию и скрылись в Тибете. Я читал и о тибетских экспедициях итальянского профессора Туччи, и отчеты Фоско Мараини, сопровождавшего его на пути в Сикким. В моем доме в Дели я подолгу беседовал с профессором Туччи. Разумеется, Сикким, граничащий с Тибетом и управляемый благородным семейством Лхасы, всегда казался мне околдованным краем. Я издавна воображал махараджа и его принцессу будто сказочных персонажей. В книге Мараини есть фотография одной из этих прекрасных принцесс Сиккима, одетой в тибетские меха. Под фотографией Мараини написал: «Глуп ли я, если считаю, что лама должен быть привлекательным, чтобы я в него поверил?».

Оказавшись запертым обстоятельствами в Калькутте, подгоняемый старыми воспоминаниями и страстью к приключениям, я решил отправиться в Сикким прежде, чем продолжить путь к свами. И почти мгновенно я перенесся в этот легендарный мир, о котором столько читал и мечтал в прошлом. Был поздний вечер, и я сидел во дворце, подле старого махараджа и двух его принцесс. Принцесса Пехма Шоке медленно приблизилась ко мне и подала маленький стакан, полный неизвестного спиртного настоя. Она произнесла:

— Гамбэ!

Это китайское слово велит пьющему осушить стакан один глотком. Пока продолжался вечер, я сделал много «гамбэ» с легендарной принцессой, старым махараджей и его сыном, принцем Георгом. Все они были одеты в церемониальные мантии китайской парчи, вышитые буддистскими свастиками. Вскоре напиток оказал воздействие, и всё вокруг меня завертелось. Супруг одной из принцесс пел тибетскую оперу, полную резких гортанных звуков. Потом мы стали танцевать, повторяя литургические круговые вышагивания. По одну сторону от меня шел махараджа, чья рука была цвета старой слоновой кости, а другой рукой я держал прозрачную нефритовую кисть принцессы. Наконец все вечерние события закончились, и я смог отправиться в постель — я был настолько отравлен этим дья-

вольским напитком, что мне казалось, будто я вот–вот умру. У моей кровати сидели принц Георг и нефритовая принцесса. Когда она опустила ладонь на мой лоб, мне на мгновение стало легче, но почти тотчас же я провалился в бессознательность.

В конце концов, я очнулся, совершенно не представляя, который час. Глядя в потолок, который по–прежнему вертелся, я чувствовал тошноту и головокружение. Чуть погодя пришел кто–то, пригласивший меня в поездку к границе Тибета. Как мне сказали, пора было встречать Махараджжумара, наследного принца Сиккима, возвращавшегося из Лхасы, где он посещал Далай–ламу. Поскольку слово «Тибет» всегда оказывало на меня магическое воздействие, я приложил невероятное усилие, и всё же сумел подняться.

Чистый и холодный гималайский воздух значительно поправил мое здоровье, и вскоре я уже был в состоянии оценить пышность сегодняшней церемонии. В открытом павильоне у дороги через перевал махараджа и его семья ожидали прибытия старшего сына. Наследный принц появился в сопровождении длинного каравана подарков из Тибета. Вдоль всей дороги, которая местами была совсем узкой, старики с бородами патриархов и монгольскими чертами лиц падали в пыль, касаясь лбами земли. Прибывали другие караваны, и, возвращаясь в город, королевская процессия останавливалась у дороги, в палатках и под арками, чтобы обменяться церемониальными белыми шарфами и выпить чаю с собравшимися знатными господами Сиккима.

Подобные сцены весь долгий вечер продолжались во дворце в Гангтоке, столице Сиккима. Наследный принц был очень умен, и многое рассказал мне о Лхасе, о Далай–ламе и царском дворе в Потале, которая в то время уже была окружена китайскими войсками. Позже старый махараджа пригласил меня на третий этаж дворца, и показал великое Колесо жизни и некоторые из своих картин. Старый махараджа писал всю жизнь, но всегда лишь один сюжет, одну картинку, с которой он экспериментировал годы напролет: это изображение заснеженной горы и озера, и в каком–то смысле они тоже были колесом жизни.

В тот вечер я также имел беседу с принцем Георгом. Узнав, что он получил оксфордское образование, я спросил, не посещал ли он также Итон. Оказалось, что туда его не допустили, потому что он был выходцем из «коричневого континента». Я взглянул на него с удивлением и мукой, и заметил боль в его улыбке. Теперь я уже не мог продолжать беседу: мне просто нечего было сказать. Этот приговор был будто пропастью,

разделившей нас, и я могу только представить, каким драматичным это событие стало для юного принца; здесь, в Гималаях, он — бог, перед которым склоняются длиннородые патриархи, а там на него взирали, как на недостойного только из-за цвета кожи. Рана, причиненная этой жестокостью, никогда не затянется в его душе, и я могу лишь надеяться, что изящная нефритовая принцесса никогда не будет оскорблена столь болезненно, как принц цвета слоновой кости.

XLI Врата Тибета

Из Гангтока я отправился в Калимпонг, лежащий у порога Тибета. Здесь проходят сотни торговых караванов, а улицы полны тибетцев, носящих на поясе кинжалы, а в руках молитвенные колеса. Этот радостный и сильный народ одевается в меховые шапки и длинные холщовые плащи. Холмы за городом сплошь покрыты флажками с религиозными изображениями — их подняли здесь, чтобы дующий ветер мог возносить начертанные на них молитвы к вершинам гор. Духом религиозности здесь пронизано всё, и повсюду звучит фраза «Ом мани падме хум», а вращение молитвенных колес и в храмах и в домах поддерживается непрерывно: руками верующих или потоками воды.

В Калимпонге живет принц Петер, греческий и датский. Он — исследователь и антрополог, в особенности заинтересованный изучением Тибета; здесь он изучает местные реликты матриархата. Его особняк увенчан флагштоком, несущим королевский герб; в округе принц прославился тем, что выращивает восхитительные орхидеи. Его жена — русская, она скрывает глаза под темными очками и неизменно остается очень немногословной. Принц Петер показывал мне некоторые тибетские ожерелья, сделанные из человеческих позвонков; от него я получил адрес профессора Юрия Рериха, сына русского живописца Николая Рериха, эмигрировавшего сюда вместе с семьей во время революции. Он выстроил дом в долине Куллу и обратился в буддизм. Его сын, профессор Рерих — ученый-буддист, знаменитый своими тибетскими штудиями. Всему миру известны его перевод «Голубых Анналов» и исследования тибетской живописи. Он живет в Калимпонге с матерью, которая обладает развитыми душевными силами, как это часто бывает с белыми русскими женщинами.

В один из вечеров я навестил профессора Рериха, и мы пили чай в его кабинете. Лицо его имело монгольский оттенок, он

носил острую бородку. Он напомнил мне графа Кайзерлинга, которого мы тоже обсудили — Рерих хорошо знал его, и восхищался им. Он рассказал, что один из сыновей графа живет в Калькутте, изучая философию. Я расспросил Рериха о Тибете, и о том непросто опыте, который страна только что пережила. Он признал, что для страны наступило время тяжелых испытаний, но заметил, что для Тибета предпочтительней подчиниться Китаю, нежели Америке. Как он сказал, китайцы — народ практичный и положительный, религией не заинтересованный. И это обстоятельство, по его мнению, убережет религиозный дух Тибета от перемен. С другой стороны, доберись сюда «американский образ жизни» — всё было бы потеряно, и дух страны изменился бы совершенно.

Должно быть, Рерих говорил о древнем Китае, или о том Китае, который еще может вернуться. Разумеется, Китай дня сегодняшнего действовал в отношении Тибета совершенно иначе.

Пока нам подавали чай, я попробовал спросить профессора Рериха о тайных ашрамах в Гималаях, и рассказал ему кое-что о своих поисках. К моему великому удивлению, он ответил так:

— Да, разумеется, эти ашрамы существуют. Я изучал этот вопрос, и благодаря хорошему знанию санскрита и тибетского языка, нашел в текстах упоминания о четырех тайных ашрамах. Один близ Шигадзе, второй у Эвереста, третий у горы Кайлас и четвертый в Голингматхе. Это и есть ашрамы сиддхов, о которых вы говорите. Я не думаю, что мадам Блаватская говорила неправду о том, что побывала в одном из этих тибетских ашрамов сиддхов. Кто-то считает, будто Блаватская, основательница теософии, никогда не была в Тибете — но вот некоторые дневники британских армейских должностных лиц, путешествовавших по региону, упоминают о встречах на пустынных тибетских плато с русской женщиной, сопровождаемой только слугами из числа местных жителей.

XLII Глаза пантеры

Поскольку пути и перевалы этого северного края оказались непроходимыми из-за оползней или вторжения китайских войск, я решил спуститься на юг Индии, посетив Ориссу и город Мадрас прежде, чем продолжать подниматься к северу. В Мадрасе я хотел посетить известный мне дом свами Джанарданы — это духовный лидер движения, имеющего множество

приверженцев и в Чили, оно называется Шуддха Дхарма Мандалам. Джанардана верит в существование ашрамов сиддхов, и в то, что новый Мессия, чье имя Бхагаван Митра Дева, тайно живет где-то в Гималаях.

Но прежде я хотел увидеть древнюю землю Ориссы; здешние жители проводят древнейшие ритуалы — и на покрытых джунглями берегах океана сохраняется первобытный тантризм. Отправившись вначале в Пури, я решил за ночь дойти по океанскому побережью к храму в Конараке. Время от времени усталость одолевала меня, и я хотел лечь — но всякий раз мой проводник, для которого эти края были родными, принимался пугать меня рассказами о коварных змеях и ужасных бенгальских тиграх. Потому приходилось продолжать путешествие. Я шел почти нагишом, всё так же немилосердно потя. Если нам случалось проходить мимо деревни, кто-нибудь из тамошних жителей рассекал саблей крупный кокос, чтобы я мог напиток его молоком. Муссоны разрушили все дороги между Пури и Конараком, поэтому мне и пришлось добираться по пляжу. Сколько длилась та беззвездная ночь — столько из джунглей доносилось пение под бой барабанов.

К тому времени как мы достигли Конарака, я был совершенно измотан, и едва мог взобраться к огромным камням Храма Солнца. Как и святыни Кхаджурахо, он покрыт тантрическими скульптурами, и внешний вид его представляет собой гигантскую колесницу. Повсюду вокруг его основания высются большие каменные колеса, и каменные кони влекут его к восходящему солнцу. В самой колеснице таится внутреннее солнце, а тантрические скульптуры и движение на восток указывают на встречу Его с Ней: слияние полюсов струны, всегда противоположных друг другу. Когда-то в центре гигантской каменной колесницы Конарака, или Черной пагоды, возвышалась статуя солнца, Сурьи — ныне утерянная или разрушенная.

Поскольку я был не в силах возвращаться пешком по поросшему джунглями пляжу, я нанял небольшую тележку с собственным колесничим — он и направлял водяных буйволов вдоль берега, назад в Пури. Там, у самой воды, я решил снять небольшой домик и остановиться в нём на несколько дней. Здесь я быстро восстанавливал умиротворенность души, плавая нагишом в теплом море. Здешнее купание было совсем не то, что в реках: в Индии омовение в реках — всегда священная церемония. В Аллахабаде и в Бенаресе я испытывал желание нырнуть в

потоки и энергично плавать туда и сюда, наслаждаясь ощущением силы и радуясь тому, что кровь в жилах всё еще молода. Но это было бы невозможным: в реке всегда ожидает святой Иоанн Креститель или Голубь преображения. Потому литургия отнимает счастье народа, лишает его животной силы. Разумеется, сила литургии совсем иная, и она дарует радости, совсем не похожие на мои здешние простодушные морские наслаждения. Это древняя, легендарная сила, таинственно единая с кровью духа.

Время от времени я замечал маленькие флотилии деревянных лодок, проплывавших вдоль пляжа. У них были изогнутые кили и совсем небольшая осадка, они возвышались над водой, напоминая Ноев ковчег или те лодки, что я видел в Адене. Передвигались они взмахами длинных вёсел — как древние галеры. Однажды я подплыл к одной из этих лодок — рыбак протянул мне весло, чтобы я взобрался на борт. Я так и сделал, и отправился рыбачить в море вместе со всеми. Рыбаки были темнокожие, а ноги одного из них чудовищно распухли из-за слоновьей болезни. Даже посреди океана я мог различать странный запах, присущий обитателям Ориссы: будто кислый, с примесью сандалового дерева, бетеля, смолы и морской воды.

Когда мы возвращались вечером, я нырнул из лодки в глубины Бенгальского моря, и быстро поплыл к берегу. Выплыв на мелководье, я увидел невдалеке от себя лицо, появившееся и исчезавшее среди волн. Я остановился на мгновение, чтобы разглядеть его. Тогда и оно тоже замерло, качаясь на волнах совсем рядом со мной: пристальный взгляд двух огромных глаз, голова, покрытая блестящими черными волосами. Этот гипнотический взгляд принадлежал здешней женщине — она купалась в море совсем одна. Под водой я мог разглядеть темную тень ее нагого тела. Выбравшись на пляж, я по-прежнему видел ее лицо — она всё так же неотрывно наблюдала за мной.

Уже в сумерках я босиком шел к своему домику: его окна были прямо над морем. Я плотно закрыл дверь и окна, чтобы малярийные комары никак не могли меня потревожить. Хотя моя постель была оснащена москитной сетью, я никогда не любил спать под ней. И тут за дверью послышался какой-то шум: будто в нее скребся зверь. Я подошел и распахнул ее настежь. Передо мной стояла нагая женщина — та, что глядела на меня из моря.

Не сказав ни слова, но всё так же неотрывно глядя на меня, она вышла на середину комнаты. Я не помню, закрыл ли дверь или она закрылась сама. Так мы стояли, пристально глядя друг на друга,

резко вдыхая. Темнокожая, ноги в грязи; на запястьях и локтях серебряные и медные браслеты, и еще кольца: в ушах и одним проколот тонкий, изящный нос. Предплечья татуированы странными знаками. Притом в ней нет ничего негроидного, и губы идеальной формы. Влажные волосы обволакивают плечи, она показывает белые зубы, ровные и крепкие. Но поразительней всего эти два чудовищных глаза и прижмуренные тяжелые веки — будто птичьи крылья. В этих глазах рождается взгляд, пронизывающий всё пространство моего убежища, и будто поглощающий меня.

Очень медленно, безо всякого шума, женщина приблизилась ко мне. Она взяла меня за руку и положила ладонью себе на грудь, напротив сердца. Грудь ее была тверда будто камень, а сосок резал ладонь как острие копья. Она тяжело дышала, источая отвраляющий аромат. Этот кислый, черный запах расы Атлантиды; будто чай или алкоголь, смесь бетеля и мокрых листьев джунглей. Это и запах дикого зверя, ягненка или водяного буйвола, но прежде всего — пантеры.

Я оставался бездеятелен, она же подошла к постели и легла под москитную сетку. Мне были видны ее испачканные ноги и тонкие изящные пальцы. Браслеты на ней показались рабскими цепями. Двумя руками она обхватила изголовье кровати и задышала возбужденно, не отрывая от меня взгляда. Потом ее тело заколыхалось ритмичными изгибами, учащая темп.

Я понял, что встретился с древней, первобытной самкой. Ее поведение не было животным или примитивным; скорее — плодом народа, изменившего свою историю через богослужение; это было поведение расы, познавшей Змея. Я понял, что она желает посвятить меня в таинство магической фатальной любви, что глубже рисовых корней — и столь же драгоценной, как и голубой сапфир или перо павлиньего хвоста.

Вся комната окуталась клокочущими клубами ее тела, насытилась ее ароматом, земным и эфирным. Я откликнулся — и всю ночь возлежал с изваянием Черной пагоды Конарака; она была и сиреной, или одной из тех безумных и священных вакханок, что плясали в садах Вриндаваны.

XLIII

Свами Джанардана

Конечно, показательно, что у общества Шуддха Дхарма Мандалам так много последователей в Чили; на самом деле, их

там больше, чем где бы то ни было во всём мире, в том числе и в Индии — здесь общество вообще относительно неизвестно. Этот эзотерический уклад, подобно теософии, основывается на божественной иерархии Учителей или сиддхов, задача которых — направлять судьбы человечества и эволюцию человеческого духа. Считается, что иерархия была установлена верховным гуру Бхагаваном Шри Нарайаной двенадцать тысяч лет назад. По мнению пандита Джанарданы, это должно было произойти всего за тысячу лет до великой войны, описанной в Махабхарате. Сведения об этом событии можно отыскать в литературе Шуддхи. Упанишады также упоминают о Шуддха Дхарма, в особенности Адитмопанишада. Иерархию образовывали тридцать два сиддха, возглавляемые самим Бхагаваном, также известным под именами Кумара, Дакшинамурти и Шри Йога Деви. Эти возвышенные существа и их последователи наблюдают за мирской и духовной эволюцией человечества в текущей эре Кали-юги, а их центр, ашрам сиддхов расположен в тайном убежище в Гималаях, и известен как Уттара-Бадари, Ари-Бадари и Йога-Бадари. Но только в 1915 году, когда иерархия была реорганизована и названа Шуддха Дхарма Мандалам, о ее существовании поведал миру Шир Субрахмания Айер.

До того времени принципы и практики чрезвычайно древней философии, описанные на санскрите, сохранялись в тайных гималайских архивах. Пандит К. Т. Шреннивазахария изложил их современности. Сегодня главой ордена является пандит Джанардана, живущий в Мадрасе.

Принцип действия иерархии Джанардана объясняет так: у каждой эпохи есть свой аватара, или воплощение божества — сейчас это Бхагаван Шри Нарайана, в действительности — Вишну. Если бы аватаров не было, некому было бы направлять людей, и они поддались бы демоническому, «ашурскому» состоянию, беспричинно преобладающему. В любом случае, Амсаватар или Мессия нашей эпохи уже явился, и носит имя Бхагаван Шри Митра Дева. Его божественное рождение свершилось 16 января 1919 года, то есть в четверг полнолуния, в месяц Пуша года Калаюкти. Он был рожден в Махараштре, районе Бомбея, женой члена касты кшатриев. Отец божественного создания очень скоро умер, и один из высоких чинов иерархии Мандалам принял ребенка и его мать под свою опеку. Позже был организован круг помощников, называемый Митра Бринда, призванный помогать Мессии в его открытой деятельности —

ради сохранения человечества и исправления его путей. Сейчас Мессия живет в тайном ашраме в Гималаях, и время от времени является членам круга и руководителям Шуддха Дхарма Мандалам. Разумеется, Шри Джанардана видел его, как, возможно, и некоторые из чилийских последователей.

И всё же, нельзя воздержаться от взаимодействия с течением времени. Бхагаван Шри Митра Дева был рожден в 1919 году, а это значит, что теперь ему сорок четыре, и он всего на два года младше меня. То есть, он не так уж молод. А мир тем временем, как кажется, приближается к бездне уничтожения в атомном пламени, увлекаемый «ашурским» состоянием, с которым пришел бороться Мессия. Может быть, Бхагаван Митра Дева проявится только внутренне, исцелив изнанку человеческих сердец — хотя Шри Джанардана утверждает, что Мессия откроется и во плоти, чтобы очевидно и непосредственно переменить материальную судьбу человека.

Удивительно, что эта религиозная секта, столь малоизвестная в Индии, обрела многих приверженцев в Чили. Несомненно, представление о тайном гималайском ашраме отдается эхом в душах народа, долгое время мечтавшего о легендарном Городе Цезарей. А сходство с теософией делает учение общества более приемлемым для нас, нежели абстракции Веданты или аскетические йогические практики — теософия Анни Безант обрела в Чили внушительную популярность. Наконец, мой собственный поиск тайного ашрама в Гималаях, у горы Кайлас, весьма объективно указывает на тот факт, что легендарная мечта, движущая умами Индии, может распространяться и на Чили, и даже всю Южную Америку.

Но теософы, как и чилийские последователи Шуддха Дхарма Мандалам, нарушили чистоту восточной идеи, примешав к ней христианские, западные черты. Например, управляющий Шуддха Дхарма Мандалам в Чили, выступая перед публикой, облачается во внушительный плащ и носит посох, делаясь похожим на крестоносца, храмовника или даже розенкрейцера — словом, выглядит, будто епископ или патриарх византийской церкви. Само собой, такое поведение не имеет ничего общего с Востоком и Индией: здесь господствует йога и растворенный, безличностный дух. Но и в самой Индии движения, подобные Шуддха Дхарма Мандалам, испытывают влияние Запада — эта секта, в частности, имеет мечтательный характер, совсем не свойственный индийцам. Но о таких материях сложно судить с

точностью; слова Шри Джанарданы проникнуты восточной туманностью, им очевидно недостает логического и рационального мышления. Возможно, индийцы просто склонны думать иные мысли, нежели те, которые принято думать на Западе. Временами я делаюсь почти уверенным: индеец и думает не головой, и говорит не горлом; его мысль, кажется, исходит из сердца, или из солнечного сплетения, или из муладхары. Поэтому индус никогда не обсуждает и не объясняет — он просто проповедует. Всякий раз, когда индус говорит, он говорит, как брахман или священник, хотя может и не принадлежать к этой касте. Индус не философ, хотя может им притворяться, и уж никак не логик. В любом случае, всегда, он — проповедник.

Обосновавшись в номере отеля в Мадрасе, я отправился на поиски дома свами Джанарданы. Это оказалось непростой задачей, и рыскать мне пришлось среди тесных улочек, переполненных людской суетой. В конце концов, его прибежище я нашел в небольшом внутреннем дворике, залитом грязной водой и занятом толстой женщиной — сидя на коленях, она чистила латунные кастрюли. Я решил, что это, наверное, жена Джанарданы; она указала на узкую лестницу, которая вела к балкону — там, за столом, расположился свами. Я последовал ее указаниям и встретил мужчину с энергичным и приятным лицом, который приветствовал меня рукопожатием на западный манер. По обычаю юга Индии, он был одет в белое. Узнав, что я прибыл из Чили, он заметно просветлел — само собой, он очень сопереживал нашей стране. Я же, в свою очередь, счел весьма располагающим его самого и его долгие старания в попытке связать два удаленных земных края. В общем и целом, в этом мадрасском свами было мало банального, он весьма отличался от своих соотечественников.

И разница эта вскоре вполне проявилась в его речах:

— Те, кто говорит о растворении индивидуального эго в Брахме, не понимают смысла своих слов, — начал он. — В этом мире, интеллект — наше единственное оружие. На самом деле, я скажу даже больше: духовные истины могут быть постигнуты только интеллектом, достигшим чистоты. Вы можете посчитать такую идею модернистской, но на самом деле она появилась в учении Санатана Дхарма двенадцать тысяч лет назад. Та йога, что стала популярна на Западе, направленная на растворение индивидуального эго в эго превосходящем — это просто йога патанджали, популяризованная свами Вивеканандой. Истинная йога же, это суддха-йога, предшествовавшая

патанджали. Она весьма отличается от позднего типа: подлинная философия хинду не ставит задачей ни растворение индивидуальности, ни упразднение рассудка. Напротив, она старается отыскать божественность в сердце и обожествить жизнь. Таким образом, свою цель она видит в смещении личности из одного центра в другой, и обнаружении этих центров. Сделать это очень непросто, поскольку эти центры, хотя и имеют в теле определенное положение, в то же время оказывают общее влияние на всю сущность. Более того, поскольку сама идея излучения личности из этих центров — гипотеза, я не могу принять и часто используемую аналогию, изображающую эволюцию, превращение личности в индивидуальность, символами гусеницы и бабочки, и идеей перехода от одного к другому. Ведь, на самом деле, метаморфоза может идти совсем в ином направлении. Вкратце, я верю в индивидуализированный дух.

Слушая свами, я стал отмечать сходство его взглядов с представлениями доктора Юнга, которыми он когда-то поделился со мной в доме близ Цюриха. Юнг использовал образ круга, чей центр повсюду, а окружность — нигде, но называл его Самостью. Он желал установить диалог между индивидуальным эго и трансцендентной Самостью — ради достижения цельности, цельного человека. Юнг, бывший и ученым и магом, а в глубине души гностиком, наследником мастера Экхарта, рассказывал мне о своих беседах с мистиками хинду, в особенности о том, как он пытался понять их представления о растворении эго. «Если Рамакришна или Рамана Махариши были способны совершенно растворить свое эго в самадхи, в них не осталось бы ничего, что могло бы пережить или отметить это состояние, так, чтобы иметь о нём сознательное представление» — так он говорил. Доктор Юнг считал, что в подлинном самадхи эго полностью погружается Коллективное бессознательное и должно исчезнуть в нём. Он не верил, что такое событие может произойти при жизни человека.

Я рассказал свами Джанардане об идеях Юнга, но тот не проявил особого интереса. Он не обладал последовательностью и ясным видением доктора Юнга, и потому, кажется, предпочитал аналитическому обсуждению мечтания о своем Мессии и таинственном городе в Гималаях. Я должен признаться, что мне его подход показался несколько занудным — хотя и верно, что мы преследуем очень сходную цель, я всё же веду свой поиск с большим юмором, и осознаю, что отчасти мною движет

дух приключений. Более того, я признаю, что мой опыт переживаний во внутреннем мире состоит из феноменов субъективных, и не желаю выдавать их за общий непреложный закон. Я просто отмечаю события этого опыта, как лично неоспоримые, практические факты. С другой стороны, я не желаю отрицать какую-либо сторону жизни, или избегать опыта в его полноте, ведь душой и умом я погружен в течение здешнего мира. Я не знаю, куда иду, и, стало быть, хватаюсь за всё — сотнями рук, как делал Шива; я не знаю, чем это закончится, но могу предсказать, как в один из дней определенный путь станет важнее прочих — тогда я буду должен следовать ему. В любом случае, я вовсе не ищу счастья или покоя. Совсем наоборот.

Уже в завершении моего визита свами Джанардана показал мне некоторые грампластинки, присланные ему из Чили тамошними последователями. Это были записи мантр, спетых чилийцами. Я прослушал их по настоянию свами — сам он ценил их очень высоко. Потом он пригласил меня войти в покой для медитаций. На стенах были изображены боги хинду — такие, какими их рисовали в индусских альманахах начала столетия. Горели палочки благовоний.

Перед уходом я задал вопрос:

— Где же то тайное место, где живет Бхагаван Митра Деви?

— В Бадринатхе, — ответил он. — Точнее, в западном Бадринатхе.

Он едва заметно улыбнулся.

— Я отправлюсь туда, — сказал я.

Прощаясь со мной, Джанардана не сложил руки в намашкаре дравидской Индии, но по-европейски взмахнул рукой в неуловимом жесте.

XLIV Дорога сверхчеловека

Теперь я намеревался отправиться в Пондичерри, но вначале посетил Канчипурам — город, знаменитый древними храмами. Здесь я обедал с человеком, управлявшим заправочной станцией «Standart Vacuum». Отправившись к храмам вместе со мной, он показал на манговое дерево у главного входа в один из храмов, сказав:

— Мы с женой приходили сюда, чтобы просить Вишну о рождении дочери. Вишну взял нашим молитвам — девочка

родилась, и в подтверждение божественной милости и могущества на ее руке появился знак в форме плода манго.

Многие годы Пондичерри был французской колонией, и потому заметно отличается от остальной Индии. Губернатор здесь — наполеоновской закалки француз, по имени М. Менард; когда его губернаторский дворец принимает гостей, босоногие слуги в красных одеждах объявляют об их приходе, колотя в пол длинными серебряными посохами и выкрикивая имена посетителей. В те дни Пондичерри был взбудоражен стремлением к освобождению от французского правления. Всё же, этот край был очарователен: здесь умели с выгодой пользоваться преимуществами статуса свободного порта, и, как водится во французских провинциальных местечках, кухня была просто превосходна.

Кроме прочего, тут продолжает существовать ашрам Шри Ауробиндо. Жизнь этого провидца в высшей степени интересна и любопытна, хотя его последние годы в Пондичерри сплошь окутаны загадками. В молодости Ауробиндо Гош боролся за независимость своей страны. Он, бенгалец из Калькутты — как и Рамакришна, Рабиндранат Тагор и Ананда Майи — сбежал на юг, чтобы снова не попасть в британскую тюрьму. В Пондичерри французы предоставили ему убежище, и здесь он посвятил себя духовной жизни, превратившись из революционера в аскета. После он встретил странную французскую еврейского происхождения, ныне известную, как Мать — а тогда она была замужем за французом. Вскоре эта женщина бросила мужа, чтобы последовать за Шри Ауробиндо, и построить восхитительный ашрам, носящий его имя. После этого сам Шри Ауробиндо сделался малозаметен: обосновавшись на втором этаже ашрама, он спускался лишь раз в год, чтобы принять пришедших увидеться с ним почитателей. Он восседал в кресле, будто на троне, и глядел на них, не говоря ни слова. Тагор также приходил к нему; мужчины сидели лицом к лицу долгое время, в абсолютном молчании. Два старика с длинными белыми бородами, наверное, выглядели, как ветхозаветные пророки. Шри Ауробиндо писал книги, отличавшиеся красотой ясного слога. Чилийская поэтесса Габриэла Мистраль предложила его в качестве номинанта Нобелевской премии, когда эта награда вручалась ей.

В ранние годы, когда Шри Ауробиндо также избегал внимания публики, Мать посвящала свою впечатляющую энергичность возведению ашрама. Казалось, она создает вокруг него культ, стараясь извлечь выгоду из продолжающегося мол-

чания Шри Ауробиндо — высказывалось даже мнение, будто он был ее заложником. Иногда можно услышать истории о том, что Шри Ауробиндо умер, а его место занял другой человек. Молодого Ауробиндо помнят, как темнокожего бенгальца, а тот почтенный старец, что раз в год появлялся перед публикой, не произнося ни звука, был почти бел.

Если это правда, история оказывается поразительной. Но я думаю, произошло нечто даже еще более необычайное: может быть, мифическая история воплотилась в двух человеческих существах, Шри Ауробиндо и Матери. Действуя в земном мире и основав ашрам, она была активным элементом. Он же, напротив, оставался безмолвным, и, запершись на втором этаже, действовал в совершенно иной сфере. И она, кажется, должна быть Шакти, Майей и, прежде всего — Кали.

Его же мистическую роль сложно определить через вуали личных воззрений. Например, он верил, что человек — просто звено в цепи эволюции, которая в итоге приведет к сверхчеловеку. Сверхчеловек Шри Ауробиндо ближе к ангелу Рильке, чем к нищеанскому лидеру, сила которого коренится в самой его природе. Но и эта разница может исчезнуть, когда все рубежи останутся позади.

Шри Ауробиндо неоднократно заявлял, что человек не станет сверхчеловеком поневоле или в естественном процессе — но только посредством воли и свободы духа. По его словам, человек способен сформировать новый телесный сосуд, в котором воплотится сверхчеловек. Когда его спрашивали о том, как же человеку научиться этому, Шри Ауробиндо отвечал: «Посредством йоги — науки, подразумевающей взаимодействие со Змеем, Кундалини».

Значит, Шри Ауробиндо мог удалиться в свою келью на втором этаже ашрама, чтобы создать новое вместилище для сверхчеловека — никто никогда не видел его там, никто не знал, что с ним происходит. Этим можно объяснить телесные перемены: белую кожу и уподобление библейскому Иегове. И вместе с тем кажется, будто его ум распался. И потому, в конце концов, он оказался не рассудительным Иеговой, но воплотил в себе архетипичный Нуль, Старца дней. Он не имел никакого отношения к деятельности Матери на нижнем этаже и вообще к созданию ашрама. В каком-то смысле она была вольна распоряжаться им по своему желанию — но в то же время, совершенно никак не могла на него влиять. Он существовал в совсем иной сфере, он стал ничем.

Никто не знает, случилось ли так, или Шри Ауробиндо пустился слишком узкой дорогой и не смог переправиться по лезвию

клинка. Но какова бы ни была правда о его приключении, оно кажется захватывающим, особенно своей непринадлежностью к течениям Кали-юги. Мужчина полностью посвятил себя созданию нового тела — чтобы мог быть достигнут ужасающий ангел, почти дьявольский сверхчеловек. И его методом была йога или наука Змея, родная ему, поскольку корни обоих — в Бенгалии.

Всё же, стоит подчеркнуть, что это только умозрительные рассуждения, а о действительном приключении Шри Ауробиндо неизвестно ничего. На самом деле, есть другая теория, согласно которой Мать, сведущая в черной магии и каббалистических формулах, украдала его силы и токи, воплотив их в себе и оставив от него только пустую оболочку, живой труп.

Сегодняшняя же деятельность ашрама представляет собой смешение йоги, технологии и западного спорта. Мне доводилось видеть шествия молодых людей обоих полов, одетых в форменные шорты и рубашки. Они маршируют на стадионах или вдоль пляжей Пондичерри, распевая песни Божественной жизни и практикуя асаны, совмещая их с борьбой и греческими видами спорта. Идеальную жизнь для будущего человечества они предполагают именно такой, и их уклад соответствует обществу ожидаемых сверхлюдей.

На рассвете каждого дня, все юноши и девушки ашрама собираются на большом плацу перед центральной постройкой. Спустя некоторое время высоко наверху открывается окно, и показывается очень старая женщина в газовом платье. Она смотрит вниз на юношей и девушек, а потом безмолвно исчезает. Больше здесь ничего не происходит, и никто не произносит ни слова. Это Взор Матери, неизменно сопутствующий восходу солнца.

Позже, перед полуднем, группы верных последователей и паломников входят в ашрам. Они выстраиваются в длинную очередь, тянущуюся из двора к центральной зале. Здесь стоит пустой трон, вокруг него юные девочки держат вазы с цветами. Входит Мать, поддерживаемая учениками. В ее облике будто отображена вся история. Ее орлиный профиль увенчан белой шелковой шляпой, золотое кольцо падает на лоб. Она одета в широкие белые брюки. Всмотревшись в ее лицо, я увидел образ Вечного возвращения: круговорот всех существ и вещей в Великом колесе жизни. Казалось, здесь содержатся все жизни минералов, растений, животных и людей, смешанные воедино. В лице Матери есть что-то нечеловеческое: в нём отражаются кошки и рыбы, грабители и святые.

Расположившись на троне, она раздает цветы, один за другим. Из ваз, которые держат девушки, она берет цветок и отдает паломнику, пришедшему увидеть ее. Церемония совершается в полной тишине: посетители почтительно принимают цветы, Мать остается безмолвной.

Снаружи, в саду ашрама расположена гробница Шри Ауробиндо. Он был йогом, потому его тело предано земле, а не огню. Обычно вокруг гробницы собираются для медитации группы учеников и паломников. Приблизившись к ней, я не мог не гадать: взломай мы могилу, что мы найдем в ней — меч или только червей?

XLV Рамана Махарши

Из Пондичерри я спустился еще дальше на юг, в Мадурай. В один из вечеров я оказался у одного из крупнейших в Индии храмов: великого храма Минакши. Именем Минакши в Мадуреа называли Парвати, и храм этот посвящен ей. Одевшись как хинду, я наблюдал здесь церемонию укладывания богов в постель. В центральном святилище брахманы били в барабаны и дули в длинные, больше похожие на трубы, роги, другие раздавали прихожанам конфеты и молоко. Прислонившись спиной к старой резной колонне, в загустевшей от дыма сандалового дерева атмосфере, я смотрел, как брахманы переодевают Минакши и Шиву, ее мужа. Вначале с них сняли дневные одежды, потом, овеяв опахалами, выкупали и накормили, и, наконец, надели на идолов ночные сорочки. А после их оставили наедине в святилище, чтобы там, в тайной келье, они могли приступить к действию божественной любви.

Недалеко от Мадурая располагается Тируваннамалай, а подле него — холм Аруначала. У подножия этого небольшого холма жил и умер один из величайших йогов или святых современной Индии — Рамана Махарши. Как и Рамакришна, он умер от рака. Я решил посетить его ашрам и увидеть гробницу — так же, как Шри Ауробиндо, он не был кремирован. Впервые оказавшись во дворах ашрама, я был поражен здешней миролюбивой атмосферой. Побродив вокруг, я вошел в главный зал — и прежде всего мне бросился в глаза диван Раманы Махарши, которым он пользовался при жизни. Над диваном висела цветная фотография святого, настолько реалистичная, что казалось, будто он по-прежнему лично присутствует здесь. Раману Махарши

почитают в Индии особо: он считается достигшим постоянного союза эго с Самостью. Поэтому он жил и умер на глазах людей, ведь когда йог достигает такого состояния, ему больше не нужно упражняться в умственном сосредоточении или размышлении; он просто перестает сдерживать себя и парит в состоянии благодетия. То, чего достиг Рамана Махарши, описывается ведическим представлением о слиянии Атман и Брахман; это событие называют дживанмукта — освобождение при жизни. Потому он говорил тем, что оплакивали неизбежность его смерти: «Почему вы плачете? Я не ухожу. Я здесь и всегда буду здесь. Я воплощен в вас самих». Рамана Махарши стал единым с Атман, стал коллективной сущностью. Таков идеал Веданты: преодоление разобщенности и союз с абсолютным.

Какое-то время я отдыхал в главном зале, впитывая здешнюю атмосферу миролюбия. Потом ко мне подошел свами, желавший сопроводить меня в прогулке по окрестностям. Я посетил школу юных брахманов: здесь группа голых по пояс бритоголовых мальчиков пела сотни ведических стихов и санскритских мантр. Они казались зачарованными ритмом музыки и пели гипнотическими голосами, так же, как поколения их предшественников.

Потом мне показали реликвии Махарши. Взяв его посох, я испытал волнение — ведь и руки святого так же касались его. Потом, к моему величайшему удивлению, меня проводили в маленькую комнату, где с почтением показали темный кубический ящик. Это оказался своего рода туалет, которым Рамана Махарши пользовался в последние годы жизни. На крышке ящика тлела палочка сандалового дерева. Вначале я был скорее оскорблен и рассержен, не понимая, зачем они сохраняли эту вещь — но взгляды их набожных лиц встречали туалет святого учителя с почтением и нежностью — и я начал кое-что понимать о действительной природе преклонения, присущего этому необычному народу. Ведь в Индии разделений нет: всё естественно, и всему отведено подобающее место в космосе. Естественные функции человека так же священны и достойны уважения, как и его идеи. То, что приходит свыше, в той же мере является частью человека, как и то, что выходит из-под него; и со вселенской точки зрения (которая всегда и свойственна индийцу), между ними нет разницы. Идеи и экскременты в равной степени продукты человека, и в свою очередь — продукты божественного плана природы. Потому индийский святой может читать проповедь, опорожня кишечник, и святость его слов не поблекнет от

физиологического действия. Как я видел, в Индии всё совершается публично: здесь нет никакой нужды в интимности или приватности. Очень вероятно, что и величайшие страницы западной литературы родились и были записаны в тот момент, когда их авторы сидели на стульчаке — но будь этот факт предан огласке, нам бы они уже не показались такими возвышенными. В Индии же нет никакой разницы, здесь важен только конечный, цельный результат человеческих поступков. Здесь человек не разделен с природой, но наоборот тесно и интимно связан с животными, обезьянами, реками и деревьями. Потому хинду легко поддается наплыву эмоций перед природными явлениями: для него водопад настолько же таинственен и достоин любви и восхищения, как и физиологическая работа тела или действие интеллекта. Потому боги хинду — это овеществления природных сил, кристаллизованные в Коллективной душе; их храмы поднимаются из земли, как заросли джунглей, и божественные идолы роятся на них, как полчища насекомых. Во всех отношениях хинду связан с космосом — в его мифологии, в образах, и в богатстве Коллективного бессознательного, которым он живет и которое толкует каждый час своего дня. Оттого хинду не нужны перемены, чтобы избавиться от скуки. Всякий, кто влетел в Коллективное бессознательное, не может заскучать; цветам или горам не скучно быть собой. Только тот, кто отделился от природы, и не касается более космоса, чувствует беспокойство. Наверное, буддисты хинаяны должны испытывать те же мучительные ощущения, ведь их религия, как и протестанство, отделяет их от природы. Индуизм же, наоборот, очень подобен католицизму в этом отношении: он полон богов, мужских и женских святых и природных сил, обретших воплощение в человеческих образах.

В этом скрыта почти необоримая сила хинду — ведь он, почти единственный в мире, по-прежнему хранит полное взаимопонимание с природой и приемлет ее во всех формах. Его страна часто оказывалась поработанной, но в конечном итоге хинду вновь торжествовал, опутав захватчиков будто джунглями или волнами океана. Хинду — меч, который может согнуться, но никогда не сломается. Он исчезнет лишь, если исчезнет Земля.

Поэтому, наверное, для хинду было бы несложно выжить в атомной войне. Урбанистическая цивилизация и городская жизнь по-прежнему чужды ему. Его цивилизация — цивилизация джунглей и гор. Даже дом ему чужд: это просто некое убежище от муссонов, не имеющее ни собственного значения, ни

характера. Хинду оказывается совершенно неспособным украсить интерьер, потому что не понимает его смысла. В крупных городах, таких, как Бомбей и Калькутта, хинду живет, спит и умирает на тротуаре. В общем, город разрушает его — так же вымерли аборигены Патагонии и Огненной Земли, когда их принудили носить одежду. Сегодняшний хинду готов к атомной катастрофе — ее разрушительная мощь направлена против городов; на самом деле, хинду был бы даже счастлив. Ведь Индия, за исключением нескольких современных городов — страна маленьких деревень. Это великая цивилизованная природа или великая природная цивилизация.

XLVI Лица без значения

Только в Индии можно увидеть лица настолько древние, что они, кажется, принадлежат самой истории. Такие обличия воображаешь, читая Библию или Гомера — а в Индии они оживают: глубоко прорезанные черты, бороды патриархов; угольно-черные глаза и длинные загнутые ресницы — кажется, повсюду на земле они уже канули в небытие. На здешних улочках вполне можно ожидать встречи с ожившими дьяволами и античными богами: здесь перс, там аккадец, или кто-то еще, переживший Потоп. Пыльные индийские пути заполнены древними фигурами в туниках — они будто сошли со страниц Библии, и индийские деревни полны персонажей Завета.

Если бы такое лицо принадлежало человеку Запада — его тут же сочли бы существом невероятным; потому что на Западе лицо считается проявлением внутренней сути — там лица не растут сами по себе. Так, лоб в глубоких морщинах и густые брови выдают человека демонических сил, а борода патриарха и отстраненный вид указывают на мужчину, пережившего все бури и невзгоды, прежде чем обрести покой. А в Индии между лицами и внутренними сущностями нет никакой связи. Здесь лицо будто бы существует само по себе, и индийские лица так же вычурны и разнообразны, как узоры на крыльцах бабочек здешних джунглей.

Бесполезно было бы пытаться отыскать соответствия между этими необычайными лицами и внутренней, индивидуальной личностью, ведь природа не имеет личности; природа — маска, скрывающая коллективный ум.

Эта любопытная особенность может объяснить многие черты индийской жизни: отсутствие этикета, отсутствие индивидуализированных форм и неспособность чувствовать внешнее пространство и перспективу. Индийцу совершенно чуждо чувство красоты в ее аполлоническом аспекте. Человек Запада не одобрит ни его манеры, ни жесты, ни даже одежду. Чувство прекрасного у хинду тождественно природной красоте леса или реки: он неспособен оценить абстрактные формы и совершенно ими не интересуется. Он останется абсолютно безучастным к красотам Флоренции. С другой стороны, водопад его зачарует — ведь интуиция и традиция сообщат ему о том, что течение воды отражает его собственное существо.

За те годы, что я имел возможность знакомиться с архитектурой и живописью хинду, я очень нечасто находил что-то, созвучное моему эстетическому чувству. На самом деле, изобилие красок и форм меня скорее раздражало. Но я могу понять, что всё виденное мною — архетипично: один храм здесь точно такой же, что и другой. Один свами подобен другому. И каждый святой — как и все другие святые.

XLVII Свами Кришна Менон

Следующим свами, которого я отправился посетить, был Кришна Менон, живший в Тривандруме, городе на Малабарском берегу, открытом португальцами века назад. Как и у Джанарданы, у Кришны Менона были последователи в Южной Америке, особенно в Аргентине — а разница между ними была в том, что Кришна Менон был совершенным ведантистом.

На пути к Тривандруму меня не оставляли мысли о мертвой девушке, я был охвачен ее памятью так же, как и тогда — на борту корабля, пересекавшего Средиземноморье. Я снова размышлял о том странном процессе, что ведет к мистической свадьбе с душой, гадая, действительно ли я желаю сейчас отступить от этой узкой тропы, чтобы всмотреться в тени вдоль пути. Но тогда я понял, что она, должно быть, ждет меня, как Беатриче ждала Данте — чтобы протянуть мне руку и помочь взобраться к вершине Древа Жизни; там, единый с нею, я смогу оставаться вечно.

Сидя перед Кришной Меноном на втором этаже его удобного ашрама, я спросил:

— Верите ли вы в продолжение существования после смерти? Продолжают ли мертвые существовать в какой-то форме, и можем ли мы встретиться с ними?

Мгновение Кришна Менон колебался, а затем ответил:

— Веданта учит нас, что жизнь — иллюзия, и индивидуальное эго — также иллюзия. Как же может существовать смерть, если не существует жизни?

Потом, после короткой паузы, он продолжал:

— Чтобы достичь спасения, которое есть мир, приходящий со знанием, вначале нужно встретить мудрых.

Кришна Менон, ранее бывший главой полиции, лишь однажды в Калькутте виделся со своим гуру — но этого для него оказалось достаточно.

Позже я рассказал ему о своем опыте переживаний во внутреннем мире, о «вибрациях», и об ощущениях разделения с телом. Он сказал, что я испытываю эти ощущения потому, что в предыдущем воплощении, должно быть, упражнялся в йоге. Свами тоже практиковал раньше йогу, но потом оставил.

Мне часто казалось курьезом, что философы и святые веданты, в остальном совершенные монасты, всегда твердо верят в перевоплощение. Всё для них — иллюзия, но перевоплощение и индивидуальная карма, очевидно, избавлены от всякой иллюзорности. Ну что же, мне было сказано, будто я страдаю от последствий того, что практиковал йогу в прошлой жизни; но ведь только йог может стать дживанмуктой и побороть иллюзию.

Свами Кришне Менону тоже приходилось работать со своей кармой: он страдал от болей в ногах, и должен был проходить курс традиционного лечения аюрведы, состоящий из массажей и травных компрессов. Ему пришлось оставить общественную жизнь, чтобы завершить лечение. Но то было много лет назад, а теперь Кришна Менон мертв. Он был невысоким человеком приятного и приветливого характера, очень ясно выражавшим свою мысль. Он напомнил мне об одном чилийском друге.

XLVIII Мыс Коморин

Малабарский берег чрезвычайно красив, особенно в сезон муссонов, дарующих растительности насыщенную зелень, не похожей на пальмы, кокосы и песчаные пляжи Цейлона. Люди и селения здесь очень ухоженные, как и повсюду в дравидской

Индии. Само побережье имеет богатую историю: к ним приставали корабли царя Соломона, и именно здесь находился легендарный Офир. Святой апостол Фома пришел сюда, сюда же пришли и евреи после разрушения Храма. На этот берег высадились португальцы; именно они придумали слово, чтобы обозначить увиденную разделенность общества хинду. Слово «каста» на самом деле было западным термином, употребляемым в отношении выведения пород скота. В пятнадцатом столетии какой-то пошляк из португальских моряков применил его к укладу индусов, и так оно оказалось вписанным в историю. Индийский термин, обозначающий касту — варна, что значит «цвет».

В пути я задержался, чтобы осмотреть дворец, по стилю почти китайский или непальский. Достаточно забавно — он напомнил мне и о деревенском доме в Чили. Я вошел в дом и осмотрел его главный зал, где, надо полагать, король или принц развлекал своих женщин. Стены повсюду были покрыты фресками, изображавшими сценки из жизни Кришны: он занимался любовью с Радхой и другими гопи, а вокруг него располагались обезьяны и кони, и многие другие звери, также вовлеченные в любовные игры. Нужно думать, картинки эти были нужны для того, чтобы принц мог подражать позам изображенных на них любовников. Во дворце также имелась деревянная кровать, которой приписывались лечащие силы. Португальцы укладывали на нее своего принца, когда он бывал болен — несомненно, он лежал здесь, надеясь побороть свой недуг.

Позже я свернул с прямой дороги, чтобы посетить водопад Курталам, в котором хинду совершают церемониальные купания. Сотни мужчин, женщин и детей приходят сюда и становятся под падающие воды; они собираются, как мотыльки на огонек свечи и приходят в экстаз перед этим символом природной мощи. Я тоже решил искупаться здесь, и, войдя в воду, почувствовал, как тело пронизал электрический ток водяных струй.

Было уже далеко за полдень, когда я добрался до мыса Коморин — самого подножия Индии. Здесь Рама переправлялся на Цейлон с обезьяной Хануманом, чтобы спасти свою жену Ситу, и отсюда арии отплывали на завоевание Цейлона. В их вторжении им помогал дравидский вождь с юга Индии — сыгравший в фактической истории ту же роль, что Хануман играет в легенде.

Мыс Коморин отмечает слияние трех великих вод: Индийского океана, Аравийского и Бенгальского морей. Здесь я присел на скалу и глядел, как пурпурно-красное солнце окра-

шивает волны. Обхватив голову руками, я думал о том пути, каким столь многие из этих легендарных деяний исчезали из мира. Все сцены, которые я наблюдал и описал, вскоре станут не более чем мертвой легендой, когда новая Индия промышленной революции и планов пятилеток поднимется над руинами прошлого. К тому времени турбины, самолеты и гигантские мосты совершенно затмят сверхъестественные силы Ханумана, столетия назад перелетевшего от мыса Коморин к Цейлону. Более того, атомная эра межпланетных путешествий сделает мои посещения Антарктики и Гималаев мелочными и незначительными, а мой отчет об этих приключениях будет старомоден, как сегодня комичны истории о путешественниках девятнадцатого века. Как нынешнее поколение считает наивными приключенческими байками продвижения британских солдат, пересекавших пустыни на лошадях, так будущие поколения сочтут ничего не значащими экзотические существа и странные ландшафты этой маленькой планеты. И уж совсем неинтересны им будут блуждания в песках пустыни души.

Однако даже если я кажусь сегодняшней молодежи обомшелым ретроградом, я верю, что должен сложить отчет о том, что видел и пережил; потому что считаю, что он пригодится поколениям далекого будущего. Моя задача — сохранить сокровище и наследие прошлого, чтобы стать звеном в цепи поколений тех, кто упорно противится приближению черной ночи. И получается, что книга эта написана не для моих современников — а для тех немногих из поколений будущего, кто может снова захотеть отыскать тайную цепочку следов, связующую Анды и Гималаи — даже если в будущем ни в Индии, ни в моей стране, не найдется уже ничего, что хоть отдаленно напомнило бы пережитое и описанное мной. Но внешние факты не важны, и подлинный смысл моих приключений и всех путешествий исключительно внутренний. Мы всегда продвигаемся внутрь себя, даже отправляясь на другие планеты.

Эта книга — для тех, кто снова возжелает пройти за пределы полюсов.

Глядя на свои записи, я понимаю, что моя история и моя душа направлены вспять. Поэтому понять меня в действительности смогут только в годах грядущих. Я настолько древний, что могу принадлежать только будущему.

XLIX Река

Подобно реке, я спустился из головы Шивы в пещере Амарнатх и прошел сквозь пылающие равнины центральной Индии. Я позволил себе плыть по течению, не сопротивляясь, я прошел сквозь дождь, свет и тень. Дрейфуя так, я встречал мертвых и живых, трупы животных и змей, прокаженных, и даже богов. В этом буром потоке я плыл к морю, к южной окраине Индии, где кончается земля и три древних моря сливаются воедино.

С высот Гималаев сошел я к мысу Коморин, к чакре муладхаре, и обнаружил, что и здесь есть храм. Из святилища Шивы в Амарнатхе я пришел к мысу Коморин, к храму Кания Кумари, принцессы–девственницы, Спящей красавицы и Змея Кундалини.

Эти храмы мы можем найти в собственном теле, потому что всё в теле священно. Нам должно воздвигнуть храмы в каждой части тела, и служить всем богам, обитающим там: мы не должны отвергать ничего. Напротив, мы должны объединить всё и жить в каждой части. Мы должны стать жрецами собственных ритуалов и собственных жизней, мы должны проживать жизнь как богослужение, быть брахманами в собственных храмах. Мы вновь должны переоткрыть себя, и уподобиться людям Атлантиды. Для этого нам нужно постареть на тысячи лет — тогда мы сможем спроецировать себя на тысячи лет в будущее.

Всё это мы должны сделать, поскольку, как сказал Сведенборг, Вселенная имеет форму человеческого тела, и внизу то же, что и наверху; то, что в Анда, в космосе — обнаруживается и в Пинда, в человеке. И потому это путешествие, как и любое другое — одновременно и внутреннее и внешнее.

Я смотрел, как рассвет разгорается над мысом Коморин, среди стенающих неприкасаемых и полуголых женщин, раздирающих свои раны. Восходящее солнце освещало всю нашу ничтожность, и также сверкало на стенах храма Кания Кумари, принцессы–девственницы.

Тогда я искупался в этих священных водах, вместе с рыбаками и паломниками, прибывшими сюда издалека. Я вошел в воды трех древних морей так же, как входил и в священную реку.

L Кришнамурти

Анни Безант, основательница теософской школы в Адьяре, провозгласила Кришнамурти Мессией нашей эры — его можно было считать теософским Бхагаваном Митрой Девой. Лично я думаю, что Анни Безант выбрала его на роль Мессии за чрезвычайную красоту: ни одно лицо в Индии (за исключением, может быть, Неру) не обладает такой красотой.

И нет более страшного удела, чем оказаться избранным теософами на роль Мессии. Это травмирующее переживание привело Кришнамурти к восстанию против всех учителей и гуру, и против всех возможных способов обмана. И Кришнамурти явил миру пример необычайной ценности, сопротивляясь величайшему искушению властью и богатством — он отверг всё, что могло причитаться ему, как Мессии. Он неизменно противостоял обожанию психопатов, в большинстве своем богатых и праздных — из того сорта людей, что бродят по миру, торопясь швырнуть себя к ногам первой фигуры, которая покажется им полубожественной.

Почти все деяния Кришнамурти были — из необходимости — отрицающими и разрушительными. Он распустил созданный для него Орден звезды в Голландии, публично заявил, что не является Мессией, и стал смертельным врагом всех учителей и гуру любых школ и традиций, любых философий и религий. Он шел по миру, уничтожая всё и восставая против всего; он уподоблялся Шиве в великом опустошительном танце, производящем новый вакуум творения. Можно сказать, в тот момент, когда Кришнамурти отрекся от роли Мессии, он и сделался истинным Мессией нашего времени.

Я помню нашу первую встречу. Это произошло незадолго до того, как я прибыл в Индию. В самолете из Парижа в Лондон я читал книгу Кришнамурти, надеясь отыскать в ней успокоение и избавление от воспоминаний, которые я оставлял позади.

Позже, шагая по пустой лондонской улице, я увидел мужчину без головного убора, идущего прямо мне навстречу. Хотя до того я никогда не видел Кришнамурти, я немедленно узнал его. Мы оба остановились и схватили друг друга за руку. Больше ничего. Годы спустя, когда я встретил его вновь, в Индии, он сказал, что отлично помнит нашу встречу в Англии.

О Кришнамурти рассказывают, что когда он писал книгу «У ног Учителя» — в тот период, когда он верил в своего гуру и читал Майтрею — его лицо было красивым настолько, что казалось почти божественным. Можно предположить, что он естественным был предназначен для любви, уступок и послушания. Но вот он разорвал всякую связь с подобными явлениями и всецело последовал пути интеллекта, жесткому и безжалостному. В терминологии хинду можно сказать, что хотя по своей сути он принадлежал бхакти-йоге, он постарался сделаться джнана-йогом. Одним словом, он воспротивился собственной природе. И ни в коем случае нельзя быть уверенным в том, что изменение это было вызвано детской травмой.

Видеть Кришнамурти перед публикой — зрелище чрезвычайное. Он сидит на подиуме перед огромной аудиторией, одетый как хинду, на нём непорочно белый кадхи. Белы и его волосы, но темные морщины на лице указывают на муку, отметину Змея. Он произносит невероятные мысли, в которых будто содержится вечная правда — они соответствуют величайшему замыслу. Глаза его полуприкрыты, а морщины вокруг них — как силуэт голых ветвей в пустынном зимнем рассвете. Вот его слова:

«Нет учителя, нет священных книг и нет традиции. Никто и никого ничему не может учить. Никто не должен ни к кому прислушиваться; нет смысла в том, чтобы следовать».

По памяти я повторяю его фразы, которых мне не забыть никогда. Я слышал их на публичных лекциях в Нью Дели:

«Бессознательное и Сознательное существуют только в мире символов, но всё же их придется понять, чтобы пройти за их пределы. Ум должен выйти за пределы, и достижение этого состояния оборачивается полным безмолвием ума. Но это не то состояние, которое можно развить — оно мгновенно, и возникает на один момент, безо всякого перехода или продолжительности чувства. Также нельзя развить или взрастить любовь или смирение».

«Мысль творит мыслящего; без мысли нет мыслящего. Но при этом мысль — всего только память, или воспоминание о прошлом. Придется освободить себя от мыслей и от символов, чтобы перестать быть мыслящим».

«Ум не может действовать без мозга, однако он создает мозг».

«Человек, желающий сделать вечной свою жизнь, или свою любовь, или свою душу, подобен человеку, выстроившему избушку на краю реки и отказывающемуся нырять в поток жизни, не имеющий ни конца, ни начала. У жизни нет начала или конца, так

же, как и у ума. Только если мозг освобожден от мысли и памяти, и от воспринятых идей, он может достичь состояния, не имеющего начала или конца, и представляющего вечность».

«Нет ничего плохого в том, чтобы смотреть или созерцать, но практиковать сосредоточение ума — значит просто налагать ограничения. Повторять мантры или практиковать йогу, или другие дисциплины и формулы — просто усыплять ум. Проще принять транквилизатор — его эффект обойдется меньшей ценой и проявится быстрее. Но кто сегодня знает, как смотреть? Кто знает, как созерцать? Люди смотрят, но не видят ничего. Кто видел муссонное небо? Кто видел большое дерево, вырастающее к небесам? Кто видел мальчишеское выражение на лице мужчины?».

Кришнамурти говорит, как достигший просветления. Он говорит так красиво, его слова так полны поэтической созидательностью, что поэты не могут сдержать слез перед красотой выражения. Вот еще некоторые его изречения:

«А кто теперь слушает, кто прислушивается к своему сыну, своей жене или своему другу? Слушать — тоже искусство, и следует прислушиваться и к положению собственного тела, к настроениям и жестам — это тоже музыка, создаваемая жизнью, плывущая вокруг нас».

«Почтенность — признак посредственности. Любить, или даже убить — значит полностью отдать себя действию, и обрести вечность в настоящем. Понятие страха возникает, потому что мы лишены цельности: частью мы живем в прошлом, частью — в будущем. Мы разделены, потому что не живем в настоящем, но живем в воспоминаниях и в догадках о будущем. Страх смерти проистекает не от самой смерти, но рождается из тех участков времени: прошлого и будущего — в которых мы не существуем в действительности. Страх особенно приходит из памяти. Мы боимся смерти, потому что помним, как видели кого-то умершим, и потому что думаем, что и нам придется умирать. Но тот, кто живет в настоящем, не может бояться смерти, потому что он целиком отдает себя действию жизни. Поэтому, когда он умирает, он не будет бояться смерти: в самом действии умирания он обретет целостность, какой, вероятно, не знал при жизни. Такой умирающий полностью откликнется на вызов; он полностью, всей своей жизнью, отдастся смерти. Ведь смерть красива и поэтична; она совершенно отлична от жизни, она — неизвестное и неожиданное; она полна

возможностей и не похожа ни на что, известное при жизни. Уже только за это ее стоит любить. Но ведь она еще и конец времени. Тот, кто хочет продлить свое эго, увековечить свои “я был”, “я есть”, “я буду” — встретит смерть печальную. Но тот, кто мыслит, не обременяя себя воспоминаниями, тот, кто слышит и видит в настоящем — способен жить во вневременной сфере, не имеющей начала или конца. У жизни нет начала и конца, так же, как и у смерти».

Слушая Кришнамурти, я думал о том, придет ли день, когда я смогу начать любить смерть и желать ее. Для большинства людей смерть принимает форму кого-то, кого они любят. Для многих это Иисус Христос, для других — Дева или Мать. Что касается меня, то я сомневаюсь, что захочу умереть, прежде чем смерть примет форму золотой девочки или белого цветка. Тогда я прыгну в этот цветок — и он станет моей смертью.

Кришнамурти продолжал:

«Ни одна из фундаментальных проблем жизни не имеет ни ответа, ни разрешения. Ответ или разрешение могут быть найдены только в признании того, что разрешения нет; в принятии ценности того, что проблема неразрешима. Так обстоит дело и с жизнью, и со смертью».

Вернувшись с юга Индии, я встретил Кришнамурти в Дели. Я посещал его лекции и проповеди, и видел, как в спорах он выходил из себя и кричал, будто ребенок. Однажды по случаю мы оказались наедине в его доме. Он стоял в комнатке, окна которой выходили в сад, а я спросил:

— Верно ли, что действие убийства, или совершение какого-то преступления столь же чисто, как и действие любви?

— Да, — ответил он, — но только в том случае, если ум остается ими незатронут. Ведь все действия должны происходить именно так. На самом деле, любовь не должна оставлять следов, после того, как она пережита, так же, как и совершенное преступление.

Тогда я спросил его, читает ли он — и он сказал, что нет. Про сны он сказал так:

— Я вижу сны, только если съем что-то тяжелое. Обычно я не вижу снов, потому что *смотрю* на мир. Когда человек смотрит, и сознательным и бессознательным существом, он не оставляет ничего для снов и для ночи. Тогда он просто отдыхает.

Однажды я пересказал доктору Юнгу эту беседу с Кришнамурти, а он в ответ поведал мне, как некоторые ученые и изо-

бретатели настолько погружались в свои эксперименты, что просто не оставляли себе ничего такого, что могло бы видеть сны — или, по крайней мере, им казалось, что они не видят снов. Потом вдруг что-то менялось, и они снова начинали видеть сны.

Тогда я спросил Кришнамурти:

— Но что значит «смотреть»? Как нужно смотреть?

— Вот так, — сказал он, и стал пристально глядеть на цветок в вазе, стоявший на столе. Наблюдая за ним, я чувствовал, будто он опустошает себя, и особая атмосфера охватывает его и цветок, и что-то исходит из цветка и из него, возможно, встречаясь в каком-то ином месте, но определенно не здесь.

Потом Кришнамурти стал глядеть на мои руки. В то время я даже подумал, что уже никогда снова не завладею ими — он совершенно отнял их. Тогда он улыбнулся своей невероятно красивой улыбкой.

Я спросил:

— Вы говорите, что нет нужды следовать за учителем, и что не стоит ни учить, ни учиться. Но почему тогда вы проповедуете и произносите речи?

Казалось, он был озадачен, но ответил так:

— Я источаю свои мысли, как цветок источает запах. Цветок просто не может этого не делать.

— Скажите, — спросил я еще, — а устаете ли вы от этого?

— Да, немного.

Я подумал, устает ли цветок, источая аромат.

Мы вышли в сад на чаепитие. Кришнамурти пил только горячую воду, в которой смешал мед и лимон. Из-под стола появился кот. Кришнамурти пытался позвать его, но тот прошел мимо. Глядя на него тогда, я стал проникаться соучастием к нему, мужчине чрезвычайной храбрости. Кришнамурти — один из величайших людей наших времен. Его суждения, хотя он и отрицает это, коренятся в философии Веданты, и в некоторых отношениях подобны дзен-буддизму. Всё же, его проповеди страдают от слабости изложения, характерной вообще для восточного мышления: будучи записанными, они выглядят неубедительно. Как бы то ни было, Кришнамурти — проповедующий брахман. Он противоречит себе, проповедуя о том, что человеку не следует проповедовать. Однако этого противоречия он не видит — индеец никогда его не видит, даже в политике. Более того, оно его и не волнует, потому что мысли его не рациональны, они проистекают из других областей.

С некоторых пор Кришнамурти потерял равновесие, вероятно из-за того, что приблизился к барьеру, сквозь который не может пройти. Однажды он уже обнаружил, что нужно отречься от роли Мессии — и ему, вероятно, придется совершить новое отречение, чтобы обрести способность двигаться дальше, или даже просто остаться живым. Он проповедует полное отвержение условностей; он принимает любовь и преступление, но сам живет как традиционный индеец юга. Вегетарианец, пьющий мед и горячую воду, живущий аскетично — в полном соответствии с установленным образцом гуру, или учителя. Я не знаю, случалось ли ему полюбить, но уверен, что никаких злодеяний он не совершал никогда.

И теперь, чтобы суметь пройти дальше и цвести, как розы в его комнате, ему придется отречься от своих лекций. А может, он станет любить или убивать, или перестанет быть Мессией, которым всё же является вопреки себе. Ему придется стать цельным человеком и спуститься к человеческим путям. В общем, пришло время второго отречения.

LI Истерия?

Я снова возвратился в Дели, чтобы встретиться с чилийским другом — врачом, возвращавшимся в Россию проездом через Индию. В тот вечер мы долго беседовали. Мой друг, расхаживая взад и вперед по комнате, стал говорить о том, что в первую очередь, мы должны сохранять чистоту рассудка.

— Мы, люди Южной Америки, не принадлежим этому миру, — начал он. — Так же, как не принадлежим и цивилизации западного христианства. Мы ни коренные американцы, ни европейцы: мы где-то в середине. Может быть, поэтому наши суждения могут быть несколько яснее прочих. Но, прежде всего, мы должны отдавать себе отчет в том, что цивилизация западного христианства определенно погибает. Серьезным подтверждением этому служит ее симпатия к Востоку, поскольку тяга к экзотике, ориентализм, всегда появлялись в культурах упадочных. Другим свидетельством является ее восхищение примитивизмом и природой. Ведь цивилизация — это всегда искусственная структура, выстроенная в противостоянии к природе. Здесь, в Азии, я вижу примитивизм повсюду, ну, или если тебе угодно — древность. Мы, люди Южной Америки, не принадлежим на са-

мом деле к здешнему миру, но, поскольку мы столь долгое время притворялись европейцами, нам может быть удобно чуть повернуться к Востоку, чтобы уравновесить себя.

Он немного помолчал, прежде чем продолжить:

— Я полагаю, важнее всего помнить, что цивилизация — это всегда триумф над природой. Это жест или ритуал. Это также нечто подобное фантомным болям, болям в ампутированной конечности. Поскольку ты жил в Индии так долго, ты, наверное, мыслишь эти предметы иначе. Но я не об этом хочу с тобой поговорить; я хочу рассказать о моей специальности, психиатрии, и о том, что я видел в России. Они там расширяют теорию Павлова об условных рефлексах. Они не верят в то, что психоаналитики назвали бессознательным, и не очень-то вкладываются в психические комплексы. Наоборот, душевные болезни они приписывают, в основном, окружению. Если у рабочего развиваются симптомы невроза или умственного истощения, они проверяют его окружение и спрашивают его коллег — так пытаются найти причину проблем. В крайнем случае, его отправят на другую фабрику. Такое лечение по большей части основано на медикаментах.

Мой друг перестал ходить взад-вперед, и стал напротив, держа руки в карманах.

— Очевидно, метод этот неприемлемый, и всё равно не позволяет избежать необходимости ответов на вопросы философские. Но мало просто признать негодность метода — что же делать дальше? Я, разумеется, не спиритуалист, и не могу верить в то, что определенные душевные ощущения сохраняются и после смерти. В Бомбее я посещал современную школу йоги, там измеряли пульс мужчины в трансе, и снимали электрокардиограммы и энцефалограммы, когда он был в самадхи. Что главным образом поразило меня в этих экспериментах, так это неубедительность способов, гипотез и результатов.

Тут я перебил его.

— Тебе могут быть интересны мои беседы с доктором Юнгом. Некоторое время назад мы беседовали о смерти, и он сказал: «Если действие ума независимо от мозга, ум может действовать и там, где кончаются время и пространство. А если ум обнаружит себя за пределами времени и пространства, то он окажется нетленным». Я спросил, есть ли у Юнга какие-то подтверждения того, что ум может работать у грани времени, и он рассказал мне, что во время войны наблюдал людей, получив-

ших огнестрельные ранения в мозг — деятельность их мозга была, таким образом, парализована, но, тем не менее, они оставались способны видеть сны. Юнг спрашивал себя: «Что же это — то, что видит сны?». Потом продолжил: «У ребенка нет точного и конкретного самоопределения, его эго рассеяно по всему телу. И всё же, ребенок видит личностные сны, впоследствии оказывающие на него влияние на протяжении всей жизни. Опять же — чем является тот предмет, который видит сны?». Доктор Юнг также рассказал мне о некоторых феноменах материализации, которые он наблюдал, и о том, как медиумы на его глазах перемещали предметы, не касаясь их физически.

— Я очень скептичен в отношении всего этого, — ответил друг. — Предположения, гипотезы! Это может оказаться всего только каким-нибудь электрическим явлением, как радио или замок на фотоэлементах, который автоматически открывает дверь, если его заслонить. Без сомнения, в этом немного связи с посмертной жизнью. Ты задумывался всерьез об этих сообщениях, происходящих отсюда, из Индии, о детях, которые якобы помнят свои прошлые жизни? Мне рассказали, что психиатр и всемирно известный невролог отправились изучать эти случаи. Так, маленькая девочка четырех лет утверждала, что помнит точное место, где раньше была замужем. Более того, она оказалась способна детально описать дом и особенности характера своего мужа. Ее слова, кажется, подтверждало и свидетельство ее «прошлого мужа» — он был еще жив, хотя уже и глубокий старик. Лично я не верю, что это может доказывать хоть что-то. Я давно обратил внимание на то, что все эти феномены метемпсихоза обнаруживаются только в Индии. Так сказать, они обнаруживаются только в стране, которая уже верит в перевоплощение. Всё это может оказаться просто коллективным внушением, или давлением коллективного разума на сверхчувствительный дух ребенка, ведь дети обычно очень восприимчивы. Опять же, принцип радио. Подобные вещи часто происходят в связи с идеями, которые еще не сформулированы, или с механизмами, которые вот-вот должны быть изобретены. Несомненно, их умозрительное присутствие — плод коллективного ума, который может воплотить в реальность только гений или изобретатель. Но опять же, подобные феномены обычно происходят только в подходящей душевной атмосфере, так сказать, умственном климате.

— Может быть, ты прав. Как и ты, я не верю, что эти феномены углубляют или разрешают тайну смерти. Ведь я считаю смерть чем-то вроде возможности взглянуть на собственное тело снаружи. Все мы заперты в огромном теле, не имея возможности вырваться, как в этих Колесах жизни.

Я встал и показал другу тибетскую танку, висящую на стене комнаты. Изображенное на ней Колесо жизни помещалось в животе яростного демона. Я указал на концентрические окружности вокруг колеса.

— Умирание, вероятно — просто перемещение из одной части круга в другую, — сказал я. — Или, с той же вероятностью, оно может быть пробуждением. Ведь, в конце концов, все эти вещи, о которых мы толкуем, и о которых рассказывал доктор Юнг — не более чем рабочие гипотезы. Мы никогда не познаём сущностей; мы знаем лишь, что мир приходит к нам, в конечном итоге, посредством наших чувств, и наших совершенно личных реакций на эти ощущения. Так, например, я даже не уверен, что мир продолжит существовать после моей смерти. Ведь как, в конце концов, он может продолжаться без меня, если это «мой мир»? Взять, например, новейшие теории в физике и математике — полностью абстрактные и гипотетические. А что они породили? Атомную бомбу. Значит, мы должны спросить себя, существуют ли на самом деле атом и бомба — или важнее то, что они существуют только в уме человека? Если так, то важны идея и ум, создающий вещи. Природа подражает искусству. Поэтому, возможно, индийцы лучше всех подготовлены к преодолению проблем с бомбой, ведь индийская философия уже поддержала этот тезис. Она всегда утверждала, что действительно значимым является созидательная воля: слово, идея или магический знак.

— В этом может быть правда, — ответил друг, — ведь и я озабочен, в частности, наукой йоги. Люди, разработавшие эту науку в древности, должны были знать нечто, что сейчас утеряно. Но как они могли знать, тысячи лет назад, о точном расположении анатомических сплетений? Если они правы в этом, то запросто могут оказаться правы и в другом, в их знании о третьем глазе, например, или том пустом пространстве, что будто бы существует между мозгом и сводом черепа, и которое может управлять функциями, о которых нам неизвестно ничего.

Позже мы говорили о многом другом, но перед завершением нашей беседы я решился рассказать другу о собственных

внутренних переживаниях, о вибрациях и чувстве разделения с телом. Ранее я говорил о них с другими учеными, даже с доктором Юнгом, и теперь старался выражаться как можно яснее. Мой друг терпеливо выслушал долгий рассказ, а когда я закончил, сел напротив и посмотрел на меня как-то чудно. После продолжительного молчания, он, наконец, сказал:

— Знаешь, ведь это истерические проявления. Конечно, истерия — просто слово. Но не перенес ли ты в прошлом какую-то очень тяжелую болезнь, какой-то несчастный случай или нечто подобное?

Долгое время я сидел молча, пытаюсь собраться с мыслями и вспомнить. И я осознал, что такой катастрофический опыт у меня действительно был.

LII Брат безмолвия

Была ночь, когда дверь в мою комнату медленно отворилась. Полоса лунного света появилась на полу, и я увидел, как снаружи качаются в дуновениях ветра верхушки деревьев. Потом беззвучно вошла неясная фигура и уселась в углу: странный монах, в сопровождении маленькой собаки. На нём был тибетская шелковая туника и огромный тюрбан. Походная сумка висела на его плече, а в руке он держал посох паломника.

Следуя обычаю страны, он молча уселся, и мы долгое время глядели друг на друга. Я заметил: глаза у него голубые, а бледное лицо будто совершенно не тронуту возрастом. Потом я начал ощущать то, что он говорит:

«Мое имя Сунья Бхай, Брат пустоты или Брат безмолвия. Я живу в высокогорном краю, в Алморе, на пороге между Химават и горой Кайлас. Я живу там уже много лет, и мой друг — Снежный человек, но, прежде всего — безмолвие. Во всём свете нет ничего подобного безмолвию Гималайских гор. Люди толкуют и говорят, но правда обнаруживается только в молчании. В последнее время ты говорил очень много, и ты был неправ, поступая так. Потому я и пришел — чтобы обучить тебя языку молчания, и чтобы слушать твоё молчание. Мне неинтересно, что люди могут выразить словами. Мне интересно только то, что они могут сказать своим молчанием. Ты должен понимать, что те, кто красиво говорит, произносит прекрасные речи, обычно молчат очень скверно. Но действительно важно именно молчание, потому что оно — подготовка к Великому безмолвию».

«Да», согласился я. «В последнее время я много говорил, произносил слова беспорядочные и бессмысленные. Потому я обещаю, что буду хранить молчание, пока не встречу тебя в Алморе. Но как ты думаешь, пропустит ли меня Снежный человек, так, чтобы я мог посетить тебя?».

«Это зависит от того, усвоишь ли ты урок молчания и язык молчания. Ты приближаешься к исполнению. Я могу заверить тебя в этом, потому что страдание — лучший наставник, а ты страдал. Ты знаешь, как попасть ко мне? Мое место там, вверху...».

И, вместо того, чтобы указать наружу, вверх к Гималаям, Сунья Бхаи указал посохом на мою голову.

Мы беседовали долго, но лишь в молчании, на языке безмолвия.

LIII

Паломничество в Бадринатх

В последней попытке отыскать тайный ашрам сиддхов в Гималаях, я решил отправиться в Бадринатх. Там, на вершинах Гималаев, существует храм Вишну, ежегодно посещаемый индусами со всей Индии. Джанардана сказал, что его Мессия, Бхагаван Митра Дева, живет в западном Бадринатхе, и я думал, что, расспрашивая паломников и путешественников по пути, я смогу отыскать то, что ищу. Это всё, что я мог сделать, поскольку дорога к горе Кайлас была блокирована китайскими войсками с самого начала их вторжения в Тибет. Я считал, что этот поход станет последним усилием в уже и так затянувшемся паломничестве, продлившемся от Анд до Гималаев, и ото льдов Антарктики до высокогорий Химавата.

Я думаю, что в те годы я оказался единственным чужеземцем, и уж наверняка единственным чилийцем, дошедшим досюда и пересекшим так называемую Внутреннюю границу Гималаев, установленную когда-то британцами и сохраняемую индийцами в военных целях. Наверное, именно по этой причине ко мне был приставлен особый агент службы разведки. Его звали Наилвал, он принадлежал к касте брахманов. Я думаю, его назначили не только для того, чтобы сопровождать меня, но и наблюдать за моими действиями. Наилвал взял с собой повара, тоже брахмана — потому что был ортодоксом и не мог есть ничего, приготовленного членами другой касты.

Покинув Ришикеш, мы сделали первую остановку в Киртинагаре. Отсюда нас некоторое время сопровождал Индрапал-

сингх — молодой офицер местной полиции. По пути он получил травму, защебив палец между камнями. Рана обильно кровоточила, но он не выразил ни малейшего недовольствия, ни словом, ни жестом. Я спросил, не больно ли ему, а он очень серьезно посмотрел на меня, и сказал, что для него это ничего не значит, ведь он член воинской касты и принадлежит к расе бойцов.

Ту ночь мы провели в месте, называемом Шринагар. В хижине было очень жарко, так что мы спали под открытым небом. Перед рассветом я слышал, как Наилвал читает молитвы и почтительно повторяет мантры.

Отсюда до Пипалкоти мы проделали путь вместе с караваном Шри Багчи — бенгальского брахмана и заместителя судьи в Паури, центре округа. Пипалкоти оказался украшен арками из цветов, и заместителя судьи встречали церемониальной музыкой. Мы решили остаться здесь на ночь, радуясь тому, что забрались повыше, и жара начинала спадать. В общегитии мы познакомились с молодым человеком, путешествовавшим по горам в поисках родных богов. Родился он здесь, но образование получил в Англии, и теперь служил офицером в индийском флоте. Теперь он возвращался к родным традициям. На следующее утро мы встретили группу альпинистов, возвращавшихся после попытки восхождения на гору Тризул. Там погиб один из их товарищей, его звали Чакраварти.

Население здешнего края очень бедное. Долины бесплодны, растительности и всходов летом очень мало, а уж зимой, когда долины покрыты снегом, и того меньше. По дороге из Пипалкоти к нашей следующей остановке, Гулапкоти, мы встретили караван Раджи Маты из Теригарвала — махарами этого района. Она спешила у небольшой хижины, чтобы выпить чашку чая. Это необычайная женщина, глубоко религиозная и обладающая тонкими чувствами. До 1953 года она жила в пурде — то есть, обитала в частных покоях за ставнями и засовами, и видеть ее мог только муж, дети и слуги. Однако в тот год ее супруг умер — и она совершенно переменяла свой жизненный уклад. Будучи избранной в парламент, она представляла целый район, и без усталости путешествовала по горам, лично посещая своих подданных, желая всё знать об их проблемах и нуждах. Люди здесь почитали ее за королеву и мать. Радж Мата очень любила мужа, и ностальгически рассказывала о жизни в пурде, где, как она говорила, «всё было легким и время текло, как река, позволяя осознать себя в неподвижности». Каждый

год она совершала паломничество в Бадринатх и Кедарнатх, а теперь рассказала мне о Долине цветов, лежавшей в стороне от главных маршрутов. По ее словам, долина эта была полна тысячами красок всевозможных прекрасных цветов, красующихся почти бок о бок со снегами. Она рассказала мне и о женщине-чужестранке, многие годы жившей там в особняке, который построила сама. В конце концов, она и умерла среди цветов.

Попрощавшись с Раджей Матой, мы продолжили взбираться в гору, наконец достигнув перевала, граничащего с рекой. Здесь мы обнаружили храм, посвященный Гаруде — чело-векоптице, своего рода транспортному средству бога Вишну. Это место называлось Гарур Ганга, и паломники всегда останавливались, чтобы совершить омовение в здешних водах. Поскольку только Гаруда мог позволить нам пройти или отнести нас к Вишну, мы взяли со дна реки несколько мелких камешков, и вместе с деньгами пожертвовали их храму. Эти камешки нужны и для того, чтобы отгонять ядовитых змей, часто грозящих жалом с обочин дороги.

Отсюда мы продолжили восхождение к Джохиматху — нашей следующей остановке. Мы часто встречали паломников: одним было по дороге с нами, другие возвращались с гор. Я был одет в индийский костюм, чтобы не привлекать лишнего внимания, но попутчики наши были необычайны, их нельзя было не заметить; одетые в мантии многих ярких цветов, лицо каждого старика, женщины и ребенка отмечено смирением и просветленностью. Очень красивая молодая мать, одетая в долгую шафрановую мантию, опираясь на посох, несла на плечах маленького ребенка. Черты лица и изящество рук указывали на утонченность и аристократичность, но она путешествовала пешком и была босонога. Позже нам встретился старик, которого несли в данди, паланкине. Он, вероятно, был купцом, и судя по числу слуг — зажиточным. После я заметил юношу, который едва шел — ковылял, опираясь на посох. Одна из его ног распухла и сделалась бесцветной. Наилвал расспросил его, и узнал, что по дороге с ним приключилось несчастье. Всё же, он продолжал паломничество; его глаза ярко сияли, и боль была чем-то совсем незначительным.

Тут и там вдоль дороги попадались дхармасалы: кое-как построенные общежития для паломников. В них имеется скромный набор товаров, и под их крыши валяются утомленные дневной дорогой мужчины и женщины. В одной из дхармасал повар Наи-

лвала купил своему господину продукты. Я же питался консервами, которые взял с собой (и которые оказались очень тяжелой ношей) и кое-какими овощами и чапати, которые купил в дхармасале. Я ел один на краю утеса, потому что ортодоксальный брахманизм Наилвала не позволял ему делить трапезу со мной. В Гулапкоти, где мы также остановились на ночлег в общежитии, он даже развернул мое кресло в другую сторону, противоположную своей. Так мы и ели, сидя спиной друг к другу. Он поступал так, потому что верил, что взгляда чужеземца или человека из другой касты достаточно, чтобы повлиять на пищу брахмана, отравить ее духовную полезность. Наилвал пояснял, что пища очень важна, поскольку отправляется прямо в кровь, а оттуда в душу. Потому ее нужно готовить с любовью, чистыми руками и с чистотой помыслов, и лучше всего, если готовить будет жена или мать. Он объяснил, что ритуал принятия пищи предписан Ведами, и умолял меня не оскорбляться его отношением.

В тот вечер мы достигли Джохиматха, важнейшей остановки в пути. Это название — искаженное санскритское Геотир Мат. Геотир значит «свет», а мат — «монастырь». Значит, место это названо монастырем света, а точнее, монастырем просветления. Так это место назвал Шанкарачарья, потому что здесь, взбираясь к Бадринатху, он достиг просветления. Это был один из величайших пандитов Индии. Родившись в восьмом веке на юге, он вызвал к жизни великое реформаторское движение, которое, по сути, было контрреформацией против буддизма. В общем, он был создателем адвайты веданты, философии чрезвычайно монистической. Он также ввел сам обычай индийских паломничеств, скреплявших духовное единство Индии, поощряя путешествия из Гималаев к мысу Коморин и наоборот. С тех пор толпы паломников бредут по лицу Индии, как это было в Средние века, когда люди со всей Европы посещали Сантьяго-де-Компостела в Испании. Европейская романская архитектура и песни паломников соответствовали в значении каменным изваяниям и священным гимнам Индии.

Всё же, в последние годы характер паломничества в Бадринатх изменился. Теперь это святое место посещают даже еще большие массы людей, напуганные тем, что область вскоре может быть захвачена китайцами. Со времен моего похода дорога была сильно улучшена, и сегодня достичь Бадринатха не так уж сложно. Я мог бы даже сказать, что Бадринатх окажется уничтожен джипами и автомобильными дорогами раньше, чем

до него доберутся китайцы, а может быть, они разрушат его рука об руку. Но когда туда отправлялся я, мне пришлось подготовить целую альпинистскую экспедицию — и вместо того, чтобы шагать по широкой дороге, мы должны были взбираться на высочайшие перевалы, и переправляться через глубочайшие расщелины. Всё это время я надеялся узнать что-то достоверное о земле бессмертных сиддхов и об их магическом ашраме, и спрашивал многих паломников, молодых и старых — всех, кого встречал по дороге — надеясь, что они смогут мне что-то рассказать. Наилвалу совсем не нравились мои разговоры с паломниками, наверное, казавшиеся ему всё более подозрительными. Всеми способами он пытался оградить меня от встречных и попутчиков, будто замуровывая меня в невидимую стену. Всё же, я почти всегда умел прорвать его заслоны, так что, в конце концов, Наилвал смирился.

Продолжая восхождение, мы слышали звук, повторявшийся со всё большей настойчивостью: человеческий выкрик «Джаи Бадри Вишал!» — «слава господину Вишну, Творцу Жизни!». Всякий проходящий мимо паломник восклицал так, и мы должны были отозваться тем же. Мы приближались к высочайшим обителям, и крик этот звучал в каждом горле со всё большей настойчивостью.

В тот вечер в Джохиматхе я посетил монастырь Шанкарачарья; оказалось, что все монахи собрались в просторном центральном зале, освещаемом факелами. Здесь были также саддхи и паломники, идущие в Бадринатх. Я присоединился к кругу монахов и стал слушать, как главный брахман рассказывает анекдот о жизни Шанкарачарья. Он говорил о том, как великий мудрец принимал участие в состязании и переспорил всех своих оппонентов. Тогда к нему подошла женщина и спросила о сексе — а он сказал, что не сможет ответить, поскольку не имеет никакого сексуального опыта. Так что Шанкарачарья попросил подождать шесть месяцев, за которые он должен будет подготовить ответ. Используя умения йоги, он отделил свое тонкое тело и проник в тело умирающего короля — сумев перенять опыт его насыщенной сексуальной жизни. Наконец, после шести месяцев, Шанкарачарья вернулся и ответил той женщине.

А после все другие присутствующие по очереди держали короткую речь. Когда очередь дошла до молодого человека, который сидел рядом со мной, кутаясь в толстое одеяло, тот стал рассказывать о своих переживаниях, сопровождая невнятный рассказ резкими жестами. Но я слушал его с напряженным

вниманием — потому что его опыт был слишком подобен моему. Вот что он сказал:

— Как раз перед наступлением утра обморочное наваждение охватило меня. Я почувствовал дрожь, пронизывающую насквозь, и в итоге оказался неспособным пошевелиться. Тогда, только после величайших усилий, я начал двигаться и сбежал от этой дрожи — я сделал это, стараясь выбраться из себя, из собственного тела. Наверное, кто-то другой вошел в мое тело, так же, как в истории, что вы, свамиджи, рассказали нам о великом гуру, Шанкарараяджи. Наконец, я смог преодолеть это чувство посредством тапас и пуджас, а также через раскаяние, молитвы и аскетическую жизнь. Я совершил многие паломничества в святилища и монастыри, и уже прошло много времени, с тех пор, как то наваждение последний раз случилось со мной.

Меня подмывало спросить этого человека, не перенес ли он какой-нибудь тяжелой болезни или несчастья, и я хотел, чтобы мой друг, чилийский доктор, сейчас оказался рядом.

На следующее утро мы поднялись на рассвете, чтобы посетить пещеру поблизости — здесь укрылся от мира йог, не носивший даже никакой одежды. Придя туда, мы обнаружили, что из пещеры валит густой дым, и смогли разглядеть только нескольких лохматых растрепанных существ, покрытых пеплом и держащих трезубцы. Это были ученики того святого йога, что скрывался внутри, и они приглашали меня войти. Низко пригнувшись и закрыв рот платком, чтобы не задохнуться в дыму, я вошел в пещеру и в ее глубине обнаружил недвижимую, смутную фигуру. Когда мои глаза попривыкли к дыму и темноте, я стал различать детали: длинные черные волосы, совершенно заросшее лицо, тело покрыто сажей и пеплом, ногти на руках и ногах скорее походили на звериные когти. Он был совершенно гол и сидел в позе лотоса. Глаза широко раскрыты и недвижимы, как у мертвого — он не моргнул ни разу, хотя воздух был полон дыма сгоревшей травы и сандалового дерева. Я даже несколько раз провел рукой перед его лицом, но ничего не произошло. Глаза его совершенно замерли, и я совершенно уверен, что ничего не изменилось бы, если бы на зрачок ему сел паук или муха — и он бы даже не почувствовал этого. На лице его не было ни какого-либо выражения, ни примет возраста, но мне сказали, что ему 180 лет. Я оставался в дымной пещере, сколько мог вынести, но вскоре духота и тени стали слишком гнетущими, и мне пришлось уйти.

От Джохиматха мы продолжали карабкаться к Панду-кечвару. В пути Наилвал остановился, чтобы показать мне висячий мост, переброшенный через овраг. Он указал на другую сторону, где тропа исчезала, закручиваясь вокруг выступа. Это и была та тропа, что ведет в Долину цветов — я снова услышал рассказ о тысячах чудесных цветов, что растут там.

Я даже всерьез задумался о том, чтобы пуститься по этой тропе. Нездешняя женщина, что жила и умерла там, могла знать и великую тайну, тропу к бессмертным. Но Наилвал настаивал на том, что для цветов еще слишком рано.

Пандукешвар — самое красивое место из всех, какие мы посетили в нашем восхождении. Вечером я вышел из избушки и стоял, глядя на снежные горы, уже видимые повсюду вокруг нас, и реку, протекавшую в глубоком ущелье под нами. Краски пейзажа были очень насыщенными, и я начал думать, что сумею обнаружить в глубоких ледяных тонах гор ярко окрашенные своды вечного города — цель всех моих поисков. Там я непременно отыскал бы мудрых сиддхов: тех, кто сохранил древнее знание, сберег в неприкосновенности цепь, протянувшуюся из прошлого в будущее.

С приходом ночи стали появляться звезды; Вечерняя звезда сияла выжидательно, будто хотела что-то сказать. Так я долго стоял наедине с небом, но, наконец, ледяные порывы ветров стали пронзать меня словно ножами, и мне пришлось укрыться внутри.

Я уснул у огня в хижине. Клубы белого тумана проплывали мимо, завихряясь в непроглядную толщу, а потом истаявая тонкой взвесью. Я оказался на узком веревочном мосту, провисшим над ущельем. Я знал, что должен пройти по нему, но глядя вниз, на ревущий ледяной поток, чувствовал слабость. Мост раскачивался, как маятник, усиливая мое головокружение, но я всё же добрался до другой стороны, и встал на тропу, ведущую вверх по холму. Тропа всё равно продолжала раскачиваться, как и мост прежде, и я понял, что мне придется приспособиться к ритмичным колебаниям — я должен был идти, будто танцуя, влившись в движения невидимого, гигантского маятника. «Вот и снова те же вибрации», — подумалось мне. Тропа всё змеилась вверх, но, поднимаясь, я стал чувствовать удивительную легкость — и, достигнув вершины, уже шагал, почти не касаясь земли. Взглянув вниз, я увидел прекрасную долину, полную многокрасочных цветов. Я поспешил к ним, желая нырнуть в самую их гущу и прилечь среди них. Бегом

спускаясь по склону, я пел ту песню, какую в детстве мы пели вдвоем с сестрой. И вот я уже оказался посреди цветов, а при-смотревшись к ним, понял: это были драгоценные изумруды, рубины, сапфиры и бирюза. Птицы и пчелки с небесно-голубыми кристалльными крылышками лениво порхали вокруг, тут и там присаживаясь на цветочные бутоны. Я чувствовал необычайную радость, и замер, разглядывая их — так же я делал это ребенком в саду в Чили. Вскоре я совершенно растворился посреди безмолвного красочного мира, и мне казалось, что я различаю сокровенную ноту изумрудных цветов, гул, с каким распускались их бутоны — и я чувствовал пульс течения жидких рубинов под землей. Еще мне казалось, что я могу говорить с птицами и пчелами с каменными крыльцами. Долгое время я лежал там, опустив подбородок в ладони, и тогда кто-то мягко тронул мое плечо. Взглянув вверх, я увидел лицо, показавшееся мне знакомым. Взгляд полуприкрытых глаз в обрамлении золотых локонов наполнил меня почти сверхчеловеческой нежностью — молчаливое свидетельство понимания и дружбы, и высшей верности за всякими пределами. Я ощутил, как слезы текут по моим щекам ручьями. Потом она взяла меня за руку и мягкий, благоуханный аромат поднялся по моим пальцам и окутал меня. Тогда я поднялся, и вместе мы пошли среди цветов, изменявших краски. Она взглянула на меня с неопишуемой радостью, сказав:

— Я умерла здесь.

Я взглянул недоверчиво:

— Как же такое может быть, ведь я помню, что ты умерла в нашей далекой стране?

— Здесь и есть наша правдивая страна — а сад, который мы видим здесь, существует повсюду. Он такой же, как и сад нашего детства: я была там, и ты любил меня, как я люблю тебя.

Мы помолчали, а потом она сказала:

— Давай останемся здесь ненадолго. Хочешь, я прочту тебе стих? Я написала его перед смертью, совсем незадолго... Но что же это я говорю? Я имела в виду — незадолго до того, как действительно ожила в твоей душе. Вот такой:

*Крошечная птичка
Запела за окном.
Спасибо тебе, птишка,
За чудесное утро.*

— Тебе нравится? У меня есть и другое, но начало у него немного грустное:

*Сплетает душа
Меланхолию и печаль.
Мертвые воспоминания
Тучами небо чернят.
Падают листья, пронзенные болью,
Сорванные ветром напрасных стараний.
Натолкнувшись на тьму,
Душа оборачивается против себя самой...
И тогда вспыхивает искра,
И нежное пламя изгоняет тучи.
На безмолвной горной вершине
Зацветают огненные лилии вечной любви.*

Тогда она указала на снежные пики, окружавшие долину, и сказала:

— Однажды, мы вместе отправимся туда. Но теперь мы должны сделать так, чтобы огненные лилии расцвели. Будем же опекать нашу любовь, самое прекрасное, что у нас есть, у тебя в твоей жизни, и у меня в моей смерти. Обещай мне, что ты больше не отправишься в паломничества в своей душе; обещай мне, что отныне ты будешь жить только со мной. Не оставляй больше никогда моей руки.

Я обещал, и она говорила дальше:

— Пришло время нам снова разлучиться, но вначале я научу тебя смотреть на цветы.

Теперь цветы были уже не драгоценными камнями, а настоящими, так же, как птицы и пчелы, порхавшие над ними. Мы остановились у розового куста, и она сказала:

— Взгляни на эти розы... Видишь — они колышутся не так, как прежде? Это потому, что они знают — ты смотришь на них, и отвечают тебе. Ты можешь сказать, что это только легкий ветерок, но разве ты не понимаешь, что и сама роза может быть соткана ветром, и как Бог вдыхает свой дух в творение, так и роза может быть обретшим форму дыханием ветра? Так, ветер дует, потому что слышит тебя и приветствует тебя в ответ.

Она протянула руку и коснулась розы, сказав:

— Смотри, какая она мягкая: как кожа ребенка или женщины. Ласкай ее, как будто ласкаешь меня.

После она заговорила снова, и слова ее были мрачно-торжественны:

— Но время течет — розы распускаются, и потом их лепестки опадают, один за другим. Они падают на землю, смешиваясь друг с другом. Я знаю, ведь я тоже умерла. И всё же, если цветок поймал твой взгляд, он умирает в милости и в любви. В смерти цветок становится невестой.

Потом она указала на другой розовый куст и сказала:

— А взгляни на эти цветы — они не распустились, остались плотными бутончиками, сгрудились на ветви. Они никогда не подставляли лепестки ветру. И умирая, они падают на землю будто камни. Никто не знает, почему они совсем другие, почему у них такая судьба. Они держаться за ветви дольше, чем остальные, но никогда не распускаются и не дают аромата. Может быть, какой-то секрет позволяет им держаться, и может быть, этот секрет хранится здесь, в долине. Но тебе придется выбирать между двумя розами, двумя дорогами. Нельзя принять обе; нужно решить. Теперь, думаю, я научила тебя смотреть на розы.

Я понимал, что она готовится уйти; я чувствовал это по ее жестам и тону. А потом вдруг я осознал, что она уже далеко, а я бегу за ней, крича:

— Послушай! Послушай же! В каждой цветке, на который я смотрел с тех пор, как ты умерла, и в каждом лице, что я любил и ласкал как розу — во всём в сердце я находил только тебя — как беспокойный ветер иного мира.

Мой голос эхом отражался от скалистых вершин; он повторялся снова и снова, отлетая к ледяным высотам, где в горной долине цвели огненные лилии.

Мы вышли очень рано утром — начинался последний этап нашего паломничества. К обеду мы прибыли в Вишну Прияр, место, где соединяются две реки. Их слияние отмечает Внутреннюю границу Гималаев, и здесь длинные очереди паломников проходят полицейский досмотр. Я снова встретил мужчину с болезненно распухшей ногой; он едва мог идти, но глаза его выражали экстатическую радость. Он пел и выкрикивал громким голосом: «Джай Бадри Вишал!». Я проникся сочувствием к нему и восхищением, и, проходя мимо, тоже крикнул: «Джай Бадри Вишал!».

Потом, немного спустя, к нам подошел юноша с острой бородкой. На голове меховая шапка, вокруг шеи обернут шарф; он нес рюкзак, и был больше похож на студента, чем на палом-

ника. Он заговорил со мной, рассказав, как добрался сюда из Ганготри, недалеко от истока Ганги, глубоко в Гималаях. Он прошел через Кедарнатх, святилище Шивы на противоположном склоне. Ом Сатчидананд Хари — так он назвался — был родом из Махараштры. Я был не против побеседовать с ним, но тут нас прервал Наилвал — он оттолкнул бедного Ома Сатчидананда Хари прочь, будто собаку.

Потом Наилвал объяснил, почему поступил так:

— Этим людям доверять нельзя. Среди этих тысяч саддхов полно жулья, беглых преступников, да и просто лугонов и бездельников, надевших шафрановые мантии нищих монахов, чтобы жить за счет других людей и избежать труда. Индии нужны рабочие и солдаты, а не эти паразиты. На каждого честного саддху тысячи притворщиков. Однажды, когда я нес службу здесь, в горах, я встретил одного из этих поддельных святых. Он пришел к нашему дому, и жена дала ему что-то поесть у двери. Позже она обнаружила, что он украл ее часы и несколько рупий. А потом я узнал, что он был осужденным и скрывался от правосудия. Был случай со знаменитым йогом, прибывшим в Бадринатх несколько лет назад. Он стал у входа в пещеру и долгое время не сходил с места. Он вообще не двигался, хотя мог идти снег или дождь. Мало-помалу верующие стали посещать его и приносить ему пищу. У этого мужчины были некоторые причуды, но в целом их принимали, потому что считали его святым. Но однажды он зарвался. Он стал просить материнского молока, то есть, молока женщины, утверждая, что это единственная пища, которую он может принять. Некоторые преданные женщины принесли ему свое молоко в больших чашах, но этот так называемый святой отказался от него — он якобы должен пить молоко прямо из женской груди. Узнав об этом, я отправился потолковать с этим саддху. Когда я расспросил его, он ничего не отрицал, согласился со всем, добавив, что дело в таинстве, которого я не могу понять. Я выгнал его из Бадринатха безо всяких скандалов.

Потом Наилвал рассказал мне о некоторых ашрамах в низкогорье Гималаев, где монахи наживались на доверчивости народа и очень весело проводили время.

— Чтобы обезопасить свои делишки, они относятся к нам, агентам службы разведки и районной полиции с исключительной любезностью; они восхваляют нас и осыпают нас да-

рами. Я так полагаю, ты видел некоторые из этих ашрамов в Ришикеше, — добавил он.

Мы продолжали шагать в свете утра, а я всё думал о том свами, что упорствовал в желании пить женское молоко прямо из груди матери. Может статься, сказал я себе, Наилвал чего-то не понял, да и никто не смог бы понять. Чтобы достичь вершины Древа или пика Бадринатха, корни должны прорасти очень глубоко. В таком приключении меняется значение любых предметов. Всякий может отправиться в Бадринатх, и я думаю, Наилвал бывал там не однажды. Но есть разница между тем, чтобы отправиться туда физически и понять, почему идешь туда.

Подъем становился всё сложнее, и вскоре мы заметили, что река под нами стала покрываться льдом. В ярко-голубом небе не было ни единого облачка, а воздух стал таким разреженным, что у меня закружилась голова, я был будто во сне. Караван за караваном проходили мимо, и все паломники мне казались нездешними, прибывшими из иной вселенной; их распахнутые глаза сияли, как бриллианты, мерзлые бороды трепетали на ветру, как святые вымпелы, которые мы видели внизу. Потом я заметил, как в данди несли очень старую женщину: голова ее болталась взад и вперед, повинувшись рывкам восхождения. По-видимому, это была ее агония, и несшие паланкин мужчины старались побыстрее взойти к вершине перевала, откуда уже был виден Бадринатх. Они хотели донести ее туда, пока она жива — чтобы она получила благословение, и чтобы ее последний выдох был принят Бадри или Вишну, богом сохранения. За нами шел и человек с опухшей ногой, и я знал, что к этому времени ему уже было не избежать гангрены. Обеими руками он опирался на посох, и, кажется, совершенно не воспринимал окружение — его насытил холодный воздух иной вселенной. Я решил остановиться и подождать его, желая достичь перевала вместе с ним. Стоя у края дороги, я видел, как подходил другой мужчина, одетый в сияющий белый плащ. Он шел, спотыкаясь, и очевидно, был совершенно истощен. Когда он ковылял мимо, я увидел его темное лицо, отмеченное изнурением, и назаретскую бороду — на мгновение мы встретились взглядами, и, ценой огромного усилия, он сумел вяло улыбнуться. В этом коротком взгляде, казалось, были сосредоточены всё людское понимание, вся боль и божественное величие человека. У него не было посоха, но в руке он сжимал книгу. Другой рукой он цеплялся за каменистый выступ у края тропы,

и, подтягиваясь ею, медленно продвигался вперед. Я хотел поддержать его, помочь донести его крест, но ведь своей прозрачной улыбкой он просил меня не делать этого — это было его глубоко личное восхождение к Богу.

Показалась и та красивая мать, что несла сына на спине. Мягким голосом она пела, а ее прекрасные ноги были сбиты и кровоточили: путь изранил их камнями и льдом. Ее сынишка оглядывался по сторонам и медленно повторял имя матери. Наверное, он очень замерз и был голоден.

Потом, наконец, мы добрались до вершины перевала, и из каждой глотки вырвался долгий пронзительный крик, бывший одновременно и песней и магическим призывом, и воплощал в себе крик всего человечества, отмечающий конец долгого и тяжелого паломничества:

— Джаи Бадри Вишал! Джаи Бадри Вишал!

С вершины перевала мы уже видели Бадринатх внизу, и храм Вишну на склоне огромной горы. Я обхватил руками моего попутчика, человека с пораженной гангреной ногой, ведь он стал мне братом. И пока могучий ветер пригибал нас, не в силах сломить, мы оба кричали в высоты:

— Джаи Бадри Вишал!

Великая гора, которую мы видели перед собой, носит имя Нилканта, и, может быть, это красивейшая из всех гималайских гор. Нилканта означает «синяя точка на горле Шивы» — то место, где великий бог разрушения и йоги остановил распространение яда Змея, с тех пор ставшее черной отметиной. Два великих святилища помещаются у подножия Нилканты. Бадринатх, к которому приближались мы, посвящен Вишну, а Кедарнатх, с обратной стороны горы — принадлежит Шиве.

Как говорят, тот образ, что сегодня находится в храме Бадринатх, очень древний. Мадрасский свами Джанардана заверяет, что он помещен здесь 12 тысяч лет назад Верховным главой Великой иерархии, и возможно, потому он верит, что тайная обитель нового Мессии, Бхагавана Митры Девы, который есть сам Вишну, находится поблизости. Слово бадри означает Вишну, а натх — «храм». Но высказывалось и предположение о том, что бадринатский идол — примитивное буддистское изображение, сработанное некой махаянской сектой.

Говорят, будто китайцами был вновь обнаружен проход, ведущий сквозь горы — из Тибета напрямиком в Бадринатх. Веками он оставался заброшенным, забытым — но ранее служил, а может

быть, служит и сейчас, тайным способом связи между двумя регионами — и между двумя гималайскими святилищами, Бадринатхом и Кедарнатхом. Считается, что в древности Бадринатх и Кедарнатх, находящиеся на противоположных склонах Нилканты, были связаны очень тесно: один брахман мог проводить службу в обоих храмах, переходя из одного в другой всего за несколько часов. Впоследствии грехи людей стали причиной разделения святилищ, так что сегодня нужно много недель, чтобы добраться из одного в другое — так говорит легенда. Ида и пингала оказались разделены, и ни один ритуал уже нельзя исполнить одновременно в обеих нади. Тайна связующих троп была утрачена.

В вечер прибытия мы отправились в храм Бадринатх. Наилвал посоветовал мне раздать деньги бродягам и нищим, ютившимся здесь повсюду на пути к ступеням храма. Дворик был полон людей, проводящих здесь лето — но даже зимой, когда всё заметает снег, некоторые йоги остаются при храме или живут в пещерах неподалеку. Во льдах не найти еды, но йоги пребывают в раздумиях — обычно безо всякой одежды и даже не разводят огонь.

Чуть дальше, с обратной стороны храма, есть несколько горячих сернистых источников. К ним пришел свами с биной: громоздким струнным музыкальным инструментом. Он разделся и вошел в воды источников, окутавшись паром. Это был известный свами ПEARВАТИКАР БИНА, сохранявший полное молчание на протяжении шести лет. Он только время от времени произносил имена Бога или слог ОМ, играя на бине.

Отсюда Наилвал повел меня увидеть другого свами, живущего в высокой пещере — нам пришлось подниматься к нему по крутому обрыву. Весь сезон паломничеств, который тогда был в самом разгаре, он оставался тут. Свами Парнамад Аддхут Махарадж сидел, скрестив ноги в позе лотоса, на куче соломы. В стороне он поставил горшочек с чернилами и лист бумаги. На мой вопрос он ответил, что записывает свои сны.

— Сны, — рассказывал он, — доказывают, что кроме этой существует другая жизнь, и также доказывают, что и сама эта жизнь — сон. Обычно самые болезненные сны кажутся нам самыми реальными, а потом мы просыпаемся и понимаем, что пережитое — всего только сон, и оттого чувствуем облегчение и радость. Тоже верно и в отношении жизни: умерев, мы поймем, что спали, и что наши мучения не настоящие. Мы проснемся и будем счастливы в смерти. Нужно помнить и о другом свойстве снов, а именно о том, что они обычно бессмысленны;

часто они абсурдны и темы их разрознены. Правда же в том, что и жизнь во многом подобна им. Поэтому совершенно напрасно будет пытаться придать ей какое-то значение или управлять ее движением. Жизнь лишь чуть менее абсурдна и бессвязна, чем сон. То же может продолжиться и в смерти, которая окажется лишь ненамного менее абсурдной и бессвязной, чем жизнь. Всё повторяется, будто отражаясь в чередке зеркал.

Сказав так, свами умолк и начал качать головой вперед и назад. Я стал замерзать: моя легкая одежда более подходила югу Индии — а сам я не мог, как свами Парнамад Аддхут Махарадж, производить внутренний жар.

Потом мы спустились по тропе, высеченной в тверди скалы, и вернулись к храму. Я уселся на ступенях, оказавшись в компании нищих и больных, святых и бандитов, наемных убийц, магов и поэтов. Наилвал, наконец, оставил меня одного, поскольку, как честный человек и глубоко религиозный брахман, должен был участвовать в богослужении в храме. А я снова встретил того юношу, с которым познакомился по дороге, и которого Наилвал бесцеремонно прогнал. Он подошел и снова стал увлеченно рассказывать о Ганготри и истоке Ганги, а также о святых и настоящих магах, с которыми он был там знаком. Потом, взяв меня за руку, он рассказал о Кабире, поэте средневековой Индии. Пристально глядя на заснеженные горы, он прочел один из его стихов:

*Я смеюсь, когда слышу
Что рыбы в фонтане терзаются жаждой.
Разве не знаешь ты, брат:
Настоящее — то, что оставил ты дома,
И совершая паломничества,
Бродя бесцельно от чащи к чаще,
Ты не обретаешь ничего —
Даже пройдя от Бенареса до Мадурая.
Ведь если ты не отыщешь свою душу,
Мир останется только иллюзией.
Где же то место,
Где ты сможешь утолить жажду души?
Будь крепок и путешествуй внутри своего тела,
Ведь только там твои шаги будут тверды.
Хорошенько подумай об этом, сердце мое,
И не ходи ни в какие другие места.*

Тени храма Бадринатх стали сливаться с темнотой ночи, и вскоре в небе засияли звезды.

Обратная дорога из Бадринатха была легкой, поскольку склон спуска был не таким уж крутым. Подойдя к перекрестку, где дорога из храма Вишну пересекается с дорогой из святилища Шивы в Кедарнатхе, мы встретили караван из Гуджератха. Их вожаком был мужчина лет восьмидесяти, он приказал нам остановиться, протрубив в огромный рог. Потом он выступил вперед и объявил, что он — аюрведический доктор, а также гомеопат из Вадодары. Он рассказал, как его караван пришел из Кедарнатха, неся огонь Триджугинараина. Они поддерживали это пламя в большой жаровне, постоянно подкладывая новое топливо, и были намерены принести его в свою страну. Старик объяснил, что огонь этот изначально был зажжен в Кедарнатхе тысячи и тысячи лет назад, на праздновании свадьбы Шивы и Парвати, и с тех пор ему никогда не позволяли угаснуть. Потом, со слезами на глазах, доктор в тюрбане коснулся моего лба пеплом святого огня, и произнес:

— В течение трех месяцев все твои грехи истлеют в этом огне, и ты сможешь осознать свои величайшие надежды и устремления.

Потом он вновь дунул в олимпийский рог, и караван пришел в движение.

Я остался на краю дороги, размышляя о подобии этого огня и пылающего между глаз лунного камня. Долгое время я думал об этом, а потом мои мысли сложились в слова молитвы:

— О, господин йоги, о, Христос Атлантиды, пусть этот брачный огонь благословит и мою свадьбу — соедини парные святилища на горе Нилканте и в моём хребте, разделенные моими грехами — так чтобы я мог одновременно служить в обоих храмах, в один день и в свете одного солнца. Пусть огонь Триджугинараина поможет мне вырастить крылья, как Змею, так, чтобы я сумел достичь Утренней Звезды, звезды Его—Ее!

За время долгого совместного паломничества мы с Наилвалом стали друзьями. Он пожелал, чтобы я посетил его дом в Паури и познакомился с его женой и малышом, прежде чем покину Гималаи. Потому мы спустились в этот красивый горный городок, примечательный необъятными видами гор, которые можно наблюдать только здесь. Я был глубоко тронут тем приемом, что оказали мне Наилвал и его семья. Ортодоксальный брахман, он подал мне особую пищу, приготовленную его

женой. Сам он не ел, а присев рядом со мной, заговорил со счастливым лицом:

— Жизнь для карма-йога, такого, как я, состоит в выполнении собственного долга, своей дхармы. Этого достаточно, ведь остальное будет сделано Господом, которому видно всё. Теперь я узнал, что глупо не разделить трапезу с чужеземцем или отказать ему в приюте. Я счастлив, что ты здесь, и что моя жена подает тебе на стол, и что ты обедаешь под моей крышей. В конце концов, все люди братья, всем нам приходится страдать, и у всех одна мера стойкости.

Потом Наилвал показал мне игрушки, которые принес своему ребенку; это были куклы, и он держал их так нежно, будто баюкал дитя.

Я часто вспоминаю об этом благородном друге, сыне Индии; исполняя свой долг, он всегда был честен и справедлив, и он сопровождал меня к вершинам гор. Он проводил чужеземца в самое тайное из святилищ своего бога, и с щедростью принял его в келье собственной души. Он был, как и сама Индия: открытая и тайная одновременно; сдержанный, но любезный, как сестра или мать к тому, кто измучен жадной вечности.

Наилвал поднял руку и указал на Гималаи, простиравшиеся на сотни миль, до самого горизонта, будто цепь белых гигантов или титанов.

— Мы были там, — сказал он. — Слева — Нилканта, а дальше за ней — четыре столпа трона Шивы.

Вглядываясь в чистый горизонт, я думал об этом необычайном народе, создавшем мифологию настолько же гигантскую, что и вершины гор, окружающих их страну. Сами эти горы были едины с их душой. Один из пиков был горлом Шивы, другой — трон Вишну или убежищем их Мессии. Каждая гора имела историю и была живым символом. Потому, как и большинство народов, воспринимающих природу символически, они навсегда были приговорены к вечному и неизмеримому. Чтобы выжить в повседневности, чтобы не затеряться навсегда в слоях иного мира, им пришлось выстроить сложную структуру — так что они стали жить, почти полностью руководствуясь формулами и предрассудками застойной теократии. И всё же, чем уже становилась их жизнь, тем больший простор обретали метафизические представления. Они не имеют реальных способов измерить мир вокруг себя, и потому часто остаются непонятыми. Их единственная мера — символизм высо-

ких гор и грандиозной философии, в свою очередь, предопределенной этими вершинами.

Горы у нас в Чили так же великолепны, но мы еще не истолковали их и не воплотили в наших душах. Мы еще не открыли богов и титанов, которых хинду нашли в Гималаях. И всё же, та же божественная сила, что живет в горах Индии, может быть обнаружена и в скалистых Кордильерах Анд.

LIV Мир в кристалле

Было бы невозможно покинуть Индию, не рассказав о сестре Райане. Первый раз к ней меня привел Брат безмолвия, Сунья Бхай. Он рассказал, как слушал ее молчание — и оно оказалось лучшим из всех, что он слышал.

Сестра Райана принадлежит к очень древнему магометанскому роду из Хайдарабада, но верит в перевоплощение и почитает Кришну. Как и поэт Кабир, она входит в число суфиев, и по причине магометанского происхождения, обладает значительно большей индивидуальностью, чем обычный хинду. Я не смогу представить, чтобы ее тело обратилось пеплом на костре из сандалового дерева; наоборот, я думаю, она обретет вечность в собственной телесной форме. Она говорит, что у нее пять тысяч жизней — но я склонен верить, что ее жизнь в этом мире единственна.

Я всё еще живо помню, как она пришла ко мне в тот день, когда я был серьезно болен: боль пронзала меня, и даже сильнейшие лекарства почти не действовали. Войдя в тень комнаты, Райана присела на пол и запела. Красивым и нежным голосом она выплетала санскритские стихи и древние мантры. Ее колдовская музыка буквально окутала меня, и вскоре я стал задремывать, а боль оставила тело.

Проснувшись, я обнаружил, что Райана оставила мне волшебный кристалл. Я всматривался в него, и мне казалось, будто в нём отражается солнце; в его запутанных недрах я ощущал присутствие всей Вселенной. Все галактики и звезды, казалось, сияли передо мной. Глядя в него, я думал об эволюции всей индийской философии: от крайнего дуализма, в котором Самость, или Пуруша, никогда не пересекается с материей, Пракрити, к другой крайности — ведантическому монизму, в котором всё едино, и только иллюзия делает множественность будто бы реальной. Всё же, причина страданий повсюду одна: невежество,

авидья. Оно также заставляет людей отождествлять Самость с очевидностью материи, или верить в разделенность Бытия и творения, Атмана и Эго. При этом и в дуализме и в монизме, творение иллюзорно. В дуализме видимость существования творению придают отношения между Самостью и материей. Потому йога сосредоточена на постижении Самости, как способе осознать индивидуальность. Человек, достигший освобождения посредством йоги, приходит к осознанию того, что творение не существует само по себе, и Бытие никогда не было отделено от творения. Тогда делается понятным, что ты и Бог всегда были едины. Тени иллюзии исчезают перед светом знания.

И всё же, остаются многие великие сомнения. Ведь вполне может оказаться, что после смерти этот огонь угаснет. И что же, в конце концов, является источником этого мира — иллюзии, Майи?

Вглядываясь в глубины кристалла сестры Райаны, я вспоминаю некоторые изречения ведической письменности:

«Тогда не было ни того, что есть, ни того, чего нет; не было неба, ни небес над ним. Что же служило оболочкой? Воды бездны?

Тогда не было смерти, и потому не было ничего бессмертного. Не было света между ночью и днем; Единое просто дышало в себе, без дыхания. Помимо этого не было ничего.

Вначале всё было тьмой; всё было морем без света. Потом зародыш, обернутый скорлупой, был рожден и стал Единым посредством энергии жара.

Тогда пришла любовь, объявляющая все вещи. Она была семечком, зацветшим в Уме. Только поэты, которые искали в своем сердце, могли найти ту связь, что соединяет то, что есть, с тем, чего нет.

Луч света тогда сиял надо всем, но никто не знал, откуда он приходит. Просто была сила воли наверху, семена и самотворящие силы внизу.

Но кто же на самом деле знает о том, как всё это стало? Кто испустил луч света, и откуда пришло творение? Боги пришли уже после творения. Значит, они не могут знать истоков творения.

От кого же тогда пришло творение? Было ли оно создано, или не было? Может быть, великий зрячий, на высшем из всех небес, может знать; но, наверное, не знает и он».

Возможно, что Бог — просто бессознательная сущность, сотворившая мир во снах и кошмарах. Всё приходит из этих бессознательных вод, но никто не знает, как или почему. Древние ведические поэты не могли объяснить этого, и может быть, не сможет и сам Бог. Возможно ли, что наша задача — помочь

Творцу пробудиться от Его кошмара, и осветить тьму? Если Бог не может нам помочь, то может быть, мы можем помочь Ему, и, сделав так, обрести потерянную цельность.

Вглядываясь в глубины кристалла, и чистого, и туманного, полного движущихся огней, я, кажется, увидел лицо сестры Райаны, сливавшееся с лицом Брата безмолвия на дне камня. Через них текла древняя река творения и воды тайны, и я будто слышал их слова: «Не говори; не задавай вопросов. Закутайся в молчание своего сердца, *ведь в нём и только в нём поэты могли найти связь, соединяющую то, что есть, с тем, чего нет*».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ИЗ ГИМАЛАЕВ В АНДЫ

I

Лезвие Анд

В Чили лезвие клинка — это Кордильеры. Чили — узкая полоса земли, зажатая меж горами и морем. Голова ее в обжигающих песках северной пустыни, стопы — во льдах Антарктики, потому ей придется преодолеть эти две крайности, и взобраться на высочайшие склоны, чтобы не сгореть и не замерзнуть. Это сложная задача, и чем выше взбираешься — тем глубже пропасть.

В последние годы страна тяжело пострадала от землетрясений и стихийных бедствий; теперь она, кажется, дрожит в ожидании, в осознании попытки исправить свою судьбу. Ведь сегодня Чили — всё, что осталось после некоей гигантской катастрофы, разыгравшейся тысячи лет назад. Горы поднялись из моря, и море враждебно им до сих пор. В один из дней давнее противостояние моря и гор должно разрешиться. Если победят горы, то к западу от Чили появится целый континент, наверное, открыв руины Лемурии с храмами и дворцами, принадлежавшими лунным титанам. Если победит море — мы все будем затоплены, и старая история повторится. А сейчас красота Чили, и свет, что окружает здешние вулканы, подобны ауре прекрасной девушки — больной туберкулезом, и знающей о близости смерти.

Злой рок может быть преодолен лишь, если чилийцы начнут толковать свои ландшафты: как издревле показывает пример Индии, существует глубочайшее взаимопроникновение между душой человека и землей, на которой он живет. Чилийцу еще предстоит переоткрыть своих богов, укрывшихся в горах; ему еще нужно представить их свету и позволить обосноваться в своей душе. В настоящий момент существует лишь противоречие: величественная красота ландшафта причиняет человеку лишь страдания. Мы ошиблись в том, что пытались навязать этому ландшафту странных нездешних богов, и перенести сюда чуждую цивилизацию и культуру. Народы Южной Америки не европейцы и не азиаты, но в чём-то родственны обоим. Но до сих пор мы глядели на свой край лишь через призму ценностей Запада; наверное, чтобы придти теперь к равновесию, нам нужно принять у себя богов Индии и Тибета — в их собственных странах они уже оказываются изгнанниками. В доколумбовую эпоху

в Чили не было развитой культуры, подобной культурам инков, майя или ацтеков; но душа Чили стара и могуча, и обнаруживается как в ландшафтах горных долин, так и в сущностной природе здешнего народа. В скалах Анд погребены титаны, и если мы, чилийцы, намерены выжить, мы должны стать новыми людьми — и нам нужно извлечь титанов из бездн наших душ.

Многие годы я ощущал значительность нашего отличия, цивилизацию нашу справедливо назвать христианством Востока. И потому я вовсе не чувствовал себя отступником, отдаваясь в Индии течению жизни, сделавшись будто одним из хинду, погружившись в дионисийскую сущность этой легендарной культуры. Я знал, что со мной не случится то, что случилось со сваимдатчанином, которого я встретил в Муссури, или французом Махатмой в ашраме Ананды Маи. Ведь я — человек Южной Америки, более того — чилиец, я принадлежу Тихому океану, и стена высоких гор всегда отделяла нас от Европы. С другой стороны, я не хинду и не азиат, и я знаю это. Наши ценности заметно отличаются: мы слишком индивидуалистичны, и мы также слишком христиане, особенно в той тонкой расовой прослойке, к которой принадлежу я — среди белых южноамериканцев. Что произойдет, когда вернутся индийцы, и цветные расы возобладают над нами, не знает никто. Но на этот процесс может повлиять та работа, что сегодня совершается в наших душах, и то, что мы обретаем в тяжелых паломничествах ото льдов Антарктиды к Гималаям. Возможно, что и мои усилия помогут рождению будущей души Чили и южного континента — если только всё не закончится раньше, новым затоплением Атлантиды.

Но цена, которую платит тот, кто формирует будущее — агония в настоящем; осознание разрушительности своих действий для нынешнего состояния. Всякий, кто отважился на долгое паломничество между двумя мирами, приносит себя в жертву и сам живет в полу-мире меж двух миров. Потому я не принадлежу ни миру сегодняшнему, ни завтрашнему — скорее, стою в каждом из них одной ногой. Я знаю, что никогда не смогу полностью вернуться ни к западной культуре, ни к религии моих предшественников; но я знаю, что не смогу принять и ничего иного. И я оказываюсь пойманым между ними, теряя себя. Но всё это может быть частью общего развития — ведь для того, чтобы был рожден новый мир, всегда было нужно, чтобы умер старый.

Чили — антипод Индии, и Анды в одном полушарии уравновешивают Гималаи в другом. Возможно, они и есть ида и пинга-

ла, размещенные справа и слева от сушумны, у основания хребта этого таинственного гигантского существа, называемого Землей.

Чили и Индия, кажется, таинственно связаны горами и огнями. Но, как ида и пингала, как Анды и Гималаи, они должны соединиться в некоей оккультной свадьбе, а их свидетелями станут неизъяснимые воды Тихого и Индийского океанов. Может быть, эта свадьба уже произошла в отдаленном прошлом, но после Рама потерял Ситу в джунглях истории. Однажды они встретятся вновь, а пока они остаются разделенными, землетрясения будут терзать нас.

Всё же, если один человек исполнит таинства в глубинах своей души — этого может оказаться достаточно. Ведь то, что внутри, также и снаружи, и один может спасти всех. Об этом говорит старая китайская пословица: «Человека, сидящего у себя в комнате, и думающего правильные мысли, слышно за сотни миль».

Я возвратился в свою страну и родной город, и гулял по улицам и старым площадям, которые знал с детства. По тропке, опоясанной весенними цветами, я взобрался на холм, с которого виден весь город. И шагая по улицам, я вспоминал своих попутчиков в других, давних прогулках. Я мог видеть их лица, слышал голоса, и вспоминал наши споры об идеалах поколения. Наконец, я остановился у старых ворот перед домом — здесь я жил раньше. Призраки родителей и предков вышли встретить меня. Оказалось, что я произношу строки Омара Касереса:

*И теперь, вспоминая бывшего себя,
И места, где я жил,
По-прежнему хранящие мои сокровеннейшие мысли,
Я понимаю: это чувство,
Что приходит вместе со странным одиночеством —
Просто доказательство длящейся человеческой печали.
Тот, кто нарушил обычай,
Оставил безопасные и знакомые пути —
чувствует в возвращении то же самое,
И его существо разрывается изнутри.
Тогда он узнаёт, что всё оставленное им неизменно,
Прошлое смеется над его странствиями.
И вот, он стоит, поглощенный, обездвиженный,
как и раньше,
Одинокий, как гора — и произносит: «былое!» так,
Что ни один человек не утешит его страданий.
Ему пришлось пройти самый долгий путь,*

*Чтобы, найти то единственное, что он всегда искал
и всегда любил — просто возвратившись назад.*

В один из вечеров, почти инстинктивно или интуитивно, я отправился на старое кладбище, чтобы отыскать гробницу. Найдя ее, я знал, что это могила моей Долины цветов; стоя у нее, я погрузился в размышления и нежную беседу с постоянной попутчицей многих моих паломничеств по всему миру. Мы видели мир одними глазами, и могли сообща судить о нашем опыте; мы решили, что до того, как мы достигнем нашей цели, остается совсем немного времени.

Я понимаю, что история, рассказанная мной в этой книге, многим покажется фантастической и нереальной. Но, тем не менее, это моя жизнь. Это моя реальность, и описывать ее я стараюсь настолько достоверно, насколько возможно. Разница между моим реализмом и прочими в том, что мой реализм — магический. Я не выдумал его как литературный прием, просто моя жизнь действительно была магической, какими следовало бы быть и жизням других.

Всё же, мне следует оговориться, что хотя моя жизнь и была магической в каком-то смысле, она была вместе с тем и объективно реальной. Продолжит ли она оставаться такой, я не могу сказать — уже сейчас я начинаю ощущать странное нетерпение, мягкое дуновение иного мира, сквозящее в моем существе с тех пор, как меня коснулась ладонь в Долине цветов. Я начал чувствовать, что центр моей личности и эмоций сместился, и теперь я постепенно удаляюсь от видимой реальности. Другими словами, я верю, что магия в моей жизни начала перевешивать видимую реальность. Если это и вправду происходит, я уже никогда не смогу понимать или выражать себя обычным языком. Поэтому, вполне может оказаться, что последние страницы этой книги будут отмечены эфирным безумием. Это безумие высоких гор и чистая поэзия бессмертных.

Пока я оставался в Чили, я увидел сон: я оказался далеко на юге страны, в Патагонии, недалеко от высот Ультима-Эсперанса и Торрес-дель-Пайне. Повсюду вокруг меня сверкали в чистом воздухе заснеженные вершины гор. Я взбирался по склону огромного вулкана, и, достигнув вершины, заглянул в округлый кратер и увидел родник — вода хлестала из внутренних ностей вулкана. Очевидно, родник и был целью моего путешествия, и, приблизившись к нему, я услышал голос: «Это истин-

ная вода, ведь она течет изнутри кратера». Внезапно меня обуяло чувство совершенного счастья.

И тогда, оглянувшись на горные цепи вокруг, я увидел монументальные каменные храмы, города, вытесанные в скалах утесов. Остановившись, чтобы взглянуть на них пристальней, я отметил, как они подобны храмам Востока; они были как пещеры Эллары и Аджанты в Индии, как Ангкор в Камбодже. Я подумал, что здесь должна была жить та же раса, и передо мной — никогда не открытые андские города и храмы. Возможно, это легендарные Города Цезарей. Но тогда, даже будучи во сне, я осознал, что это — мои мечты.

II

Наставник сражается со Змеем

Позже я решил посетить Наставника. По длинной лестнице я взобрался к его обители, рассматривая развешенные на стенах картины, написанные им — они изображали гору Кайлас и озеро Мансаровар. Я вспоминал себя, каким был много лет назад, и осознал то огромное влияние, которое Наставник оказал на мою жизнь. Я гадал, как же получилось, что я встретил и отыскал его, и тогда вспомнил старую пословицу: «Наставник придет, когда послушник будет готов». Кажется, есть какая-то таинственная сила, что играет поверх наших душ, и высказанные душами требования сбываются. Может показаться, что он наставил меня в моем долгом паломничестве, но на самом деле, я отправился в путь, повинувшись крови и наследию.

Оказавшись на месте, я заглянул в открытую Книгу Ордена, увидев там свое имя среди имен всех моих братьев, также служивших Наставнику. Подле книги лежал великий меч. Переведя взгляд от них к Наставнику, я вдруг ощутил острое одиночество: будто силой собственной воли навсегда остался в стороне от его умственных творений и архетипов. Наставник писал, склонившись над листом бумаги — сейчас ему было больше восьмидесяти лет. Он записывал стихи, и, когда я вошел, не прервал своего занятия. Раньше он никогда не писал поэзии, но окончив прозаическую жизнь, совершенно погрузился в ритмы космических сказаний.

Наконец, он взглянул на меня, и, узнав, безмерно обрадовался:

— Ты встретил учителей на горе Кайлас? — спросил он с нетерпением.

— Наставник, я не смог, и я даже не уверен, что они существуют.

— Безверный! Теперь я знаю, что ты пал, и что ты отдал себя страстям и жизни мира, — сказал он.

— Чтобы ветви дерева доставали до небес, его корни должны достичь ада, — ответил я.

— Нет. Ты совсем не прав. То, что ты отвергаешь в этом мире, преобразуется в высшие ценности в твоей душе. Любовь, которую ты отвергнешь здесь, возвращается к тебе там, в форме чистой и вечной. Ты должен спасти свою Возлюбленную, и спроецировать любовь в вечность. В этом мире ты постареешь и умрешь; там ты становишься всё моложе. Вся жизнь, которую ты отвергаешь здесь, на земле, преобразуется в истинную жизнь за порогом; а всё, что ты принимаешь здесь, разлагается и умирает. Ты не можешь жечь свечу с обоих концов: ты не получишь света, только дым и пламя. Разве ты не помнишь, что сказал Бетховен, сбежав от женщины, которую любил? Он сказал: «Если я приму твою любовь, что же останется моей музыке?». Именно, и что останется твоему богу? А помнишь ли ты греческую легенду о юноше, который стоял на снегу в горах, выкрикивая имя девушки, которую любил, и, растирая грудь снегом, чтобы утолить огонь, пылавший в сердце? Девушка услышала его вопли и поднялась к нему, но он посмотрел на нее в смятении, и сказал: «Почему ты здесь? Чего тебе нужно?» — «Я услышала твой зов, и я пришла», ответила она. — «Вот как! Я слишком занят любовью, которую чувствую к тебе — у меня нет времени передать ее тебе!».

— Наставник, — ответил я, — я всё равно буду жечь себя, как свечу, с обоих концов, и я буду также разрываться меж небесами и адом, между Гималаями и Андами, между Антарктикой и Арктикой — потому что всё, чего я хочу — не более чем быть человеком.

— Ты и вправду пал, — сказал он печально. — Но даже сейчас для тебя есть последний шанс. Ты нужен мне для сражения. Моя собственная жизнь была продлена великой Иерархией, так, чтобы я мог помочь спасению мира. Великая катастрофа приближается, и нам придется использовать меч; нам придется драться против теней зла. Теперь слушай, я хочу сказать тебе что-то, что действительно проникнет в твою душу: ты не можешь сбежать от своей сущности и глубин твоего сердца. А знаешь ли ты, кто там, в глубинах твоего сердца? Иисус. А

знаешь ли ты, что такое Иисус? Он — отречение; и только в отречении ты достигнешь счастья.

После этого Наставник уже совсем не слушал меня — он запел красивые старые песни других мест и времен.

Тогда я крикнул ему, даже зная, что он не слышит. Я кричал:

— Да, Иисус Христос! Но мой Христос — Христос Атлантиды!

III

Моя сестра и Змей

Перед тем, как оставить Чили, я хотел в последний раз взглянуть на Тихий океан. Сестра согласилась отправиться со мной в Вальпараисо. Там мы гуляли в холмах над Плайа Анча, слушали прибой внизу и ощущали на лицах мягкую влажность. Мы говорили о Пепите Паране — нашей прапрабабушке, чей муж погиб в море. Именно она соткала пеленки своему праправнуку сто сорок лет назад.

Потом нам вдруг пришла в голову одна и та же мысль: отыскать могилу нашей прапрабабушки. Вскоре нам удалось найти ее на маленьком кладбище у Плайа Анча, и там мы молча сидели, а ветер с моря оведал наши лица. Мы думали о нашем общем детстве и благословенных днях юности. Неожиданно сестра заговорила, рассказав о некоторых своих странных переживаниях: оказалось, по утрам она часто просыпается, не просыпаясь на самом деле, и чувствует странный ток, бегущий по телу, и будто выгалкивающий ее наружу. Она чувствовала, как «парит над горами». Потом она рассказала о старой няне — та приходила к ней после смерти — и о других смутных и призрачных переживаниях.

Когда мы вернулись в город, уже высыпали звёзды. Мы шли, счастливые, держась за руки — мы посетили могилу нашей прародительницы, которая, наверное, первой влила яд Змея в нашу кровь. Я подбодрил сестру, рассказав ей о собственных подобных переживаниях. И она, в свою очередь, придала мне чувство совершенной уверенности в моем опыте: ведь моя сестра никогда не болела и не переносила тяжелых несчастий, и при этом — ее переживания были теми же, что и у меня. Дух игр нашего раннего детства продлился и в дальнейшей жизни — у нее в Андах, у меня в Гималаях. Казалось, что всё неизбежно должно было произойти именно так.

Тогда я решил вернуться в Индию, чтобы завершить великую битву со Змеем.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: ВНОВЬ ГИМАЛАИ

I

Алмора

Я возвращался в Индию через Восточную Азию, и еще отчетливей, чем раньше, видел, что всё здесь — горизонтальная плоскость. В сравнении с Индией, вовлеченной в вертикаль авантюры шиваизма, остальная Азия кажется плоской водной гладью: у нее нет ни приключения, ни загадки — они существуют только в климате, производимом собранием индивидуализированных душ. Да, есть великие азиатские культуры, например, Китай и Япония — поддерживаемые анимизмом. Буддизм же сущностно горизонтален. Но только в Индии, и нигде больше, проникнув за тонкий маскировочный слой, падаешь в дионисийскую пропасть.

Я сразу же отправился в Алмору, преддверие Трансгималаев, откуда открывается дорога к горе Кайлас и озеру Мансаровар. Брат безмолвия живет в Алморе, проводя дни в созерцании северных снежных гор.

Оказавшись там, и узнав, что Ананда Май сейчас обитает в горном ашраме, я решил посетить ее в последний раз. Теперь она показалась мне совершенно другой, и открыла себя в совсем неожиданном свете. Она сидела на подиуме перед аркадой, сквозь которую были видны снежные горы вдалеке. Слова и жесты ее были совершенно литургическими, как будто она отражала силы судьбы; ее исполненные грации движения будто руководствовались неким божественным духом. В первый раз в жизни я чувствовал, что нахожусь в присутствии сверхъестественного существа.

Позже я снял домик на окраине Алморы. Он помещался на холме напротив гигантских Гималаев, и отсюда я мог наблюдать вершину Нанга Парбат.

Есть момент в жизни человека, когда он чувствует, как судьба работает его посредством и направляет его действия. Наконец, это состояние пришло и ко мне: долгая борьба и паломничество стали приносить плоды. Ветви пустились в рост, поскольку корни ушли глубоко. Я знал, что теперь только самоубийство могло отвратить конечное осуществление этого паломничества, бывшее одновременно и природным, и противоестественным. Ведь в моем случае восстание против природы было естественным: природа сама совершала это преступление.

Я стал чувствовать, как одни силы обретают власть над другими, одна реальность превосходит все другие реальности.

И тогда я стал видеть сон: я оказался подле Ананды Маи; протянув руку, она взяла какой-то плод, неотрывно глядя мне в глаза, как раньше в Бенаресе. Вышла на середину комнаты, держа блюдо с фруктами в руке. И вот она уже танцует, но движения ее были неловки, она будто боится уронить блюдо. Она понимает, что вот-вот не справится с важным действием, исполняется страха и смущения, предвидя смехотворный исход и разоблачение своей беспомощности. Но вот заиграла музыка, барабаны бьют, всё ускоряя темп. И женщина преображается: с разметавшимися волосами, она бьет голой ногой в пол, ловко вращая блюдо в руке в такт музыке. Теперь ее лицо стало лицом Вселенской Матери — и Кали-пожирательницы.

Я же, сидя на диване, наблюдал невероятные силы, исторгнутые ею. Рядом со мной был другой молодой человек, он тоже видел танец. Я вдруг пожелал, чтобы все мои друзья могли быть сейчас здесь, со мной — тогда я убедил бы их в том, что чрезвычайные вещи действительно существуют в этом мире. Но уже было поздно: танцуя, Мать глядела на меня, и вскоре заговорила. Она обращалась к моему сотоварищу, но одновременно и ко мне: «Послезавтра, в субботу, ты будешь убит». Потом, пытаясь смягчить действие сказанного, добавила: «В каждом есть множество личностей, и только одна из них будет убита. Так я толкую то, что увидела».

Мой сосед, до этого убежденный в существовании сверхъестественного, взорвался гневом: «Это чушь! Я не верю ничему; это абсурдно и невозможно».

Думаю, он хотел утешить меня, но я понимал: утверждение Матери извлечено из глубин Вселенной, и непреложно соответствует неизбежности рока.

Я чувствовал, как тело сотрясается в течениях вибраций, танец и музыка выплескивались сердцем этой дрожи. Потом лицо Матери стало меняться; растворяясь, оно принимало новые формы, будто во вращении небесных сфер.

II

Три вечера льда

Вечером в среду я осознал, что осталось всего два дня, а в субботу я буду убит. Весь вечер я провел в комнате медита-

ций; я не стал складывать ноги в позу лотоса, но сел в кресло, как сидели фараоны Египта или посвященные Папы. Глядя сквозь окна на вершины слабо розовевших в закате гор, я решил вернуться к тому моменту в долине Куллу — когда я получил ключ, от которого позже отрекся. Я никак не мог быть уверен, что сумею отыскать его — а риск был велик: если я не преуспею, мне придется умереть.

III

Вечер первый: Снежный человек

Я старался очистить ум и сражался против сотен идей и воспоминаний, осаждавших меня. Разум постепенно затихал, и затем в один момент стал совершенно безмолвен. Я попробовал всмотреться в пространство между бровями — и там оказался скован и парализован. Не знаю, как долго это продолжалось, а после появился мягкий ток, струящийся по телу, и постепенно распространявший холодок вверх от ступней. Вскоре форма моего тела стала меняться, мне показалось, будто я парю или распался на части. Плечи мои раздались вширь, а голова упала на грудь. Я чувствовал качание маятника, но казалось, у него нет формы и очертаний. И вместо того, чтобы чувствовать себя свободным, я был заточен в этой неясности. До чрезвычайности обострившимся слухом я вслушивался в шуму внешнего мира, объективной реальности, в то же время ощущая зарождение субъективных феноменов, обретающих реальность во мне. Два этих ощущения боролись во мне, меня будто мотало из стороны в сторону — и я не мог найти ключ.

И вдруг раздался пронзительный свист, и я осознал, чье-то присутствие, совсем рядом. Я был так напуган, что волосы поднялись дыбом, а всё тело покрылось мурашками. И хоть никого не было видно, я знал, что Снежный человек сейчас со мной, и я мог понимать, что он говорит, даже не слыша слов. А он говорил нечто подобное: «В конце концов, ты прибыл, или наконец достиг этой точки. Многие другие приходили, но я не вижу их — так же, как они не видят меня, хотя порой и замечают следы моих стоп на снегу. Это исследователи: из тех, что пробираются всюду и лезут на горы, на самом деле не восходя никуда. Твой же случай иной: всю ночь ты будешь бороться со мной. Я — Ангел Иакова, и только я могу провести тебя».

Перепуганный до смерти, всю ночь я боролся с Ангелом.

IV

Вечер второй: Последний цветок

Я не мог найти ключ, и, усевшись так же, снова старался возвратиться во времени в Долину богов. Снова я чувствовал дрожь, обморочные мороки и ощущение холода в позвоночнике. Потом я оказался парализован, пойман, как узник меж двух вселенных в моменте чистой пустоты и наивысшей муки. Я знал, что зашел слишком далеко, и вернуться уже не смогу. Я знал, что если не найду пути наружу, или ключа, то потеряюсь навсегда и умру. Я уже не управлял происходившим действием, и оказался совершенно обездвижен за пределами мира, пойманный обморочным состоянием непреодолимой силы, и не имея возможности вернуться в свое тело, хотя и не будучи на самом деле вовне его. Пришло то, чего я так боялся. Я уже не мог положиться на себя, но понимал, что сейчас я — просто проекция судьбы, и не могу ничего, кроме как ждать ее исполнения. Ключ казался потеряннным навсегда, я не мог вспомнить, как открыл дверь прежде.

В какой-то момент я захотел убедить себя, что слышу голос и внимаю мыслям, произнесенным кем-то другим. Я знал, что со мной был кто-то еще, и хотел увериться в этом, хотя и не видел никого. И я заговорил сам себе, будто слушая другой голос — то, что всегда говорила она в этот момент в моих мечтах. И хотя говорил я сам, я убедил себя, что это не так. Так что она, или я, тогда сказали:

«Смотри на этот цветок, в моей руке перед тобой. Прыгай же, ныряй в него и останься там, пока ты не умер!».

И я прыгнул, избавившись от себя и войдя в цветок. Наконец я нашел ключ и был свободен!

Наконец я вышел из самого себя, и видел свое недвижимое, бледное тело, сидевшее в эбеновом кресле, будто мертвец. Она же стояла передо мной, а я был в цветке в ее руке. «Однажды я научила тебя, как смотреть на цветы, а теперь научу, как слушать их. Ведь это твои собственные цветы — внутри тебя всегда был сад. Давай же пойдем в сад и будем слушать их музыку».

И вскоре я начал слышать космическую музыку, которая была не чем иным, как музыкой моих собственных цветов, лотосов моего сада. Всё завибрировало им в унисон, и вместе с ней я прыгал от цветка к цветку, с лепестка на лепесток. Мы отправлялись очень глубоко и очень высоко, и хотя мы держались за руки, я знал, что в ее руке — цветок, а в нём — я.

V

Вечер третий: Мистическая смерть

Теперь мы подошли к точке *переживания последнего невообразимого несчастья, в котором всё утонуло в волнах нашего последнего расставания*. Она преобразилась, и поскольку я был в ее руке, внутри цветка, я вдруг стал видеть, как она подняла руку, чтобы вдохнуть аромат — ее голова была огромна, обретала гигантские размеры, и казалась больше мира. А потом она положила цветок в рот, и меня разорвало в клочья ее зубами — осталась только легко усваиваемая кашлица, съедобная, как семена лотоса.

Была суббота, и я был убит любовью.

VI

Пустота

Одно из моих эго умерло. Всё, что было во мне неважно, было изгнано, а остальное растворилось в теле любовницы. Значит, произошло убийство — но с ним и свадьба. Но я был там, как и раньше: с моей мертвой спутницей в Долине цветов. Мы стали одного роста, но изменились. Я спросил: «Почему у тебя такие большие глаза?».

А она ответила: «Чтобы лучше видеть тебя ими, дорогой».

И я спросил: «Почему у тебя такие большие уши?».

И она ответила: «Чтобы лучше слышать тебя ими, дорогой». А потом, немного спустя, она пошла по заснеженной тропе. Оглянувшись, она остановилась и сказала: «С этого момента тебе придется идти одному. Я могу быть с тобой только до этой черты». А потом она улыбнулась — и я улыбнулся в ответ. Между нами не было ни малейшей печали.

Медленно я стал подниматься, и наконец, посреди высоких гор, нашел то, что искал так долго. И мне открылось, насколько всё было просто, и насколько отлично от всего, что я описал в этой книге. Меня переполнило желание объяснить это всё, но в этот момент появился Брат безмолвия, Сунья Бхай, который на самом деле — Пустота. Он приложил палец к губам и сказал: «Тсс! Тсс! Пришел конец! Отныне ты должен жить в Безмолвии...».

Лучшие книги издательства "Ex Nord Lux", а также многие редкие книги теперь доступны в электронном виде!

Преимущества:

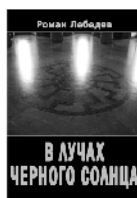
- Нужную книгу легко получить в любой момент в течение 5 минут
- Моментальная оплата и доставка
- Постоянное обновление каталога
- Удобство чтения электронных книг на мобильных устройствах

Жанры:

- Эзотерика
- Мифология
- История
- Философия
- Политика
- Мемуары

Форматы:

- PDF
- FB2
- RTF
- TXT
- ePub



© Электронное издательство "Ex Nord Lux DIGITAL"
<http://nordlux-digi.org>



Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «Тамбовская типография «Пролетарский светоч»
392600, г.Тамбов, Моршанское шоссе, 14а.
Факс 53-44-22, e-mail: tpps@list.ru